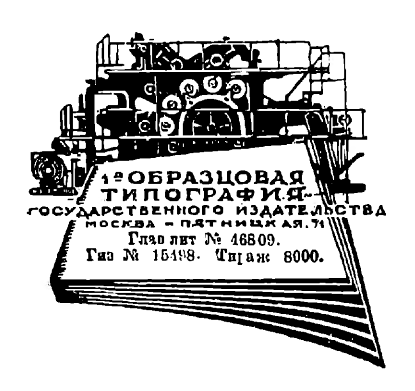
КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 10

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 46809.
Гиз № 15498. Тираж 8000.

Видения.

Рассказ.

Н. Огнев.

Я увял — и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
.
Не кропите меня,
Вы, росинки дождя!

А. Полежаев.

Зеленые леса.

Полосатые черно-желтые будки дрогнули от внезапного барабанного взгрохота. Нежно ступая на вытянутые носки, словно боясь уколоться, плац-майор Шварц вышел и стал перед серым фронтом; белый султан треуголки метнулся вправо, влево — и замер.

— ...ирррна-а! — отдалось в гулких закоулках двора.

Серый фронт и без команды был струнным, безмолвным канатом, перевитым узенькой красной ленточкой воротников. Мысль — и тупость, ненависть — и покорность, ужас — и равнодушие слились во внимании, в слухе, в едином безмолвном порыве — есть глазами начальство.

— По указу его императорского... Николая Павловича... — февральский ветер порывисто рвал слова, — полковой суд... унтер-офицера Свистунова... к прогнанию шпицрутенами сквозь строй... за проигрыш в картежную игру... казенное имущество...

Маленький, согнутый человек на правом фланге — неужели это бравый унтер Свистунов? Он ли это мучительно - долго скидывает шинель, расстегивает мундир, стаскивает рубаху? Это некоего другого привязывают к ружью, над другим неким хлопочут конвойные, около другого кого-то столпились прапорщики!.. Но нет, — это, бессомненно, Свистунов: вот он выпрямил грудь, крякнул на весь двор, тряхнул головой... Не с ним ли вместе сломали весь славный кавказский поход? не с ним ли

делились последней коркой хлеба, не он ли, всегда первый в атаке, вбегал в немирные аулы?.. И вот, теперь...

— Ррրряды-ы... вздвой!... еррьвая ширинга... уг-гом!

Воз с серыми кружевными прутьями вполз, топорщась, в бесконечный и тусклый упор дороги. Поручик Чебылкин — медный-лоб — идет за возом — и — учительно:

— Разбирай, разбирай — молодцы-ы!.. Не будете пить-с, не будут вас бить-с. Не будете играть — не будут вас стегать-с.

Воз прополз, скрылся. В безмолвных рядах пропали тонкие, длинные прутья.

— ...аррррш!

Стало заметно шевеление в правом фланге; это еще далеко, это у самой часовой будки; но уже слышны, слышны в сером ветреном воздухе тонкие — и вперемежку — густые взвизги — зиг! взуг!

Словно спохватившись, вновь грохнули барабаны; но, ввиваясь в их гулкий равнодушный грохот, словно насмехаясь над ним, прыгали и прыгали острые взвизги: зиг! взуг!

Все ближе и ближе. Волокут на ружье — видно, что натужно, но держатся прямо, как на параде. Самые рослые унтера: Тяпушкин, сердечный такой и грубо-внимательный, и весельчак, музыкант Рублев. То-и-дело забегает вперед лекарский помощник, сует склянку: это, чтобы Свистунов все время был в сознании, чувствовал удары...

— Зиг! Взззуг! Зиг! Взуг! — Глухо рокочут барабаны.

А сбоку большой красный воротник мелькает за серой стеной шинелей; это поручик Чебылкин — медный-лоб — печатает гусиным шагом некий стихо-слагательный метр — в странном, диком возбуждении кричит:

Па-шел! Мо-ло-дец гу-лять! Па-ле-сам!
Па зе-ле-ным зе-ле-ным! Ле-сам!

Вот уже близко, близко: сверкающие и невидящие бельма выворочены под лоб; рот усильно раскрыт и перекошен книзу; через рот стеганула на бок длинная сопля.

Прямо в уши, заглушая барабаны, вошло, прерываясь, тяжелое, мучительное дыхание: хха! хха! ух-ха! А за дыханием: Взззиг! взиг! Взуг!

— Веселей, веселей, молодцы! Ах, зелены, зелены леса!

Это уже совсем сзади, за спиной. А прямо перед глазами вырос великан Тяпушкин: держит ружье за дуло прямыми руками, шагает натужно, но ровно: ать-два!

И унтер-офицер Полежаев с силой свистнул прутом мимо рассеченного, разодранного, но вздрагивающего красного мяса. И тотчас же по земле, скрипя и волочась, цепляясь за камни, проехали деревянные, неживые ноги в начищенных ваксой сапогах.

Чебылкин, должно быть, заметил: напустился на взвод:

— Рработай чисто!.. за погрех самих гулять-с отправлю!.. сук-ки-ны дети!

Свистунова больше нет; волокут на ружье, должно быть, уже мертвое тело славного кавказца; в конце двора выехала лазаретная фура,— насмешка одна, тут гроб нужен, а не лазарет... ну, что же? Свистунову же лучше — кончились мучения, ухнула во тьму серая мутность казарм; не увидит Свистунов больше Шварца, палача Чебылкина. А Полежаев остался... зачем? Чтобы кропать плачевные вирши, без надежды вырваться из серого ряда дней, одетых, под ранжир, в шинели.

Когда в первый раз увидел шпицрутены — готов был в горло вцепиться палачам: но тогда были порывы души пламенной, душа хотела излиться — и боролась между этим желанием и слабостию сил. Одиннадцать лет тому прошло. Сам целый год в кандалах ждал шпицрутенов, солдатик пожалел, принес штык отточенный — и еще бы немного...

— Унтер-цер Па-лежаев! Па-литический сочинитель-с! К плац-майору из фронта — арррш!

Дрогнул, рванулся из строя: не смеет, не смееет Чебылкин тыкать! Отпечатав шаг, стал перед свекольной плац-майоровой рожей; из свеклы этой раздутой сверлят шпагами тусклыми глаза.

— Унтер-офицер Полежаев! Во фрунте стоять — дольжен бить, а не махать шпицрутен! Маль-чать! Ннне рассуждать! Нарушение дисциплин! Под суд! Сам под шпицрутен!

И вдруг из свекольной рожа стала черной — того и гляди лопнет:

— Сук-кин сын! Кан-налия! Опять вчерась пьян напилься! Мальчать! Не рассуждать! Под суд!

Плац-майор топнул ногой, султан на треуголке дрогнул, закачался, как малое деревцо от ветра. Рожа вновь стала багровой, чернота словно уходила за красный воротник мундира. Плац-майор оглянулся — прапорщики толпились вдали, у лазаретной фуры — и тогда, почти шопотом:

— Ви дольжен помнить, что ви — штудэнт! Я сам быль штудэнт — в Хайдельберхь. Стыдно, гаспадин Полежаев! Вы еще можете быть офицер. Государь император вас целовал. Schande! Ну, — марш! Чтобы пьянство больше не был.

Полежаев деревянной куклой сделал кру-гом, запечатал в строй.

Дурень немецкий — стыдно! Тут самое дно падения, мрак, отчаяние, холод, ад, — никакой, самой отдаленной надежды нет на восстание, а он — стыдно. И зеленый змий. И одиннадцать лет. Одиннадцать лет с этой отметиной на лбу — николаевым поцелуем! Поцеловал — и забыл, как тлю раздавленную, как ветошь, как мертвого пса!

Стал в строй. Команда рухнула откуда-то сверху, словно из серого февральского неба. Серый строй рассыпался, куда-то, топоча, побежали с плошками, с котелками — начинался обычный казарменный день...

Ну, как тут не повалиться на койку, уткнув голову в тощий блин подушки, стараясь забыть — забыть — забыть...

В буколическом роде.

Даже в кислом воздухе казарм могут быть прекрасные видения; но тем ужаснее пробуждение к повседневщине, тем грубей и жесточе барабанные окрики дежурных. Лезут все; уйти бы от людей... умереть бы...

Но в ночные часы, под храп и вздохи соседей, на пропитанных солдатским потом и слизью стенах появляются образы величавых кавказских гор, садов, тучных пастбищ. И неизменно и странно вырастают из них иные образы, другие краски, незабвенные черты... Шелестят слова, сладкие звуки клавикордов доносятся из дома в уютный сад — и вот уже Леночка Бибикова на садовой скамейке сидит и плачет над «Элоизой».

— Леночка, черные мои глаза, что вы плачете?

— Не могу, Сашенька: Элоизу до крайности жалко; ну, прямо, так бы и обняла ее, как сестру...

Сашенька! Есть ли в этом осмысленность? Был Сашка-буян, сорвиголова, гроза московских приютов веселых дев. Теперь есть унтер-цер Полежаев, огрубевший от пороху, от казарм, от сивухи... И вот, вошел между ними на две только недели — Сашенька... За одно это слово готов был исполнять все прихоти черноглазой шестнадцатилетки...

— Сашенька! А что такое: химера?

— Химера, Леночка, есть невещественная мечта.

— А отчего вы сегодня такой грустный?

И вот тогда пошутил:

— Я в дистракции и дезеспере: моя аманта сделала мне инфиделите.

— Как?! Как? Ха-ха-ха! Повторите, что вы сказали?!

Вскочила в белом своем весеннем наряде, завертелась на месте, хохоча, и черные локоны завертелись вместе с ней — книжка полетела в траву — весь нежно-зеленый сад вспыхнул белыми цветами от ее звонкого хохота — весь сияющий сад смеялся вместе с ней и кружился в шестнадцатилетнем танце. И потом вдруг обвила ? его шею тонкими горячими руками — ах, было ли это на самом деле — прильнула:

— Сашенька! Ведь вы красивый! Чернокудрый вы мой! Отчего вы такой несчастный? Скажите: трудно быть солдатом?

Потом до вечера, забыв о доме, бродили у реки — в полях, по кладбищу, сплетясь руками — словно в горячке со словами и без слов, с мыслями и без мыслей, видя и не видя друг друга — так полон был мир сияющего восстания, призраков блаженства, алмазно-приветных лучей.

— Люби, люби меня, — так она лепетала, — люби меня, как милую сестру... Ведь у тебя нет никого? Никого, никого? Ну вот, я и буду у тебя, только ты все-все мне говори. Я тоже, конечно, скрывать не буду, но главное, главное — ты! Ведь ты поэт, тебя в журналах печатают, — ну, пусть я буду твоей музой! Согласен? Согласен?

И вновь обвивала его руками; но в голове тут же рождалось сравнение: кто видел терн колючий и бесплодный — и рядом с ним роскошный виноград?

— Сашенька, Саша, почему я к тебе имею такую доверенность? Ты мне, как брат родной! Ну, читай же, читай свои пьесы! Я — муза, я хочу слушать, слушать, — ну, прямо без конца...

И вот тут-то злобный гений влил свой яд бессилия и сомнения в чашу блаженства; язык сам собой выговорил те стихи, что написаны были прошедшей ночью:

Люби другого! Быть твоим
Я не могу, о друг мой милый.
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой...

Зачем он это сказал, зачем?.. Так опрозить призрак счастья! Леночка выдернула руку, отвернулась. Захотел глянуть в глаза — не дала, вновь отвернулась.

— Леночка, Лена, милая сестра! Что с тобой? Что с вами? Зачем вы так? Обидел я вас? Не будьте памятозлобивы! Ведь сами просили прочесть!

— Я не таких хотела.

Ушла, рассердилась окончательно. А он остался наедине со своим злобным, разрушительным гением, и гений этот торжествовал, как никогда.

Долго бродил по саду, не смея вступить в дом, не зная, куда приткнуться, — без цели, без смысла, без желаний. Сад померк, стал обыденным — запущенным и мрачным. В сумерки Полежаев ушел к реке, сел в кустах, недвижно смотрел на восходящую громадную луну — сердце жгло чье-то ядовитое злобное жало.

Луна неслась по бледнокудрым облакам, словно нечистая совесть, гонимая духами ада, когда внезапно на берегу явилась Леночка. Скинула воздушное свое одеванне — порыв ветра подхватил флер рубашки, и вот Леночка стояла уже обнаженная, девически тонкая в лунном свете, при серебряном плеске воды.

Неужели можно шевельнуться, громко вздохнуть или кашлянуть при этом видении? Пусть и ветер умолкнет и не пролетает в кустах — пальцы крючьями впились в траву, в землю, до крови, до боли...

Леночка боязливо попробовала ногой воду, сверкнула черными локонами, потом бросилась шумно и радостно в серебро волн, поплыла, вернулась на берег, быстро оделась и убежала.

Только тогда перевел дыхание; в висках стучало, колотилось, словно с большого похмелья. Неужели... еще возможно блаженство?.. Может быть... может быть...

Но нет... нет! В жизни нет места мертвецу! Зачем провидение ко всем испытаниям причислило э т о, самое тяжелое, самое непереносимое? Видеть, почти осязать юность, любовь, весну, — и не мочь ответить: пыл и жар страсти давно растрачены в буйной молодости, в веселой гульбе, задушены чахоткой, утоплены в сивухе. Нет, не благодатный ангел явился сейчас на берегу, а дух, — дух карающий и злой!

А на утро Леночка подошла первая — грустная и задумчивая.

— Папенька мне сейчас сказал, что выпросил вас у командира всего на две недели. Значит, вы завтра уедете? Простите меня, Сашенька, что вчера... и что я вас в сарафан рядила... и что за волосы таскала... Я такая... дурная...

Росинки дождя выпали на щеках.

— Ничего, Леночка, ничего... Я все забыл... не плачьте.

— И вот, я вам сувенир хотела... чтобы не забывали вы меня...

Сунула что-то в руку, убежала. Посмотрел, — слоник маленький, белый, китайского фарфора. Это она счастье посулила. Счастье! Если получишь семь или тринадцать слонов в подарок — будешь счастлив. Размахнулся, хотел забросить в кусты, но медлительно опустил руку. Он ли обидит ее, черноглазку?

А на другое утро — толстый папенька выпер обрюзглые жиры на крыльцо:

— Ну, спасибо, спасибо, молодой человек, что погостили... Еще милости просим... А командиру вашему... безотлагательно напишу, что вели вы себя безукоризненно...

А сзади папеньки — искристые, черные глубокие глаза, полные слез разлуки...

— Эй, ссачинитель, — вставай! Зенки продирай скореича!.. Не то поп-падешь медному лбу на цугундер! С похмелья, что ли? Не слышишь — барабан?

И в вывернутое наизнанку сознание с барабанного рыву вошел кислый, серый и привычный ужас казармы.

Что это было? Что? Химера? Кошемар?

Неизданный дневник Полежаева.

(Отрывок).

1837, Февр. 3.

... Дед мой, Леонтий Николаевич, отличался чудачествами необыкновенными. Имея страсть к письму и типографическим литерам, завел он печатню у себя в Рузаевке. Истязая крепостных людей, добился он от них больших успехов в искусстве изящного печатания. Но поскольку и для того века стихотворения его являлись еловыми и малопонятными, всенародности деду моему добиться не удалось, и пришлось ему влачить обыденную жизнь существователя.

В живых я деда Леонтия не застал, но запомнил о нем иные расска-сказы отца. Так дед Леонтий имел кабинет на самом верху дома, называемый Парнас. В святилище это никто не хаживал, ибо, говорил дед, не должно метать бисеру перед свиньями. Все дедово обращение было дико, одевание — странно. Он носил фрак, на фраке — парчевый камзол, подпоясывался розовым кушаком шелковым, обувался в белые чулки, на башмаках носил бантики и длинную повязывал прусскую косу. Пыль

везде на его Парнасе стояла большая, и большой беспорядок в уборе. Пыль, — говорил он, — есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, — не был ли кто у меня и что он трогал. Было в дедовой комнате множество разных оружий; посреди поэтических упражнений его, которые держали его иногда за пером суток по двое без сна и почти без пищи, опасался дед Леонтий злонамеренных над собой покушений.

Пишу я все это для себя, в глубокой тишине караулки, и отнюдь не для публичного обсуждения. Тщусь пояснить себе самому — не в грехах ли деда Леонтия и несчастного отца моего зарыты корни той казни, которой я уже одиннадцать лет беспрерывно и безвинно подвергаюсь. Видит бог, сам я могу быть виновен только в немногих строках, счтенных следами и остатками декабрьского порыва, и ставших государю известными через друзей моих, злодеев моих скрытых. А если суждено мне с лютой чахоткой моей скончать дни в казарменной серости,—то не исступленные ли пытки над крепостными людьми, учиняемые дедом Леонт ем в рузаевских подземельях, — не они ли тайной причиной окаянной казни моей?

Рассказывал отец, будучи тверезым, что годами держивал дед Леонтий крепостных людей на цепи, и пищу давал малую, дабы только поддержать тление жизни; вжигал раскаленное железо в нагое тело наказываемых; сам делал людям своим допросы, судил их, говорил *за* них и *против* и, осудив сам же и палачествовал, загоняя под ногти деревянные клинушки. Если все это — истина, то да будет же проклята дедова память во веки вечные, да будет жестоко и горько палачу адово пламя, ибо я сейчас полный анарх, хоть и отмеч от царя поцелуем и злющей чахоткой за одиннадцать лет проклятой казармы! О! Сколько раз мозг мой пылал жаждой мести! Теперь едва вспоминаю строки пиесы моей, не допущенные цензурой к печати:

Стремлюсь в жару ожесточенья
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить!
Уже рукой ожесточенной
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущенный
Забыл и горе, и печаль —
Готов!..
Но цепь порабощенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных трепетных руках...
Как раб, испуганный, бездушный,
Кляну свой жребий я тогда —
И вновь взираю равнодушно
На жизнь позора и стыда...

Позор, стыд, унижение — есть ли еще синонимы для определения холода дней моих?

Отец передал мне в наследство роковую страсть к вину. Сам он на глазах моих нередко напивался до чертей, до бесчувствия — и я подобен ему. Исступленный бегал он по двору, накидываясь с мучительствами на крепостных людей. В пьяном виде приказал он засечь до смерти дворовую девушку, за что и был сослан в Сибирь. Я не могу вспоминать о нем дурно — отец был добр ко мне, и даже из Сибири просил у дядей за меня неотступно: университетом я обязан отцу. Но кровь жертв его вопияла к небу! И, присоединясь к крови замученных дедом Леонтием, достигла воплем своим вышнего престола! И провидение осудило — меня! И теперь —

Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!

О, мучительно, мучительно жить будучи мертвым и непогребенным! Сколько раз я пытался разжалобить провидение снисходительным участием к рядовым солдатам — бранным моим товарищам. Не суть ли они такие же крепостные люди, как *те*, дедовы и отцовы, не оторваны ли они на десятилетия от родительских домов? Но нет! За кавказские стычки и сражения вновь произведен я в унтер-офицеры и тем самым лишен последней отрады: вновь обязан я быть строгим и взыскательным и за неприщитую пуговицу доводить несчастных до побоев. Нет! Я не действователь! Нельзя почитать действием плачевные вирши мои, хотя и печатаемые в хороших журналах... Но и последнего, единого, жалкого счастья меня лишают, запрещая держать и читать книги в казарме! И принужден я, как пария, скитаться по черным дворам кабаков, дабы за стаканом сивухи лить слезы над милым Пушкиным, — слезы отчаяния и безнадежного стремления к *нему*, к *ним*, в *их* светлый рой! О, глухая, глухая тоска! И на кабак-то часто гроша нету! Кабак — и Пушкин! Пушкин! Старший брат мой! Дивный друг мой! Готов без конца цитовать твои безмерно усладительные пиесы! Но кому? Кому?! Осклизлым стенам кабаков?.. Одно мне остается спасение — в сивухе.

Она страшна и не утоляюща, зеленая подруга моя. Волканы гремят в голове после нее, раскалывая череп на тысячи частей. Черти и ведьмы вьются и мелькают, не даваясь глазу и рукам. Растекается, растекается от боли бедный мозг мой... И дьявольский кашель, кровяной кашель чахоточного, раздирает грудь мою без конца!

Но *она* дает забвение. Пью — и не существую. Пью — и не знаю докучных забот о виновности своей. Пью — и отождетворяюсь с сивухой. Пью — и не помню отца, забываю кровавого деда Леонтия... только призраки замученных являются передо мною... Но я смеюсь им, я рад им, я читаю им свои пиесы. И они слушают... слушают меня... кивают бледными главами... движутся... одобряют...

Я увял — и увял навек! Конец мой близок. Все серо кругом. Эти дни подобны морю, а я — пловцу, знающему с утвердительностию, что утонет...

Где вы, где вы, черные глаза?

Море стонет — путь далек....
Тонет, тонет мой челнок...

Чу! Барабан бьет утреннюю зорю!

Горькая моя нужда! Горькая моя жизнь! Горькая моя сивуха!

Харчевня у Яузских ворот.

Во всей округе не было ничего грязней и вонючей «Харчевни с хлебенным квасом», что у Яузских ворот. В одно из февральских воскресений, к вечеру, в задней ее клетушке собрались унтер-офицеры Московского полка. Пришел с домрой голубоглазый Рублев, уже пропустивший шкалик-другой у кумы; пришел и правофланговый Тяпушкин, неизменно стукнувшись макушкой о притолоку, а потом об потолок; прибежал бабник Полосатиков и сейчас же стал хвастаться вновь презентованными сувенирами: ленточками, казанским мылом, картинками; всего собралось человек до десяти.

Водку в полштофах таскала в клетушку рябая девка Минодорка — ради решпекту — под грязным фартуком. Рот у Минодорки был от уха до уха, зубов в нем не оказывалось, но Минодорку хватали и щупали все — для обходительности. Девка шутейно визжала, из вежливости отбивалась, но в отношении чего прочего была строга и недоступна.

В углу, на божнице, в разбитом черепке плавал, коптя, фитиль в деревянном масле, играл тенями на сырых и черных бревнах стен, делал людей безлицыми и зловещими. Под фитилем Рублев настраивал домру; Полосатиков разложил на столе большую картинку: «Братья по оружию или возвращение из крестового похода», — и несколько голов, сопя, стукаясь друг о друга, склонились над ней. Крестоносцы на картинке были краснолицы, чудовищны ростом и желты доспехами.

— Что ж она, кутейна дочь, водку не несет? — володимерским басом спросил Тяпушкин. — Заказал два штофа цельных, а она не несет.

— Поспеешь, — ответил Рублев. — А дух, братцы, здесь нынче нехороший. Ровно стойло?

— Дырман-дырман-дырман-дин, — заговорила домра в его руках.

Дверь раскрылась, в ее бездонном провале стал Полежаев, в воскресной каске, в шинели; шагнул, нагнувшись от притолоки, через порог.

— Олександра, барин, — дружески пробасил Тяпушкин. — Где тебя, кутейного, носило? Ай медному-лбу завалился?

Полежаев снял каску, медлительно провел дрожащей рукой по черному глянцу волос; шагнул, упал на скамью, сказал тихо:

— Пушкина убили.

— Пуш-кина? — тоненько переспросил Полосатиков. — Это каких же Пушкиных?

— А он что тебе: брат, ай сват? — с участием нагнулся Тяпушкин к Полежаеву. — Небойсь, выпьешь — забудется. Тоже, и жизнь не сладка. Да вот и Минодорка.

Минодорка возникла перед столом, воровато оглянулась, ловко стукнула об стол четырьмя полуштофами; сказала:

— Пейтя. Только хозяин велел скорей, потому квартальный нонича тверезый ходит.

— А когда ж ты, Минодорк, за меня замуж пойдешь? — спросил Полосатиков, шлепнув девку по толстому заду. — Вот, — подмигнул он товарищам, — жониться хочу, невесту никак не урезоню.

— А нуу тебя, шут... — отмахнулась Минодорка, обнажив голые десны. — Ты под красной шапкой ходишь — много ль в тебе корысти?

— Ну, нечего тянуть, починайте, — нетерпеливо сказал Рублев и вынул из-за обшлага толстый зеленого стекла стаканчик. — Кому первому?

— Барину, барину налей, — засуетился Полосатиков. — Он чтой-то нынче сумлительный.

— Пей, Олександра, отходи, — подвинули стакан.

Полежаев поднял, тюкнул стекло об зубы, медленно выпил.

— Непогрешительно и нам по стакашку, — оживился Полосатиков. — Наливай по череду, Рублев, — не задерживай.

Стакан пошел в круговую, полштофы кивали и кланялись, — Минодорка подхватила пустую посуду — юркнула в дверь за подкреплением. За столом повеселели: чавкая, жевали огурцы и хлеб, ободрительно хлопали друг друга по плечам.

— Что ж, поговоришь нам нынче про Сашку-то, барин? — искательно спросил Полосатиков. — Больно у тебя про б....ки хорошо выходит.

Усупившись в стол, Полежаев молчал. Страшная весть пронзила сердце. И было странно и непостижимо внимать кабацким речам, звону посуды, хохоту, треньканью домры — и одновременно прислушиваться к своему, невероятному, ноющему и больному. Когда-то, верно, читал им неуклюжие, юношеские, четырехногие ямбы, — похабщина нравилась — и они хохотали густо и пьяно, и просили повторять особенно едкие места. Но теперь... сейчас...

Умер — убит неким паркетным шаркуном — неужели судьба жестокосердечна ко *всем* избранным? Рылеева — повесили, Пушкина — убили, его — на всю жизнь загнали в солдатскую шинель, сделали вещью, призраком, фантомом... И всюду, всюду кругом — шинели! Торжествуют шинели, празднуют шинели, шабаш справляют шинели — серые, безлицые, бестенные!

Водки, сивухи больше! «Где б ни был я — везде напьюся». Рублев, наливай еще, — подряд хочу выпить. Это ты! Рублев тащил на ружье

Свистунова? Помнишь? По лесам? по зеленым лесам? И сивуха, вспыхнув, зажгла в груди яд бодрости и борьбы. Нет! Нет! Для духа нет пределов! Да, я пленен, да, я привязан, как дикарь-ирокезец в чьей-то пиесе. В чьей это? Там подписано: — Ъ — Ъ.

— Вы, шинели, — слушайте!

— Слушай, братцы «:Сашку» говорить будет.

Шум стих, прислушались.

— Нет, шинели, не «Сашку». Нне... Сашку.

Я умру — на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Равнодушно они
Для забавы детей
Отдирать от костей
Будут жилы мои!
Но стерплю — не скажу, не скажу ничего!
Не наморщу чела моего!

— Это что же такое, братцы, — а?

— Брось, барин, — пей!

— Сашку, Сашку!

— Бррысь, вы! Молчать.

Я, как воин и муж,
Перейду в страну душ, —
Перед сонмом теней воспою
Я бессмертную гибель свою!
И рассказ мой пленит
Их внимательный слух,
И воинственный дух
Стариков оживит!
Совокупной толпой мы на землю сойдем!
Победим! Поразим!
И врагу отомстим!

— Ну его... Рублев.

— Из восстания — в пропасть! — воспаленно крикнул Полежаев. — Из пропасти — к восстанию! Знаю, знаю торжество восстания, хотя и скоротечного! Пушкин! Пушкин! Великий таинник природы! К тебе взываю, к тебе пьяный и грязный и клейменный позором! Но недолго, недолго буду я пьяным!..

— Ну, и подай тебе, господи, невесту о двенадцати титьках, — икнул над ухом Полосатиков. — Рублев, — двигай!

Грохнула домра, залилась нелепыми стекляшками струн, пьяные рожи кругом закачались, в уши с привизгиваниями вошло:

— Как за речинькой слободушка стоит,
Во слободке молода вдова живет!
У вдовушки дочь хорошая растет!
Ее личико как белинькой снежок,
Щечки алы, словно розовый цветок!
Речь умильна, развеселые глаза!..

— Их! Ух! Ах! — Фитиль запрыгал, заморгал, грохнули пляской стены, лица и шинели завертелись — взвился сивушный туман — сивуха — или кровь? брызнула на краснорожих крестоносцев — кто-то упрашивал, умолял перестать, грозил квартальным, потом кто-то звал Полежаева с собой — и внезапно все пропали — унеслись — исчезли, как исчадия ада, в черном провале дверей — Полежаев и моргающий красный фитиль остались вдвоем.

Чья это беззубая рожа возникла из темноты:

— Барин, а барин? Не пей! Ми-лень-кой? Не пей!

И вновь пустыня. Тупые ногти вонзились в сердце, голова разламывается на много частей, с громовым и пьяным треском горит на божнице фитиль, моргает, моргает — и вот уже снова дверь растворяется. Кто там? Леночка? Минодорка? Нет, дверь тихо-тихо и не скрипя — раскрывается на малую щелку... Что? Что?.. Кто там?

Маленьким носиком своим открывает дверь леночкин слоник. За ним — другой, третий, седьмой... все больше и больше! Вот их семь!.. Счастье?! А может, тринадцать? А может, тысячи!.. биллионы?!

А на самом большом, самом белом слоне — царь Николай сидит верхом. Грозит пальцем, а вместо пальца — штык, а вместо лица — свекольный ком плац-майорского мяса. Грозит... грозит! Нет ли темного уголка, закоулочка маленького, а то ведь поцелует... поцелует! И верно — мелькая и мигая, — лезет, лезет прямо к лицу! Вместо губ — беззубые десны, сейчас тяпнет за нос — уйти бы, скрыться бы! Но куда же? Куда?.. Куда?

Фитиль моргнул и погас. В слепое окошко глянула ночь.

Аракчеевщина.

(Из ром. «Северное сияние»).

М. Марич.

Трехдневное пребывание в вотчине Аракчеева, Грузино, становилось невтерпеж чуткому Басаргину.

Находясь неотлучно в свите царя, он сопровождал его в осмотре близ расположенных военных поселений. И ни вымытые стекла чистеньких изб, ни жирный поросенок на холщевых скатертях столов, ни складно сшитые мундиры военных поселян не заставили его хоть на минуту поверить тому, что все это смягчало и скрашивало их мрачную жизнь. По их застывшим в испуге глазам, по неестественным, вымученным движениям, по привычке ежеминутно боязливо озираться он понял, что все, что было известно ему и его товарищам о жизни этих людей, в действительности было еще мрачнее.

За эти три дня он увидал всю жестокую нелепость этой безрассудной выдумки царя и Аракчеева, весь внешний блеск и все внутреннее убожество жизни военных поселян. Картинные дома с мезонинами были так холодны, что вода в ведрах замерзала. Коровы содержались в таком же порядке, как ружья и мундиры. Но зачастую эта же выскребленная щетками скотина гонялась на пастбище за десятки верст от села и возвращалась домой изнуренная и тощая.

Больницы сияли чистотой мебели и паркетных полов, но больные боялись ступать на эти полы и вместо того, чтобы выходить через дверь, прямо с кровати прыгали в окна. Боялись сесть на скамейку, чтобы не сдвинуть ее с указанного ей места, боялись опереться о стол, чтобы не стереть свежеположенной краски.

Солдаты во время работ жили в мазанках без печей. Работали больные лихорадкой, цынгой, поносами. Слепли от куриной слепоты. Но на показ начальству выходили в мундирах без пылинки с лихими песнями и присвистом.

А ночью по всему лагерю звучал надрывный кашель, сплевывались сгустки крови, раздавались стоны и громкая спросонья брань.

Возвращаясь вечером в свою «связь», так назывались однообразно устроенные в поселениях избы на две семьи, Басаргин долго не мог заснуть.

Своя жизнь, обеспеченная чужими заботами и трудом, безоблачно счастливая в последние полгода после женитьбы, казалась невозможно несправедливым благом. Будто все эти тоскливые глаза упорно и беспощадно корили его за его счастье.

Хотелось оправдаться перед ними и перед самим собой. И он старался думать об опасности, которой подвергает свое благополучие тем, что участвует в Тайном Обществе. Пробовал вообразить себя в крепости, в ссылке, но представления эти были туманны, а ярко и соблазнительно всплывали в памяти перед глазами другие картины. И особенно часто одна: уютная розовая спальня, туалетный стол с двумя свечами перед овальным зеркальцем, а перед ним на круглом табурете вся розовая — то ли от счастья, то ли от розового фонаря под потолком — жена. Распустила косы, и они каштановым каскадом закрыли ей плечи, спину, всю до самого пола.

И ему хочется подойти к ней, еще шире раскинуть душистую тяжесть волос. Он делает порывистое движение. Вздрагивает — и розовая комната уплывает. Он снова в Аракчеевской вотчине. Одиноко, тоскливо.

— Если нынче не уедем, — решил он, проснувшись на рассвете,— то скажусь больным и уеду сам.

Наскоро одевшись, он вышел на крыльцо. Солнце еще не всходило и небо на востоке было сиренево-розовым.

В парке и по двору двигались молчаливые люди, скребя и выметая и без того чистые дорожки и лужайки.

От церкви плыл какой-то особенно глухой, будто тоже придушенный, колокольный звон.

Басаргин взглянул в сторону аракчеевского дворца. Все окна его были плотно закрыты тяжелыми ставнями. У главного крыльца застыли часовые.

Розовая заря отражалась на их обнаженных шашках и на вызолоченных буквах надписи «без лести предан» — девиз Аракчеевского герба, прибитого над главным входом.

У правой пристройки дворца мелькнул в окне белый поварской колпак.

Басаргин вспомнил, как по приезде в Грузино Аракчеев обратился к царю:

— Грузинский хозяин испрашивает позволенья кормить своего благодетеля в Грузине своею кухней. Царь наклонил голову и вся челядь «своей кухни» затрепетала, зная чего стоит угодить свирепому, скупому Аракчееву, когда он хочет хвастнуть «своей кухней» перед высоким гостем.

Басаргин попробовал заговорить кое с кем из проходящих мимо крыльца, но люди пугливо шарахались от него, указывая взглядом на дворец.

Только царский кучер Илья, узнав в Басаргине свитского офицера, снял шапку и с сокрушением проговорил:

— И все, ваше благородие, молчок. Боятся разбудить графа. И так свиреп, а не выспится — лютей зверя, сказывают.

Он ближе подошел к Басаргину и, понизив голос, продолжал:

— Да кабы только графа, а то полюбовницы его, Настасьи Минкиной, пуще графа страшится тутошний народ. Да и зла же, подлая. Прошлую пятницу опять двух девок, сказывают, на смерть запорола. А нынче в черном хлигеле опять всю ночь людей истязали. Сам стоны слышал. И как они терпят, сердечные. — Кучер глубоко вздохнул и пошел дальше.

Басаргин хмуро поглядел в отдаленный угол двора, где стоял выкрашенный в темную краску небольшой флигель, с маленькими отверстиями для окон под самой крышей. На дверях этой домашней тюрьмы, которой неизвестно почему было дано название «едикуль», висел тяжелый замок.

Огромный, похожий на матерого волка, цепной пес лежал у самого ее порога.

Басаргин спустился с крыльца и вы ел за ворота.

Двое часовых, отдав честь, провожали его взглядом, покуда он не свернул к реке.

Синий Волхов, еще охваченный ночным туманом, дремотно катил к озеру тихие волны.

Вдоль его крутого высокого берега, как солдаты в строю, лицом к реке вытянулись по прямой линии поселенческие избы. Каждая в два этажа, около каждой — изгородь игрушечного садика с чахоточными деревцами и гладко выструганными скамейками.

Над каждой — серый столбик дыма и над всеми уныние и тишина..

На лугу, с вытоптанной травой, уже шло ученье.

Басаргина поразила тишина, разлитая и над этой пестрой толпой людей, и он ближе подошел к ней.

Люди, подтянутые, вылощенные, трепетно напряженные, готовились к царскому смотру.

Аракчеев собирался щегольнуть перед царем «разводом с церемонией».

Офицеры, проходя по фронту, выравнивали ряды, грубо толкая солдат в грудь и живот.

Зуботычины и пощечины звучали глухо. Без обычного раската раздавалась и крепкая ругань.

С минуты на минуту могло появиться высшее начальство.

— Ты что рожи строишь, — вдруг бросился к солдату Аксенову подпоручик Ефимов, прозванный солдатами Кулаковым.

И полновесная затрещина чуть не сбила с ног невысокого роста Аксенова.

— Виноват, вашбродь, муха ужалила, щека-от и дернулась...

— Чурбан нечесаный, — выругался Кулаков, — я тебе покажу

— Слушаюсь. — Последовал ответ.

Аксенов поднял свалившийся от удара кивер и, отряхнув, надел. Правая щека его долго багровела румянцем.

Офицер со сжатыми кулаками сделал несколько шагов и снова остановился.

— Ну, как стоите, черти бесхвостые, — тряхнул он за плечи разом двух круглолицых парней. — Гренадеры вы, аль бабы старые? Сколько раз вам сказывал: должно всеми средствиями подаваться вперед, а отнюдь на оные не упираться. Да не наваливайтесь на левый бок, скоты.

И проходя дальше оправлял на солдатах амуницию и кивера. При этом старался захватить вместе с сукном мундира и больно ущипнуть руку, грудь или плечо стоящих перед ним людей.

В церкви, куда Басаргин зашел на обратном пути, уже все было готово к службе.

Ждали выхода Аракчеева и его «высокого» гостя.

Молодой священник с красными пятнами на худом лице все поглядывал через открытую дверь, на графский дворец.

Басаргин осматривал церковь. На одной из боковых стен ее висел бронзовый медальон императора Павла I, а под ним бронзовый полукруг надписи:

«И прах мой у ног твоих».

Басаргин опустил глаза.

Массивная плита, со скорбным ангелом у изголовья, была окружена бронзовой редкой работы оградой.

— Кто здесь похоронен? — спросил Басаргин у священника.

Тот неопределенно усмехнулся.

— Извольте прочесть, там прописано.

И снова выглянул в дверь.

Басаргин наклонился к плите.

«Здесь погребено тело Новгородского дворянина Алексея Андреевича Аракчеева» — прочел он и с изумлением обернулся к священнику.

Тот, не дожидаясь вопроса, сказал с той же усмешкой:

— Граф для себя приготовил могилку.

В это время послышался шум на главной аллее.

Священник быстро отошел от Басаргина и сделал знак дьякону.

Тот вышел на амвон, и как только царь с Аракчеевым показались в дверях церкви, зычно провозгласил:

— Благослови, владыко.

Молящихся было немного.

Кроме Киселева, Басаргина и приехавшего прямо в Грузино графа Кочубея было еще несколько офицеров.

Царь, картинно отставив правую ногу, истово крестился, уставив глаза прямо перед собой. Аракчеев же все время вертел головой по сторонам, наблюдая присутствующих. Несколько раз мутно-холодный взгляд его глубоко ушедших под лоб глаз останавливался на Басаргине.

— Что ему надо от меня? — удивлялся Басаргин.

Как только служба кончилась, Аракчеев предложил царю прогуляться по парку. Ему хотелось показать Александру грациозный павильон, выстроенный на том месте, где царь в свой прошлый визит в Грузино завтракал на открытой лужайке.

Строить павильон выписали смуглого итальянца с целой гривой длинных черных волос.

Строил он его сперва на синей шершавой бумаге то углем, то чернилами. А потом целыми днями от зари до зари суетился вокруг сотни мужиков. А те в мокрых на спине и плечах рубахах копали землю, месили глину, рубили лес и носили мраморные плиты. Итальянец жестикулировал, выкрикивал певучие слова, а мужики гнули спины, подымали и опускали ломы и при этом... итальянец никак не мог понять: пели они или стонали.

Лохматые, босые мужики, корявыми запачканными глиной руками создали белый, мраморный павильон со стройными колоннами, изящным порталом и лестницей, увитой розами.

Итальянец, уезжая, с гордостью сказал:

— Этот павильон имеет право сиять под небом Италии.

Аракчеев уплатил итальянцу сколько следовало по уговору, а мужикам приказал выкатить боченок прокисшего вина. Над уходящими ввысь колоннами павильона велел прибить свой тяжелый герб с неизменной надписью: «Без лести предан».

Царь, похвалив павильон, пожелал войти внутрь.

Киселев, сдерживая улыбку, шепнул что-то Басаргину.

Оба они знали, что если перевернуть украшавшие павильон зеркала, то на обратной их стороне обнаружатся картины, поражающие своей чудовищной непристойностью даже видавших виды екатерининских вельмож.

Но царь, видимо, не знал, или сделал вид, что не знает этого секрета.

Накинув лорнетку, он поглядел на себя в одно из этих зеркал и заметил легкую бледность лица.

Аракчеев видел, что царь устал, и спешил закончить ходьбу пешком.

— А теперь осмелюсь предложить вашему величеству в ялике прокатиться по Волхову, дабы осмотреть дома поселенцев и принять парад.

Когда подъехали к новенькой пристани, выстроенной у самого военного поселения, Басаргин не узнал виденного им утром безлюдного села.

У ворот каждого дома стояли семьи живущих в нем людей. Все мужчины, крестьяне и определенные к ним постояльцы-солдаты, были одеты в мундиры, фуражки и штиблеты, а женщины и ребятишки в праздничные наряды. На правом фланге избы стояли ротные командиры.

Царь, сев в коляску, медленно ехал по улице.

У каждой избы он останавливался, принимал рапорт и следовал дальше.

У избы крестьянина Семенова он вышел из коляски.

Жена Семенова Прасковья, высокая, на редкость красивая женщина, кланяясь в пояс, поднесла ему хлеб-соль.

Царь вошел в избу.

На столе дымилась миска с супом, и рядом на круглом блюде лежал жареный гусь.

Царь зачерпнул ложкой из деревянной пахнущей новой краской миски и одобрительно наклонил голову.

— Прекрасно, суп из курицы. Очень питательно, — сказал он и оглянул присутствующих взглядом спрашивающим:

— Ну, а дальше что?

Аракчеев забежал вперед и заговорил своим гнусливым голосом, проглатывая концы слов:

— И никакой зависти, ваше величество. Ни бедных, ни богатых. Умеренное благополучие, чистота и порядок.

И распахнул перед царем дверь.

— Очень, очень доволен, — сказал царь, — кивая в сторону Прасковьи, застывшей в низком поклоне.

Аракчеев снова загнусавил:

— Старость, ваше величество, иногда оспаривает самое большое усердие... Но утешаю себя, если угодил вашему величеству.

Едва только они вышли из избы, как в нее вбежал шустрый паренек и, схватив гуся и миску с супом, задворками побежал мимо других изб, чтобы занести «питательное» блюдо в ту из них, в которую царю снова вздумается зайти.

Вечером Прасковья получила царский подарок:

Голубой, вышитый золотым позументом сарафан.

Но надеть его не могла.

Ее исхлестанная накануне, по приказу Настасьи Минкиной, спина вся покрылась багровыми рубцами. Рубаха пристала к запекшейся крови, и ее нельзя было снять.

Подперев голову, женщина злобными глазами смотрела на голубой сарафан и думала тяжелую мучительную думу.

А когда наступила ночь, Прасковья, пригибаясь у плетней, пробежала к военному госпиталю и прошмыгнула в каморку фельдшера.

— Светик мой ясный, — обнимая его горячими руками, зашептала она. — Дай ты мне яду. Изведу я ее подлую... Все равно нету нам жисти никакой.

И тряслась в отчаянных рыданиях.

Фельдшер, утешая, погладил ее по спине.

Она вскрикнула:

— Не трошь. Больно. Исполосована я в кровь... Моченьки нету...

И упала грудью на край стола.

— Поди вынеси яду, — сквозь рыданья просила она. — Я повару передам. Вынеси, касатик родименький.

— Да ведь травили ее. Отлеживается анафема. Что ж зря себя губить?

— А ты посмертельней который раздобудь. Поди, милой. Ночью-то никто не услышит...

Скупой Аракчеев заранее отдал приказ кухмистеру: не обносить всех теми кушаньями, что готовились для царя. И на одинаковых блюдах подавалось разное: хозяйну, царю и генералам одно, а остальным гостям иное.

Басаргин заметил, что большинство офицеров почти ничего не ели. Знали, что за каждым куском, который подносился ими ко рту, следит жадный и быстрый взгляд Аракчеева.

И что за тонкой перегородкой сидит огромная рябая баба, Настасья Минкина, и огненными черными глазами смотрит в специально для нее продолбленную щелку.

Граф Кочубей, выпив несколько бокалов вина, обратился к Аракчееву с речью, в которой вспоминал свое первое посещение новгородских поселений вместе со Сперанским и какое приятное «чувствие» произвело оно на них обоих.

— Но нынешнее обозрение, — говорил Кочубей, — явило картины еще более отрадные. До сих облагодетельствованных вашим вниманием берегов Волхова нет ничего похожего не только на произведение ума, но и рук человеческих. До самого Чудова ничего кроме десятка ветряных мельниц, на боку лежащих, не видно. А что же мы зрим здесь? Там, где были болота, выстроены благоустроенные домы... Невежественные жители обращены к благоденствию...

Киселев чуть заметно подмигнул Басаргину, и его красиво очерченные губы насмешливо дрогнули.

— Удивительно, — заговорил он наивным тоном. — Как это Николай Михайлович Карамзин не оценил в должной мере высоких заслуг нашего уважаемого хозяина.

Александр заметил злую гримасу Аракчеева и холодно ответил Киселеву:

— Мой историограф сам объяснил свое отношение к поселениям, — сказал он. — Русский путешественник уже стар и ленив на описания.

— А жаль, — вздохнул граф Кочубей, — жаль, что Карамзин не внес своей лепты в сокровищницу восхвалений военным поселениям.

Царь молча допил последний бокал и откинулся к спинке стула.

Аракчеев поднялся с места и, низко поклонившись сначала царю, потом гостям, заговорил, проглатывая концы слов:

— Покорнейше благодарю батюшку моего благодетеля и государя и вас, дорогие гости, что не побрезговали моим деревенским хлебом-солью. Прошу извинить за скромность яств и питей.

Царь встал из-за стола и направился в комнату, где стараниями Аракчеева все до мелочей было похоже на его рабочий кабинет в Царском Селе.

Там в течение нескольких часов между усталым обмякшим царем и его неутомимым временщиком длилась тайная для всех беседа.

На успенье случилось в Грузине событие.

Пошла Настасья Минкина осматривать погреба и осталась недовольна.

Трижды принимались сечь старика дворецкого батогами. Как дойдут до ста ударов, так перестает он шевелиться. Отольют водой, дождутся, чтоб застонал, и снова хлещут.

Когда, наконец, понесли его окровавленного в избу, один из дворовых, тот, что держал конец рядна, хмуро сказал другому:

— Придется тебе, дядя Аникий, нынче гроб мастерить.

Аникий взглянул на безжизненно болтающуюся голову дворецкого, по которой ползали зеленые мухи, и сердито ответил:

— Не впервой плотничаем по такому случаю.

Но дворецкий Стромилов не умер.

Рассвирепевшая Настасья приказала госпитальному фельдшеру лечить его всячески, потому что на многие дела был Стромилов мастер и другого такого в Грузине не сыскать.

А попробуй купить у кого из помещиков стоющего человека, так ведь столько заломят.

Стромилов медленно поправлялся.

И как только смог ходить, доплелся шатаясь до кухни к своему приятелю, повару Тимофею Лупалову.

Лупалов свежевал барана.

— Работаешь, — тяжело опускаясь на лавку, спросил Стромилов.

— Работаю, — коротко ответил Лупалов и посмотрел в искаженное страданиями лицо дворецкого.

— А я вот ослаб, то-есть руки ничего, а тело — ни лечь, ни сесть. А ежели на брюхо перевернусь — дышать нечем.

Помолчали:

— Сам ты его прикончил? — кивая на распластанного барана, спросил Стромилов.

— А то кто же? Известно сам.

— А трудно?

— Чего трудно. А бы нож острый.

— А другие сказывают, самое трудное дело убойное.

— Это которые дела не знают. Горло режут, а я вот сюда под ребро, — он дотронулся кончиком блестящего, похожего на кинжал, ножа до своего левого бока, — раз и крышка...

По безжизненному лицу Стромилова пошли яркие пятна. Глаза

— Рраз и крышка, — повторил он побледневшими губами.

Лупалов бросил нож и, вытерев о фартук руки, повернулся к кадке с водой.

Легкий шорох и короткий крик раздались за его спиною.

Он быстро обернулся и обмер.

Стромилов, зажав в обеих руках нож, похожий на кинжал, вонзил его в свой левый бок, как раз в то место, куда только что показывал Лупалов.

— Рраз и крышка, — еще раз слетело с его остывающих губ.

И острый блеск его широко открытых глаз стал быстро гаснуть. Его сменила тускло белесая пленка.

Через несколько минут в кухне собралась почти вся дворня.

Глухой ропот, как пар из клокочущего котла, прорывался сквозь крышку страха.

— Извести ее, подлюгу! Терпеть мочи нет! Задавить гадюку!

— Стой, робя, — вдруг покрыл голоса Лупалов, — шапки скинуть.

Головы обнажились.

— Вынь из его нож, — велел поваренку Ваське хлебник Горынин.

— Боюсь, тятенька.

Кухмистер Аникиев потянул из рук покойника нож. Нож не поддавался.

— Эк, стиснул, — качая головой, проговорил кухмистер.

— Не трошь, — звенящим голосом крикнула Пашутка — младшая комнатная девушка Минкиной. — Самой, как сказали, велела не замать, покеда граф вернется.

Сквозь толпу молча пробирался старик-слесарь Горланов.

Приблизившись к мертвому, он близко заглянул в его лицо и шумно вздохнул.

— Зря ты себя погубил, Андрей Иваныч, — горько кивая головой, обратился он к покойнику, — убил бы ты сперва Настасью, когда была она с тобой в погребе, а потом бы и сам зарезался. Заставил бы за себя вечно бога молить, ослобонил бы ты нас. А так что же зря кровушку свою пролил!

В толпе послышались всхлипывания. Пашутка сняла с головы белый платочек и прикрыла им мертвое лицо...

Вечером вернувшаяся вместе с графом Минкина чинила дворне допрос. Узнав о Пашуткином беленьком платочке, она велела наказать ее розгами и «для смирения» посадить на сутки в едикуль.

Порол Пашутку вновь назначенный дворецкий Иван Малыш.

Малыш не раз просил разрешения графа жениться на Пашутке, но граф, ничего не разрешавший, не посоветовавшись с Минкиной, каждый раз отказывал.

Настасье самой сильно нравился красавец Малыш. Она явно давала ему понять это. Но время шло, а Малыш не переставал угрюмо опускать глаза всякий раз, как только встречался с ее любовным взглядом.

В сарае, где хранилась зимняя утварь и где по углам висела черная паутина, в полночь, при свете ныряющей в облаках луны, проскальзывали осторожные юркие тени.

Последней прибежала тоненькая Пашутка.

— Заснула окаянная, — зашептала она, присаживаясь на передок саней. — А Дарья здеся?

— Тутотка я, — послышался в темноте шопот. — Дядя Хведор и Васька куль меня.

— А мы с Васюткой здеся, — проговорил Лупалов.

— Ванюшка, ты где?

— На санках, — чуть слышно отозвался Малыш.

И опять положил голову на теплое Пашино плечо.

— Что ж, ребята, — заговорил Горланов, — сидеть некогда. Все знаем, зачем пришли. Подошел конец терпенью нашему. Всех измучила Настасья...

— Ребеночек мой живехонек бы остался, кабы не она, — с слезами в голосе проговорила Дарья, — угнала в прачки, а ребеночка отняла...

— Ладно, — оборвал Горланов. — Слыхали. Знаем.

— Дядя Хведор, утоплюсь я, али удавлюсь, нету терпенья мово, — тоскливо проговорила Паша.

— Полно, Пашенька, — Малыш погладил ее по щеке. — Рубаху последнюю отдал бы, коли б кто порешил зверюгу, — скрипнул он зубами.

— Кто сделает дело это — много оставит по себе богомольцев, — вздохнул Лупалов.

— Так что выходит, ребята, не жить Настасье на этом свете? — спросил Горланов.

— А то как же, — разом ответило несколько голосов. — Всего переиспытали под нею. К ворожеям, к колдунам бегали. Травы плакучие ей под голову клали. Ничто не умягчает. Свирепеет день ото дня...

— Знаем, — опять оборвал Горланов. — Не об этом речь. А вот кто и как...

Смолкли и стало так тихо, что слышно было, как повизгивает ржавый флюгер над крышей графского дворца.

— Отравить, — шепнула Дарья.

— Не берет ее яд. Семенова Прасковья злющего яду раздобыла. Подсыпали в кашу. Нажралась Настасья, а толку чуть. Помаялась денька два животом и хоть бы што.

— Зарезать надобно, — веско сказал Горланов.

— Не иначе, — вздохом пронеслось во тьме.

— Тебе, братец, сделать это.

Пашутка в темноте нашла братнину руку и крепко стиснула ее:

Опять помолчали.

— А ты скроишься опосля, — сказал, наконец, Лупалов. — Тетка Акулина сколько разов в бегах находилась. Она тебе все трахты объяснит.

— А коль пымают?

— На себя все приму, — горячо зашептала Пашутка. — Пытать станут — все равно на тебя не покажу. Вот при народе зарок даю. Только прикончи ты ее. Как уезжает граф, спит она в своей горнице. На болты позапрется, а нам с Аксюткой по бокам постели велит ложиться. Я на зорьке Аксютку вышлю, а тебя впущу.

— Так ведь кричать она станет. Свинью колешь и то кричит, — как-то задумчиво возразил Вася.

— А пущай кричит, — кто ее спасать кинется? — с ненавистью прошептал Малыш.

— Тс, — тревожно насторожился Лупалов.

Прислушались.

— Слышите? Никак притаился кто-то под стеной?

Пашутка крепко прижалась к брату:

— Боюсь я. Не душенька ли дяденьки Стромилова бродит?

— Тс... — зашикали на нее.

И снова притаили дыхание.

Вдруг явственно донеслось с дороги лошадиное ржанье и топот.

— К нам ведь? — прислушиваясь сказал Вася. И приник к щели в стене.

Пес, дремавший у едикуля, зазвенел цепью и громко залаял.

В верхних окнах графского дворца зажегся свет и запрыгал с окна на окно все ближе и ближе к крыльцу.

— Расходись, ребята, — приказал Горланов. — Да только с опаской. Выбирай время, как месяц за тучи скроется.

Задвигались в темноте бесшумно и торопливо.

Проскальзывали точно бескостные в чуть приоткрытую дверь и черными тенями проносились вдоль стен по двору к кухне, к людской, к девичьей...

Освобожденные воды.

Разсказ.

Петр Ширяев.

I.

Гигантские трещины изморщинили потемневший лед. Река дулась, как тесто. С каждым днем глинистая кайма обрывистого, невысокого правого берега становилась все у́же и у́же. И, казалось, — опускается берег. Весеннее солнце сгоняло последний снег и торопило сотни хлопотливых ручейков. В мелколесьи левого берега суетились птичьи голоса. Среди них особенно резок был бестолковый, скрипучий стрекот длиннохвостых сорок, снующих целые дни по голому осиннику. С юга тянули косяки гусей, развешивая в просторном небе звучное кагаканье; с упругим, свистящим шелестом проносились стаи уток, и плыли в прозрачных сумерках медлительные журавли.

По утрам, на крутой берег Воронье приходили деревенские парни, девки и ребятишки, и целыми часами глядели на потемневшую реку. Неподвижная — она молчала. Как веселая ребятешь перед закрытой дверью рождественской елки, толпился суетливый весенний гомон, и было все полно ожиданием.

Ленька каждый день приставал к старому Игнату, караулившему бывшую барскую усадьбу:

— А когда лед тронется? А завтра тронется? А после завтра?..

Невозмутимый в своем покое семидесяти весен, Игнат собирал в памяти многолетний опыт и раздумчиво говорил:

— Не должно быть, чтоб теперь тронулась она...

— А почему?

— Потому — ночь светлая, месяц... Река завсегда темной ночью трогается!..

— А почему ночью, дядя Игнат?

— Завсегда ночью... На моей памяти не было, чтобы днем. Положение такое!

— Дядя Игнат, а я ноньче гусей видал! И мно-о-ого-о!..

На обожженном зноем и стужами, коричнево-красном лице Игната разбегались лучинки. Он улыбался Леньке беззубым, черным ртом.

— Лед пройдет — самый раз вентиря ставить. Налиму тут — тысячи!.. А гусь — строгий, взять его тру-удно!

— А почему строгий?

— Потому гусь — птица самостоятельная. Промеж себя старшого выбирает. Он и блюдет за всех.

— Как выбирают?

— Выбирают-то? — Игнат долго чесал в хрустящей бороде, прежде чем ответить. — У каждой птицы своя наречия есть. Дружка дружку понимает она, вроде как человек...

От дяди Игната Ленька мчался к полуразрушенному барскому дому, где в двух уцелевших комнатах поселился Егор Петрович, уполномоченный Грачихинского кооператива, заарендовавшего у уисполкома усадьбу с паровой мельницей. Бурно врывался в комнату, пахучий весенним ветром, навозом и талой землей.

— Егор Петрович!

Егор Петрович откладывал в сторону карандаш и счеты.

— Егор Петрович! А я ноньче гусей видал! И-ы-х и мно-ого-о!

— Ну?

— Ей бо-огу! Тыщу штук будет!

— Ты считал? — улыбался Егор Петрович.

— Двести... Сто штук будет, верно-слово не вру! — сбавлял Ленька.

— Вот подожди, лед пройдет, — на селезней с тобой поедем.

— Сразу поедем? Только-только пройдет и поедем? — загорался Ленька, — а когда лодку шмолить? Давайте ноньче шмолить!

— Все сделаем.

— А вентиря будем ставить? Налиму тут — ты-ыщи! А гуся взять трудно! Он очень... такой...

— Какой?

— Очень — строгий! — важно заключал Ленька.

— А ты откуда знаешь?

— Зна-аю.

— Отец где сейчас?

— В машинном... А я папаньку спрашивал: можно, говорю, с Егор Петровичем на охоту! А он говорит — можно. Верно-слово! Сами спросите! Я и Лизе сказал!..

При имени Лизы лицо Егора Петровича оживлялось. Подтянув к себе Леньку за руки, он спрашивал:

— Ну, а она что?

— Ни-чего! Ба-аба!

Обидные слова сестры о необсохшем молоке на губах Ленька повторять не хотел.

Из окна комнаты Егора Петровича был виден обрыв. В закатный час, когда косые, негреющие лучи протягивали розоватые, длинные тени, на берег приходила Лиза... В темном платье и темном платке, на малиновом фоне закатного неба, ее одинокая фигура на обрыве печально запоминалась. Так запоминается одинокий крест где-нибудь в поле, у дороги, на безвестной могиле. Она приходила всегда одна и если кто-нибудь появлялся — сейчас же уходила своей плывучей, медленной походкой.

«Тоскует!» — думал Егор Петрович у окна, и ему хотелось потихонечку прокрасться к ней через сад, взять ее крепко за плечи, да тряхнуть, да зыкнуть так, чтобы лед на реке треснул, чтобы тоска эта монастырская, как пробка из бутылки с шипучим квасом, в потолок хлопнула.

Силищи в Егоре Петровиче много было. Хотелось ему, чтоб кругом все ходуном ходили... А к Лизавете Ивановне по сердцу его давным-давно червячок ход прокладывал, но сказать ей об этом он не осмеливался. Смотрел из окна и сокрушался:

— От монастыря в ней тоска эта!

II.

Но первой и главной заботой Егора Петровича был сорокасильный Дизель на мельнице. Дизель был мертв. Второй месяц хлопотал около него старый Иван Федорович. Подгонял, нарезал, сваривал, чистил. И десять раз на день в машинное забегал Егор Петрович.

— Ну, как?

— Стучим, Егор Петрович!

Иван Федорович размазывал по лицу копоть, нефть и пот и сверкал ослепительными зубами. Егор Петрович ходил вокруг Дизеля, щупал, похлопывал и вздыхал:

— Э-эх, кабы пошел!

— Пойдет, Егор Петрович!

— Пойдет?

— Должен пойти.

— Не пойдет, живьем съест меня общество!.. Моя ведь затея-то! Я ведь уговорил кооператив заарендовать усадьбу с мельницей. Я обнадежил!

— Пойдет! Все в исправность приведем, — уверенно говорил старый машинист, — вот с шатуном закончил. Теперь пусковой клапан проверку должен сделать...

— А что, правда сказывают, с умыслом попорчено? — спрашивал Егор Петрович. — Говорят Сергей Сергеич-то всю ночь портил, перед тем как уйти отсюда?

Иван Федорович стаскивал кожаный картуз и скреб в лохматой голове.

— Порча, действительно, есть, которая с умыслом... Коромысло, скажем, у насоса, или вот тоже впускной клапан... А только скажу, —

без понятия все сделано! Ежели кто с понятием — под ними нефтяной насос на три миллиметра, ну и... нипочем не узнать! Пришлось бы снимать картер и рамы проверять. Позавчера в город я ходил, в милицию... Да-а. Иду, смотрю, — он сам, Сергей Сергеич. «Ну что, говорит, пустили мельницу, что ль?» Спрашивает, а сам эдак посмеивается. Хотел сказать ему! нехорошо, мол, так, Сергей Сергеич, образованным людям достояние народное портить. Да сдержался... Вот он какой!

— Ни себе, ни людям! — сплюнул Егор Петрович, — откуда в них злобы этой?

— Темной души человек, — покрутил головой Иван Федорович, — и очки на нем желтые... Ничего не видать за ними... Глаз свой хоронит... Я примечал, Егор Петрович, как который глаз хоронит — обязательно нутро в таком человеке темное!

— Чорт с ним, старый хрен! — отмахнулся Егор Петрович, — вот как только наладим Дизель, заработаем — тогда пусть приходит злобиться... Сита новые поставим. Мужики повезут на свою мельницу. Каждый для себя стараться будет.

— Это непреме-енно так! — убежденно согласился Иван Федорович, — своя, общественская мельница. Си-ила!

— Пусть приходит тогда!

— Он и то собирается... «Приду, говорит, посмотрю, как новые хозяева хозяйничают на чужом добре...»

— Было чужое, да возвратилось!—весело засмеялся Егор Петрович.

III.

Потомственный дворянин Сергей Сергеевич Королев очень любил живописные виды и усадьбу свою посадил на обрыве высокого берега Воронье, на самом острие треугольника, образованного крутым изгибом реки.

С обрыва открывался просторный вид на левый берег, поросший чернолесьем. За чернолесьем — город. На первом плане — казармы из красного кирпича. Из-за них — пять золоченых глав собора.

Сидя на обрыве, Сергей Сергеич часто мечтал о любимом проекте своем: перекинуть воздушный мост с обрыва в город. Над чернолесьем, озерами, болотами — к собору. По прямой линии — версты четыре.

— На Пасху, например... кончилась заутреня, и прямо из собора в полном облаченьи, напрямки к Королеву разговляться. И святой водой угодья лесные можно с моста кропить...

Такой мост в именьи у соседей Курагиных построен был через глубочайший овраг; построен был специально для государя, которого ждали туда. Перед въездом на мост — триумфальная арка. Государь подъехал к мосту, посмотрел и сказал:

— Замечательно!

А потом спросил:

— Нет ли другой дороги?

И объехал овраг справа от моста... Курагин все-таки доску к мосту прибил: «По сему мосту собственными стопами проследовать изволил его императорское...». И с тех пор начал брать рубль штрафу с мужиков, если заставал на мосту...

Все это вспоминал Сергей Сергеевич, посиживал на обрыве и посматривал на свои угодья, привольно раскинувшиеся до самого города.

— Курагинский мост — дрянь, а мой на четыре версты! И с линии железной дороги видно будет... Чей мост? Королева Сергея Сергеевича!

Мечтательность была в роду у Королевых.

Дед Сергея Сергеевича, Артемий Королев всю жизнь о белом цвете мечтал. В его именьи все было белое. Лошади, коровы, быки, овцы, куры, собаки, кошки — белые, без единой отметинки. Все другого цвета безжалостно уничтожалось. Все постройки, экипажи были выкрашены в белый цвет; и дворовые люди, и управляющий — все белобрысые, и когда родился сын у него, будущий отец Сергея Сергеевича, с черными как у негра кудряшками, — Артемий Королев в колыбели лишил его наследства...

Младший брат Сергея Сергеевича — Андрей, умерший от чрезмерного пристрастия к алкоголю, тоже мечтал до самой преждевременной смерти своей... Его мечта была скромная: взобраться на кочетыгах на телеграфный столб против губернаторского дома и там «стебнуть», как говорил он, полубутылку...

Не довелось ему это исполнить благодаря предусмотрительности друзей. Они зорко следили, чтобы Андрей Королев в хмелю не попал на площадь перед губернаторским домом...

А один раз помешал старший городовой.

— Помилуйте, ваше степенство, Андрей Сергеич! Возлезете, ан в этот критический момент его превосходительство изволют по телеграфу разговаривать. Получается натуральный конфуз и служебная неприятность... К тому ж можете сверзиться и повредиться!

Андрей Королев умер, не осуществив мечты своей.

Не довелось и Сергею Сергеевичу построить воздушный мост. Помешала отчасти начатая постройка паровой мельницы, и потом — Революция.

Постройка паровой мельницы в именьи, где протекала великолепная река, явилась результатом четырех роберов винта, за которыми прогоревший сосед развил мысль об американизации хозяйства... Сергей Сергеевич всегда тяготел к американской культуре, и мельница была построена.

Когда над воротами Вороньи запыхтел сорокасильный Дизель — Сергей Сергеевич устроил торжественный обед. На этом обеде самой замечательной была речь полицмейстера.

— В наш век машин и паров,— полицмейстер говорил так же зычно, как на пожаре,— я приветствую в лице этого грандиозного произведения первую победу над косностью слепой природы и темной невежественностью

арода, утопающего в лености и водке до потери сознанья и сыновьих увств, ведших государство наше к расширительным завоеваниям. Урра-а!

Обед продолжался четыре дня. На четвертый день, когда пили уже е в доме, не за столом, а в саду, под яблонями, кто-то сказал:

— Хорошо бы теперь выпить под жареного чирка!!

Андрей Королев призвал кучера, влил в него стакан Вильборнского оньяку и сказал:

— Садись верхом и разыщи Кучума! Скажи: Андрей Королев приазал сейчас же доставить чирят, а не доставит — голову отверну, а тебя азочту! Понял?

Налил кучеру второй стакан и добавил:

— Пусть сдохнет, а чирята чтобы были! Пшел!!!

Кучер поклонился и рысью побежал к конюшням, а через час Кучум оявился под яблонями с чирятами. Его появление встретили разноголовым ревом и даже рукоплесканиями:

— Ку-чу-мка-а!

— Ге-ге-ге!

— Го-го-го-о! Мо-ло-дец!

— Ка-чать его, сукина сына!

— Ай-да Кучум! Ай-да мерзавец!

— Иди сюда, неумытая харя!

Кучум круглый год таскал по кухням господ и других приметных городе людей — уток, чирят, тетерок, вальдшнепов, зайцев... Угодлиый, льстиво-смиренный, исправника величáл превосходительством, а раз аже загнул преосвященством, купцов — благодетелями и первеющими юдьми в губернии; всему и всем поддакивал и по-настоящему разговаивал только со своим пегим кобелем «Личардой».

— С праздничком вас и прочее! Нáше вам почтеньице!

Стянул с головы рваный картузишко и низко поклонился господам.

— Принес?

— Обязательно, государь! Чирок особенный!

— Ну, иди сюда, пей!

— Налить ему меланже с искоркой!

— Ура-а! Прра-вильно! Меланже!

Меланже с искоркой — слитые остатки из всех стаканов и для креости — щепоть перцу.

— Много лет здравствовать!

Кучум тряхнул вихрями и единым духом усвоил меланже с искоркой.

— Покорнейше благодарим!

— Налить ему еще! Подожди закусывать, чорт сиволапый! Подбаить чистого!

И с чистым выпил Кучум, а через полчаса раскарячился.

— А кто я есть такой? Вы, значит, господа, а я кто есть? Арря!

Слово «арря» имело в устах Кучума какой-то таинственный, ведомый му одному, смысл. И всегда за ним следовало выразительное ругательство.

— Арря-я! — по козлиному проблеял еще раз Кучум; выругался скверно и повернув к господам зад, шлепнул по нем ладонью.

— Вот вам чего!

Андрей Королев сзади подошел к Кучуму и треснул его по уху, Кучум пластом растянулся по траве. Девятипудовый Андрей Королев сел на него верхом, двинул его по другому уху и начал командовать:

— Веревок! Вяжи ноги! Вяжи руки!

— О-о, ой-о-ой! Ре-жу-ут! Ка-ра-у-ул! — вопил Кучум, не пытаясь освободиться.

Пегий кобель прыгал вокруг с трусливым лаем, бессильный помочь хозяину. Полицмейстер запустил в кобеля пустую бутылку из-под шампанского. Откуда-то притащили двенадцатиаршинную толстую слегу и крепко прикрутили к концу ее Кучума.

— Поднимай теперь, ну! — командовал Андрей Королев. — Привязывай к яблоне!.. Крепче!

Кучум, очутившись на двенадцати-аршинной высоте, сразу протрезвел и стих. Сперва молча посматривал вниз. Потом смиренно начал просить:

— Смилостивьтесь, отпустите полегоньку!

— Пой скворцом! — снизу кричал ему Андрей Королев.

— Спустите, явите такую милость! Кончаюсь!

— Пой, сукин сын, скворцом!

— О-ой, пустите, конча-аюсь!

И Кучум заголосил, что было мочи:

— Ка-ра-у-ул! Конча-а-аюсь, ой-ой-о-о!!

«Личард», задрав морду, сидел в сторонке и подвывал, вскинув смешно одно ухо. Кучум кричал до хрипоты. С тех пор осип на всю жизнь. Этим завершилось торжественное открытие паровой мельницы в имении потомственного дворянина Сергея Сергеевича Королева.

Мельница через год стала. Американизация оказалась дорогой вещью. Муку приходилось продавать в убыток, чтобы конкурировать с двумя паровыми мельницами в городе. Пошла мельница в год войны, когда Сергей Сергеевич получил казенный подряд. В эти годы барыши воскресили умирающую мечту о постройке воздушного моста, но Революция вымела Сергея Сергеевича из насиженного гнезда.

В ночь перед тем, как уйти совсем из усадьбы, Сергей Сергеевич долго возился в машинном отделении, загоняя гвозди в цилиндры, отвинчивая гайки, ручки и все, что можно было пхнуть в карманы, а потом с обрыва — в реку...

— На-те, выкусите!..

IV.

— Э-о-о-о! Ле-енька-а-а...

Из машинного отделения кубарем выкатился Ленька, осмотрелся и, увидя на обрыве Егора Петровича, понесся к нему, звонко шлепая по лужам. Добежал и, изумленный, остановился. Река была в движеньи.

и глухо ворчала. Огромными полосами лед передвигался к низу. Льдины сталкивались, расходились, цеплялись краями за берег и, медленно кружась, останавливались, образуя затор. Подходили сверху новые льдины. Глухо ломались от удара при столкновении; погружали один конец в воду, и становились торчком, обнажая нижнюю часть, блестящую и прозрачную, как стекло, и вся масса льда останавливалась. Было слышно журчанье воды. Мелкие, суетливые льдинки звенели. В их звонком шелесте каждый отдельный звук был слышен отчетливо и казался близким. А снизу, от моста, доносился глухой гул и треск. Там льды, бессильные сокрушить предмостные быки, взмывались по ним до самых верхушек и, надрезанные железом, ломались, рушились, грохотали вниз и исчезали, уносимые мутными потоками воды.

— Пошла-а ма-атушка-а!

Ленька рассеянно глядел на реку, неуспевающими захватить всего глазами. С раскрытым ртом, еще полусонный, он словно оцепенел.

— Что, брат, проспал? — шлепнул его по плечу Егор Петрович.

— Когда же это она?

Егор Петрович набрал полную грудь ветра.

— Эх, картина! — сказал он и загоготал: — ого-го-го-го-о!

Но его голос утонул в ветре и шумливой возне льдов. Ленька почесал живот.

— Егор Петрович, а почему лед не тонет?

— Легче воды он, вот и не тонет.

— А если тяжелее, тогда чего?

— Тогда?

Егор Петрович подумал.

— Тогда весны не было бы!

— Почему? — испуганно посмотрел Ленька сперва на Егора Петровича, потом на реку.

— Дотошный ты, Ленька! — усмехнулся Егор Петрович, — сам сообрази! Чего тогда получится? Лед утонет, на дно опустится, а воду наверх выжмет, а эта вода опять замерзнет и тоже вниз. Ну? Так до самого дна вся речка промерзла бы и никакой жаре не растопить. Понял?

— Ле-ня! — раздалось сзади.

Из-за угла барского дома вышла Лиза и, увидя Егора Петровича, остановилась.

— Леня, пить чай иди!

— С добрым утром, Елизавета Ивановна! — крикнул Егор Петрович.

Как добрая лошадь, принятая на возжи, он весь сразу запружинился и зазвенел каждым мускулом.

— С ледоходом, с весной вас! Идите полюбоваться с нами на реку!

— Нет, нет, Егор Петрович, сейчас мне нельзя! — чуть испуганно проговорила Лиза, — папаша чай будет пить...

Голос у нее был низкий, глубокий и говорила она, растягивая слова, не торопясь. И в походке у нее была такая же напевная, монастырская тя-

гучесть, хотя и была она худенькая и легонькая до того, что в ветер Егору Петровичу за нее страшно было. А ну-ка взвихрит, поднимет и унесет, как перышко?..

— Все-то дела у вас, Лизавета Ивановна!.. Свободной минутки, погляжу, нету!

Егор Петрович крепко зажал в широкой и сильной ладони маленькую худую руку Лизы и отпускать не торопился. Говорил, заглядывая под длинные ресницы, трепетно набегавшие на синие глаза.

— Весна теперь и побездельничать можно часок-другой. Посмотрите, какая благодать-то вокруг! Солнышка-то сколько! Небо-то!.. А травка-то. Эх, Лизавета Ивановна!..

— Пустите! — проговорила Лиза, тихо высвобождая руку, — папаша ждет! Леня, идем!

— А сама гадает на вас, Егор Петрович! — выпалил неожиданно Ленька, — верно-слово, на бубнового короля!

Лиза вспыхнула и, круто повернувшись, пошла прочь.

— Лизавета Ивановна! Лизавета Ивановна! Подождите! Слово одно сказать!

Лиза не оглянулась.

V.

Закатав рукава рубахи выше локтя, Егор Петрович чистил ружье. На полу, напротив него, сидел на корточках Ленька, разинув рот и внимательно следил за каждым его движением. У дверей, высокий и прямой, как сосна, несмотря на свои семьдесят лет, стоял дядя Игнат.

Промыв стволы, Егор Петрович смазал их, протер насухо тряпкой и протянул Леньке.

— Ну, теперь, смотри!

— Эх, и блести-и-ит! — восхищенно проговорил Ленька, щуря глаз и смотря на свет лампы то в один, то в другой ствол.

За ружьем ухаживать надо! В порядке чтоб всегда, понял? Пришел с охоты — сейчас же чисть! Вычистил, повесил, а потом садись сам жрать, пить, спать... Во-от как! Теперь замки будем чистить...

— Как все приспособлено ловко! — вздохнул дядя Игнат, наблюдая за Егор Петровичем, ловко и быстро вывинчивавшим замки, — до всего человек домекался!.. А у меня, вон, одноствольная была, утятница... С пистоном которая. Муче-енья бывало с ей примешь! А чтоб чистить — никогда не чистил. Двадцать лет ходил с ей и ни одного разу не прочищал!.. А вдарит, бывало, ну, прямо тебе сказать, все одно — из орудиев!..

— Теперь таких нету, дядя Игнат!

— Нету, нету... вздохнул Игнат, — это действительно! Похитрел человек. А что Егор Петрович, правду сказывают, ружье теперь обдумамано — стрельнет, а ничего не слыхать?

— Бесшумное, значит!.. Не зна-аю... Врут!.. Потому, что хочешь тогда делай, кого хочешь убить можно безнаказанно... Не допустят!

— Я полагаю тоже не должно этого быть. Духу в таком ружье не откуда быть!.. Вон, у Сергея Сергеича ружьев-то много было? Хоро-о-шие, аглицкие были! Ну, а без толку, потому не охотник он...

— Много у них кой-чего без толку было. Собаки на сене! — с внезапной злобой сказал Егор Петрович, — дармоедье!

— Теперь хорошо, вольготно стало!.. Хошь — на коблы ступай, аль вот в озерки насупротив,— продолжал Игнат, — присад тут хороший. А при ем, бывало, — упаси бог! Только услышит — стрельнет кто, сейчас Федора кличет, Федор у его вроде за приказчика состоял... Беги, говорит, отнимай ружье! Кто без моего дозволения стрелять может? А сам, аж весь затрясется... Вот ка-ак, миленок!

— Во-олчья порода!

— Го-ордый человек был!

— Все они одним маслом мазаны!

— А до женского сословия охочь был — бе-да! Девок поспортил — те-емно! Завистной!

Дядя Игнат покрутил головой и задумался.

— По вывеске-то не скажешь, — проговорил Егор Петрович, — елей елеич. Что ж, больше все — деревенских?

— Всяко было! Вон сестра-то! — Игнат кивнул на Леньку,— через это самое дело жизни решиться хотела, а потом в монастырь ушла.

Егор Петрович выпрямился. Потемневшим взглядом впился в дядю Игната.

Потом быстро взглянул на Леньку.

— Леня, добеги-ка к себе... Вот что!.. Добеги-ка, отверточек там, понял, маленький... Поищи у отца, для замка вот... Понял?

— Папашка в город ушел!

— Ты поищи... Найдешь там какой-нибудь... Ступай, ступай!

Ленька вышел. Оставшись вдвоем с Игнатом, Егор Петрович долго молчал. Перекладывал с места на место замки, цевье. Дунул зачем-то в пустой патрон. И, не смотря на Игната, спросил:

— Про Лизавету говоришь?

— Про ее самое...

— Ну?

Что-то пожевал беззубым ртом Игнат; сгреб бороду в кулак и потянул книзу. Продолжал невозмутимо, так же, как говорил о тысяче других вещей.

Долгая, трудная, семидесятилетняя жизнь, освобожденная от любви и гнева, глядела из слов его прозрачным глазом последнего покоя. Людские горе и радость легли в память окаменелыми пластами и Игнат, как киркой камень, отламывал скупые слова.

— О Петров день было!.. Перед тем, как Николая свергнули — за год будет. Отца не было о ту пору. На Петров день мельница не работала. С бабой на покос в Шевлягинскую степь уехал. Леньку с собой взяли тож... Случилось это вечером, в эту вот пору. Я в караул заступил.

Слышу с крыльца сам кричит: «Поди, говорит, Лизавету позови, посуду помыть!». А стряпуха, действительно, на деревню ушла, и был он во всей помещении одинешенек. Знал я повадку его. Думаю — не с добра кличет девку... Пошел, говорю: барин кличет, посуду помыть! А она веселая была. Сейчас, говорит... Годов семнадцать было ей...

Затаился Егор Петрович. Левая рука, лежавшая на столе, захватила и стиснула цевье от ружья. И вздрагивали напружившиеся мускулы. Дядя Игнат неторопливо достал берестовую табакерку.

— Не отведаешь? — предложил Егору Петровичу.

Егор Петрович отрицательно мотнул головой.

— Не утерпел я, сказал ей: не ходи ты к нему! А она смеется... Он, говорит, конфеток даст. Да-а. За своим, значит, горем жизнь послала. Во-от оно, что!.. Долго ли коротко, глядь-поглядь, — в саду я был, у кручи, — бежит она на кручь эту самую. И ка-ак я ее перехватил — ума не приложу! Право-слово! Довел я, это, ее до дому к ей, а она как дурная... Рехнулась совсем и вся тряской трясется. Стал я тут разговор с ей весть. Так всю ночь около ей и просидел. Перво-на-перво и слушать ничего не хотела. Я ее на хитрость тогда... Так и так, говорю, вытащут тебя из речки. Доктор вскрытие произведет и доподлинно все увидит что и как... Поверила. Глупая была!.. А потом в монастырь ушла. Около двух лет отмаливалась. Теперь — не узнать! Восковая стала. И слова не услышишь, а до работы — завистней нету!

Егор Петрович долго сидел, опустив голову. Потом хрипло спросил:

— Дядя Игнат, ты в бога веришь?..

Посмотрел на него тяжелыми глазами и, не дожидаясь ответа, ничего не сказав больше, вышел в сад, как был—в одной рубахе, не застегнув ворота.

Лиза сидела в горнице и читала Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо».

Егор Петрович вошел, не постучавшись, и она вздрогнула, когда сказал он:

— С добрым вечером, Лизавета Ивановна!

А потом смутилась и стала поправлять скатерть. В отсутствие Ивана Федоровича никогда не заходил к ним Егор Петрович. И вдруг зашел. Да и чудной он был.

Взлохмаченный. Глаза блестят. В одной рубахе, без пиджака; ворот нараспашку и рукава закатаны выше локтя на волосатых руках. От этих волос на руках и на груди стыдно стало Лизе, и еще раз взглянуть на Егора Петровича она не решалась. Опустив голову, стояла у стола и ладонью разглаживала скатерть. Егор Петрович сел у стола и перевел дух.

— Лизавета Ивановна! Выходите за меня замуж! — сказал он твердо и громко.

Лиза побледнела. Исподлобья кинула растерянный взгляд на Егора Петровича и вдруг ее губы дернулись, будто перед тем, когда человек вот-вот заплакать готов... Вздрогнувшая рука смяла угол скатерти.

— Я за этим к вам пришел! Сказать это самое... За этим, именно и пришел, Лизавета Ивановна! Услышать от вас хочу. Больше ничего! Выходите замуж за меня, законным мужем буду вам, Лизавета Ивановна! На всю вашу жизнь, безобманно! За этим, именно, пришел, Лизавета Ивановна.

— Не на-до, — тихо, так тихо, как дыханье, выговорила Лиза и обе руки приложила к груди, словно молиться начинала. Глядя на лицо ее бледное, на блистающие глаза и трепетные от слез ресницы, Егор Петрович с никогда не испытанной силой почувствовал, что вот именно ее, только ее и никого больше, любить он не может... И чувство это таким огромным напором ударило по сердцу — застонал Егор Петрович и опустил низко голову.

— Я все знаю...

И уже готов был все рассказать, все, что узнал от Игната, и о всех думах своих сейчас, там, в саду, на той самой круче, с которой хотела броситься она в реку, обесчещенная; о том, что бесчестье это — не бесчестье, а несчастьем сделалось, а через горе человек чище бывает, любит крепче.

Поднял голову. Два испуганно раскрытые глаза глядели в эти самые мысли его. Лиза тихо попятилась от стола. И удержался Егор Петрович. В эту минуту, перед синими, испуганными глазами зарок себе дал на всю жизнь: никогда виду не показать Лизе о том, что рассказал ему сегодня дядя Игнат...

И засмеялся весело, раскатисто, как всегда смеялся.

— Напугал я вас, этакий, трепаный... Эх, Лизавета Ивановна, неволить не могу, а от сказанного не отрекусь! Подумайте, и мне свой ответ когда-никогда скажете. Все думы передумал я... А мельница б пошла, жизнь-то какая бы стала! Чайную с читальней, да с библиотекой здесь устроили б! Вас в нее, на хорошее дело. Читать стали, — работать бы сообща, совместно все. А там еще... да эх. Столько бы, столько, что...

Егор Петрович махнул рукой. Встал.

— Всей ночи, до утра не хватит, если все-то рассказывать начну!.. Пойду я... Покойной ночи вам!.. Из-за этого и пришел, Лизавета Ивановна. Покойной ночи! Леня там меня ждет. Уток завтра привезем вам. Покойной ночи, Лизавета Ивановна!

От двери еще раз вернулся Егор Петрович и еще раз руку неуверенную, зыбкую, маленькую сжал горячей ладонью.

— Скоро яблони цвесть зачнут. Думается, раз только один разглядеть вам всю эту благодать весеннюю и смахнет с вас все одним махом... Вот как! Спите, покойной вам ночи и снов!

Егор Петрович вышел. Было слышно, как прошел под окнами. В горнице снова стало тихо.

VI.

Всю ночь Ленька спал плохо. Всю ночь думал о диких утках, гусях; убивал их десятками; победителем возвращался из неведомых озер, с ног до головы обвешенный черноголовыми селезнями, и под самое утро выдер-

жал смертельный бой со стаей волков, напавших на него в дремучих лесах... И у волков были красивые глаза и разговаривали они между собой по-человечьи...

С первыми лучами солнца Ленька был уже на ногах. Первым делом — побежал в сарай, к кряковым уткам. Посыпал им проса, подлил в черепок воды и от кряковых — махнул вниз, под откос, где, прикованная на цепь, покачивалась на мутных водах просмоленная заново лодка. От лодки — к Егору Петровичу. Старая Тимофеевна на кухне чистила картофель.

— Встал? — шопотом спросил Ленька, поглядывая на прикрытую дверь в комнату Егора Петровича.

— К чему это, эдакую рань вставать? — сердито ответила Тимофеевна.

— Мы ноньче на охоту...

— Какая ноне охота! Аль он бусурман? Благовещенье ноне!..

У Леньки екнуло сердце.

— Ноне птица гнезда не вьет!.. Грех великий, а ты на охоту...

— А Егор Петрович ружье вычистил,— упавшим голосом проговорил Ленька.

— Ну, и вычистил, а ноне Благовещенье!.. Ишь вскочил рань какую! Небось к заутрене-то не добудишься, а тут...

— Мы и чайник приготовили, и уток кормили, — с слабеющей надеждой убеждал самого себя Ленька.

— Грех, грех великий! — сурово повторила Тимофеевна, — в писании сказано: птица гнезда не вьет.

— Да мы на селезней... Про селезней в писании ничего не сказано! — соврал Ленька. И перевел дух.

— Шел бы ты к обедне, вот чего! — с сердцем сказала Тимофеевна,— мешаться пришел?!

Но за дверью послышался громкий, протяжный зевок. Ленька ужом вскользнул в комнату.

— А-а-а, Алексей Иванович! — встретил его Егор Петрович и, зевая и жмурясь, как кот, потянулся до хруста в грудной клетке.

— А кряквы все просо поклевали!.. — начал Ленька, — я им еще сыпнул. И водички долил...

Ленька говорил заискивающим голосом и пытливо всматривался в лицо Егора Петровича.

— Молодец!

— Тепло-о ноньче!.. И ни одной тучки нету!..

— Это хорошо!

— И лодку я смотрел... Не течет! Ни капельки в ней нет! — докладывал Ленька и никак не мог решиться на страшный смертельный вопрос:

— На охоту поедем?

Егор Петрович потянулся еще раз и выпрыгнул из постели.

— Сейчас умоюсь... Ты польешь мне...

Умывался Егор Петрович шумно и долго. Сняв рубаху, заставлял еньку из кружки лить студеную воду на голову, шею, на плечи... Пыхл, фыркал, сморкался и напоминал Леньке лошадь, которую купают реке...

Потом, как был голый, подошел к раскрытому окну и раскинул шиэко руки, в восторге.

— Эх, денек-то выдался! Самый раз — на охоту.

Ленька мгновенно просиял.

— В обед — марш! Чайник надо взять.

— Я приготовил, Егор Петрович!

— Топор...

— И топор есть!

— Пиджак теплый возьми или полушубок. Заночуем, на утреннюю останемся. Холодно будет... Да яичек в крутую, десятка полтора, соли, хлеба...

— А чаю, сахару?

— И чаю, и сахару обязательно... Чайку попить там хо-ро-шо-о.

Когда перед самым обедом к Егору Петровичу пришли из Грачихинского кооператива члены правления — Ленька упал духом. С ненавистью глядел он, как, раскуривая махорку, они сидели с Егором Петровичем на бревнах и не торопились уходить.

И мысленно повторял:

— Дай бог, чтоб ушли, дай бог, чтоб ушли, чтоб ушли, чтоб ушли!..

А Егор Петрович словно забыл об охоте. Неторопливо рассказывал о совсем неинтересных вещах: о вальцах, о ситах, раструбах. Особенно противным был Аким Иваныч, с козлиной бородой и острым кадыком, двигавшимся снизу вверх и вниз, и опять вверх. Он переспрашивал каждое слово, а когда говорил, то расставлял слова так, что в их прогалах можно было поставить роту солдат.

— Леня, поди-ка принеси ключи от машинного! — позвал его Егор Петрович.

— Я не знаю где...

— Спроси у Лизаветы Ивановны!

— А она почем знает! Их папашка с собой, должно, унес.

— Поди-поди. Живо!

Ленька долго не возвращался, хотя ключи сразу дала ему Лиза. Подсматривал в окошко в надежде, что не дождутся и уйдут. В машинном члены правления ходили вокруг двигателя, щупали и вздыхали... Аким Иваныч двигал кадыком и расставлял редкие, неторопливые слова.

Ленька, с порога машинного, сверкая глазами, с ненавистью следил за двигающимся острым кадыком Акима Иваныча.

VII.

Когда отвалили от берега и Егор Петрович сильными ударами выравнял лодку, на косогоре показалась фигура. Она быстро сбегала вниз, размахивая руками.

Егор Петрович пригляделся и в несколько взмахов опять пристал к берегу.

— Ку-чум! — улыбнулся он, узнав.

— Вот грех-то! Чуть не опоздал! — засипел, спустившись к лодке, Кучум, — один момент и уехали бы...

За плечом у него болталась двухстволка и корзинка с кряковой. Просаленный, в заплатах, пиджак был перетянут веревкой, на веревке — жестяная фляжка и узелок с хлебом.

— Мне Игнат сказывает — в обед едут... А у меня, государь, никакого то-есть припасу нету! Туды-сюды, насилу дроби достал, государь!.. А лодки самостоятельной — ни... На коблы, что ль?

— Садись, там видно будет! — сказал Егор Петрович.

Под дружными ударами двух весел и лопат лодка выкинулась на средину и, увлекаемая быстрым течением, ходко пошла по бурливой мутной реке к синеющему вдали дымному лесу.

Над рекой плавно кружились зоркие рыболовы; падали стремительно вниз и на миг замирали на воде, трепеща крылами, над схваченной добычей. Вдоль обрыва со свистом носились золотисто-зеленые, сказочные зимородки и прятались в темных норках обрыва. Когда ехали просекой залитого водой леса, вспугивали десятки водяных крыс. Они пугливо бросались с коблов в воду и, выставив темно-бурые, мягкие спины, уплывали. Было в них что-то мерзкое, отвратительное...

— Это — скверна, — сипел Кучум, — а у моста, государь, настоящая выхуль... В городе по четыре рубля скупают!

— Выхухоль у нас бить запрещено.

— Какой нам запрет, государь!? — отвечал Кучум и зорко шарил глазами по залитым водою кустам.

Коротконогий, низкорослый Кучум был похож на обезьяну. На маленьком лице, заросшем шерстью, как в кулачке, тесно были собраны глазки, вздернутый ноздрястый нос и оттопыренные губы. Длинные руки были угловаты и жилисты. Сходство с обезьяной придавала и манера его ходить, наклоняя туловище вперед и выставляя зад. Со стороны смотреть, — человекоподобное что-то, ставшее на задние лапы и не знающее куда девать передние.

Ловко работая топором, Кучум заострял жерди для шалашей и сипел:

— Селезень должен тут быть. Градские сюды не доходют... На этом самом месте, государь, я шесть штук сшиб! Воды тогда много было. Разлилась морем к самому городу. Исправник наказывал селезней обязательно доставить. Как сейчас помню, государь, шесть материковых! Жи-ирные,

ну, скажи, ба-раны! Только это я причал сделал, вылез, а он, Сергей Сергеич, собственной персоной тут и есть! И городовой с ним... Туда-сюда... В моих, говорит, дачах без дозволенья моего убил! Отобрал, государь, ружье, да-а!.. А идешь, бывало — шея с оглядков болит. Капитализму отдано все было.

— Кучум, а как это ты скворцом пел? — с улыбкой спросил Егор Петрович, завязывая верхушки жердей, натыканных полукругом в землю. В крохотных глазах Кучума вспыхнули злобные точки.

— Ишь, припомнил чего! — сказал он и замолчал надолго.

Достраивали третий шалаш.

— Веришь, Петрович, думал кончусь... — засипел неожиданно Кучум, — все одно как на голгофие разбойник. Принимай дух мой да и шабаш! Ты думал легко это, государь? А этот Ирод, очкастый, нет-нет да снизу-то: «Куч-ум, а Кучу-ум!» Мягко эдак, будто поп... «А по соловьиному можешь?» Ему хорошо... Не стерпел я под конец, к-ээк в очки-то ему харкну! Провалиться, не вру!

— А он что?

— «Ах, говорит, скверный ты хам! Из ружья, говорит, тебя сейчас из поганого...»—Обдумал тоже. С той самой поры голос утерял, государь! От натуги это...

Кучум помолчал, сплюнул и в ухо Егору Петровичу просипел:

— Осенью я ему, очкастому, ригу спалил!

— Ну?

— Именно! Дом хотел запалить, да...

Стайка материков со свистом пронеслась над разговаривавшими. Ленька схватился за ружье, растерянно смотря то на Егора Петровича, то на Кучума.

— Скоро и заря зачнет, — сказал Кучум, — ты, Петрович, в этот шалаш залазь, тут самое место! Ленька — туды, на край, а я по середке. Сидеть до темного!

В вечернюю зарю посчастливилось только одному Кучуму сшибить пару селезней. Сидя у костра, Ленька с завистью рассматривал их и думал о том, что Кучум нарочно посадил его в крайний шалаш, чтобы он ничего не убил.

— Хитрый тоже! Себе серединку выбрал!.. Утром на его место сяду...

С этими невеселыми мыслями Ленька, пригретый костром, задремал, укутавшись в пиджак. Часто просыпался. От костра горячо было, а в спину дуло и липкая сырость лезла под пиджак. Просыпаясь, Ленька видел сидевшую на корточках мартышку с шершавой мордой, сосавшую трубочку. Протирал глаза и узнавал Кучума.

— Спи, спи, рано еще! — говорил Кучум и подкидывал в огонь охапку сучьев.

Сучья шипели. Густой дым душил огонь и тогда низко опускалась ночь и снова отшатывалась, когда огонь, разорвав толщу у дыма, весело вскидывался кверху. Огромный дуб, под которым устроили ночевку, тихо раскачивал могучие ветви и был живой. Ленька поворачивался спиной к огню и засыпал. Ему снились пугающие сны. Проснулся окончательно он от тихого говора. Кучум и Егор Петрович сидели у догоравшего костра. На рогульке покачивался закипавший чайник и плевался из носка на уголья.

— Вставай закусывать! Скоро заря!

Егор Петрович снял с сучка брезентовый мешочек с провизией.

И хлеб, и яйца, и пахнувший болотом чай — все было необычайно вкусно. Ленька ел не торопясь, так же как ели Кучум и Егор Петрович. И от этого все казалось еще вкуснее. С едой прошел озноб; прошли грустные мысли о неудачной вечерней заре. Ленька с надеждами, почти с уверенностью, залез опять в крайний шалаш. Зажал в руках дробовую берданку и весь превратился в зрение и слух.

Прямо перед шалашом, привязанная за лапку, купалась и прихорашивалась кряковая. Опускала голову в воду и грациозным изгибом шеи откидывала ее на спину. Накупавшись, начала таскать из ила червей.

С писком бултыхались по воде крысы; подплывали к настораживавшейся утке и, нырнув, исчезали. Справа и слева, по кустам скрипели улитки. И, казалось, чмокают чьи-то клейкие губы. Впереди, в камышах осторожно крякали утки.

С упругим свистом над шалашом пронеслась стайка чирят. Ленька крепче стиснул берданку, до боли напрягая зрение.

Хотелось, чтоб заре не было конца, а ночь неумолимо расползалась. Все светлей и светлей становилось вокруг. Селезни не прилетали. Кряковая, забыв о Леньке, мирно пожирала червей и лягушек.

— Хоть бы одного... разъединственного, одного!.. — шептал Ленька и весь вздрогнул, когда звучные раз за разом наполнили зорю два выстрела.

— Кра-кра-кррак! — закричала утка и вытянула шею.

Ленька застыл. Стая материков пронеслась влево, где надрывно, не умолкая, кричала утка Егора Петровича. И снова сочно, оглушительно полыхнуло над островом. Теперь выстрел был ближе, влево, где сидел Кучум.

Ленька готов был плакать от досады. И, будто в насмешку, кряковая запуталась в веревочке и беспомощно забилась вокруг колышка...

Ленька выполз из шалаша. Долго возился с уткой, распутывая, и, пока распутывал, еще два прогремели выстрела. В тот момент, когда Ленька приготовлялся снова залезть в шалаш, неожиданно над головой его протянулось низкое и важное:

— Ка-гга-ак!

Большой табун гусей плыл над шалашом низко-низко. Ленька различал вытянутые красные лапки, прижатые к белому брюшку. Как во сне

припоминал потом все это Ленька. Из его сознания навсегда ушло и то — как он поднял берданку, и как целился и как стрелял.

Запомнилось: кувыркающийся сверху темный, огромный ворох. Гусь глухо шлепнулся в нескольких шагах от Леньки; трепыхнулся раз и два и будто веером прикрыл вытянутую лапу огромным судорожным крылом...

— Молодец! — искренне радовался Егор Петрович, когда снова сошлись все у костра, — такую, брат, шту-уку сшиб!.. Молодец, Ленька!

— Я вылез это из шалаша, — сбиваясь, взволнованно рассказывал Ленька, — вылез это... гляжу... — летя-ят...

— Такого случая три года ждешь, — сипел, как квас из-под пробки, Кучум и завистливо осматривал гуся, — а тут поди ж ты!? Ружье, можно сказать, впервой держит!.. Сердце чистое у мальца! От этого...

Возвращались весело. На дне лодки — семь штук селезней и гусь. На носу — героем — Ленька.

— Только это я вылез из шалаша, смотрю...

— Кучум, глянь-ко-сь, крыло-то! Егор Петрович, смотрите, — Ленька растягивал могучее мертвое крыло и восхищенно говорил: — Аршин сколько будет?

— На версту еще скажешь!? — сплевывал Кучум, кровно обиженный в своем охотничьем самолюбии, — сиди смирно! Лодку опрокинешь!

Ехали лесом. Просеками. Скрытые водой пни чертили по дну лодки, и лодка становилась. Егор Петрович натягивал высоко охотничьи сапоги, слезал в воду и тащил лодку за цепь. В прогалах осинника, впереди светилась чистая, просторная река. Ленька нетерпеливо посматривал на реку, сгорая желанием поскорее попасть домой.

Наконец вывалили на простор. Огромное, блистательное утро морем яркого солнца встретило выбравшуюся из осинника лодку с охотниками. Величавую чистую радость лила синева безбрежного неба. Радостно румянились под солнечными лучами молодые вербы и воздух окрест казался розоватым. С голой березы на другом берегу плавно снялся коршун. Поплыл в синем небе неторопливый, могучекрыло. Теневая сторона леса снизу была окутана легкой дымкой тумана, но в обнаженных верхушках уже трепетали золотистые солнечные нити.

Сверкала река. Егор Петрович бросил весла и в восхищении замер. Потом вытянул руку к солнцу. И Ленька и Кучум повернулись за рукой. В молчании все трое смотрели на багряный диск, величаво поднимавшийся из-за леса.

— Во-от о-он, хозяин-то кра-асный, — воскликнул Егор Петрович, и, словно пьяный, заговорил путано: — Жизнь-то! Вот он! Тут, около. Безобидно, а они... Могила, а тут, вот она-а. Ско-олько, эх!..

Ни Ленька, ни Кучум не понимали встрепанную речь Егора Петровича. Но чуяли: из ослепительного потока, льющегося на них со всех сторон, черпает Егор Петрович полными пригоршнями это сверкающее раннее утро.

И были понятны разорванные слова и выражали то, что нужно. Егор Петрович еще раз окинул взглядом все вокруг и ударил веслами.

— О-го-го-го-о!!! Рабо-отай! Вот чего, чтоб революция-то!.. Вот ка-ак чтобы! Эх, ты, во-ольная-я!!!

Кучум вложил два пальца в рот и пронзительный свист, обгоняя лодку, понесся по сверкающим водам.

На обрыве, у мельницы, неподвижная стояла фигура в черном. Кучум с кормы разглядел первый.

— Никак очкастый?

Егор Петрович посмотрел назад, через плечо.

— Он и есть! — уверенно сказал Кучум и перестал грести.

Тихо ухмыльнулся и взял ружье.

— Чего ты? — посмотрел на него Егор Петрович.

— А то чего же! — просипел вместо ответа Кучум и, повернувшись боком, медленно стал поднимать ружье.

— Не балуй! — строго остановил Егор Петрович, — слышь — говорю, брось!

И поднял весло, мешая прицелу.

— Ничего от этого не подеется! — недовольно опустил ружье Кучум, — дробь ать утиная!.. Попужать чорта очкастого. Вреды никакой от этого!.. Вроде как пострекочет...

— Брось! — еще раз повторил Егор Петрович и сильными ударами подвалил к опрокинутому у обрыва вязу.

Сергей Сергеевич Королев нередко наведывался в бывшую свою усадьбу. К его посещениям привыкли и никто даже не замечал, когда приходил он. Никому никакого дело до него не было.

В больших, желтых очках, в стареньком черном сюртуке, оттопыренном на боках от толстых пачек бумаг во внутренних карманах, был он весь слинялый и жалкий.

Придет и бродит по усадьбе... Подойдет к конюшне — вздохнет — припомнит чистопородную тройку; от конюшни к амбарам — вздохнет; у скотного двора постоит-постоит — вздохнет; вокруг дома — повздыхает и так по всей усадьбе разроняет бесплодные вздохи, как гнилые семена; пробудет день-другой и уйдет в город.

— Тоскует — ходит, — говорил дядя Игнат, — а для чего? — неизвестно. Себе вред делает!

Лиза, в каждый приход его, забивалась в комнату и не выходила. Семь лет прошло с того вечера, но помнила Лиза все, как сегодняшний день, как удар часов, еще не отзвучавший... Вино было сладкое и горя-

ее... На долгий и страшный миг отнялись руки и ноги! и все вокруг поплыло... И тогда низко-низко заглянули в лицо ей огромные желтые [о]чки, а холодные мокрые губы из-под жестких усов присосались к телу, [к]ак слизняк, и выпили зараз всю силу и крик...

Забивалась в комнату Лиза и ждала... Ждала... вот-вот — войдет [о]н и скажет... Что скажет? Страшное скажет... Стыдное скажет. Такое, [о]т чего потом глаза открыть невозможно.... И Лизе хотелось крикнуть [Е]гору Петровичу...

Стоя на обрыве, Сергей Сергеевич глядел вниз на причалившую лодку. И под седыми усами нехорошо возилось:

— Тоже господами стали... Гра-би-те-ли!

С веслами на плече из-под кручи вылез Егор Петрович.

— Сергей Сергеич, здравствуйте!

И протянул руку. Протянул руку и Сергей Сергеич. Кучум вылез вторым и плюнул. А Леньке все равно в этот день было кому не рассказать да рассказать. Он волочил за ноги раскрылившегося огромного гуся.

— А я гуся убил, Сергей Сергеич!

Сергей Сергеич потрогал концом палки убитую птицу.

— Гмм...

Шевельнул седыми усами и поправил на голове светлый, клетчатый картуз.

— Проведать пришли? — осведомился Егор Петрович, и передал Кучуму дичь, весла и ружье. — Скажи Тимофеевне на счет самоварчика, чтоб...

Сергей Сергеевич и Егор Петрович остались вдвоем.

— Мельницу пускать хотите? — спросил Сергей Сергеич.

— Непременно, непременно пустим! — уверенно ответил Егор Петрович, — отдохнула, теперь ей и потрудиться пора!

— От кооперации работать будете?

— От нее. От правления...

— А двигатель как?

Спросил и под усами проползло усмешливо.

— Приводим в порядок. Пойдет!

— Гмм...

Так, разговаривая, шли по усадьбе, к мельнице. Рядышком. Заложив руки за спину, Сергей Сергеевич бросал по сторонам, из-под очков, взгляды. Узнавал старое, хозяйское. И покашливал. У каменных конюшен Егор Петроивч остановился.

— Видите, — отремонтировали! Денников прибавили.

— А это зачем?

— Сюда мы поставим заводских производителей. От кооперации. Для крестьянина лошадь настоящию дадим... Для мужика лошадь — саму знаете — первое дело. На скотном быков заведем английских, пле-

менных. По сходной цене мужику давать будем. Читальня с библиотекой будет здесь... Мужик зерно привезет, в очередь понятно, вот и будет здесь пережидать... И чайную здесь же откроем... Лекцию читать будем... У вас этого не было, Сергей Сергеич?

В словах Егора Петровича мертвая усадьба оживала и начинала биться огромным сердцем, связанным тысячами нитей с раскинувшимися окрест деревнями и селами. Егор Петрович увлекался, забывал, что перед ним дворянин-помещик, бывший владелец усадьбы, ненавидящий зеленой ненавистью все, что от революции. Забывал и многое другое, незабываемое, и говорил страстно, убежденно, с неколебимой верой в будущее.

Из-под круглых желтых очков Сергей Сергеевич посматривал на простецкое, самое мужицкое лицо Егора Петровича и просачивалось в душу ему, вопреки самым закоренелым верованиям, обидное: А что если правда? Если все будет так, как говорит этот нахватавшийся в городе мужик, холуй?

И сказал поспешно:

— Ничего не выйдет из этого.

Егор Петрович чуть улыбнулся.

— Почему?

— Хозяев много. А настоящего нет!

— Это вас-то?

— Ннет... Мы свое отжили!.. Заботится человек и старается только о своей собственности, а когда много хозяев...

Егор Петрович прищурился. В думы свои всмотрелся и тряхнул головой.

— Мы, Сергей Сергеич, тоже собственники... Только есть между нами разница маленькая!... У вас, например — усадьба, а у нас — куда глаз хватит. А глаз у мужика на всю вселенную землю! Вот оно что! Чтоб на всем земном шаре одно хозяйство зашевелилось... Вот ка-ак!!.

— Твой отец у моего деда в конюхах был — произнес Сергей Сергеевич.

Егор Петрович сбоку посмотрел на Королева. Снял картуз и, зайдя наперед, поклонился.

— Спасибо вам, Сергей Сергеич, и деду вашему!

— На конюшню посмотрел и вспомнил, — добавил Сергей Сергеевич.

— Так-так, — сказал Егор Петрович. Помолчал и тихо спросил: — Все припомнили-то?

Шли по саду. Мимо барского дома липовая аллея вела на обрыв. У обрыва, на кручи, над рекой — остановились. Сергей Сергеевич вздохнул. Здесь мечтал он о постройке воздушного моста.

— Собор также видно... — проговорил он, смотря на видневшийся за чернолесьем город.

— Все по-старому, только вот... Припомнили-то все? — с настойчивостью, но тихо, повторил Егор Петрович.

Сергей Сергеевич раздумчиво посмотрел на него.

— О чем?

Егор Петрович подошел к Сергею Сергеевичу в упор. Увидел под желтыми очками забегавшие глаза. И глотнул поступившую к горлу злобу.

— Ничего не забыли?

Ладонью провел себе по оттопыренному боку Сергей Сергеевич, а другой рукой поправил очки.

— Наука есть такая... Теософией называется... У профессора Дюрвиля...

— Я не об этом! — перебил Егор Петрович, не отрывая темных глаз от больших желтых очков.

Перевел дух и шопотом спросил:

— Ли-зу-то?

Сергей Сергеевич попятился.

— Тут вот, на этой кручи... Ппомнишь, что ль? Г-говорри, гад старый!.. — зарычал Егор Петрович.

Как железные крючья впились его пальцы в сюртук, в тело Сергея Сергеевича, у самых мышек — и встряхнули с бешеной силой. Из оттопырившегося сюртука просыпали пачки, перевязанные ленточками и ниточками: николаевские — сотенные, пятисотки, акции, еще что-то.

— А-ай! — взвизгнул по-бабьему Сергей Сергеевич и одной рукой тщетно пытался удержать очки.

Расставив ноги, Егор Петрович оторвал его от земли и вскинул над головой.

— Спущай, спущай его, Ирода, в кручь! — засипело вдруг около. Кучум, раскорячившись, снизу всмотрелся в Сергея Сергеевича и, натужившись, заблеял: — Ар-р-ря!!!

На одно мгновенье, раскрылив черный сюртук, Сергей Сергеевич замер в страшном взлете над обрывом, над мутными, бурливыми водами.

В этот момент над садом, над рекой и над всей усадьбой прошел гулкий вздох. Егор Петрович замер, бросив на землю Сергея Сергеевича. Второй, короткий, мощный вздох. И еще. Будто вылетали тугие пробки из чудовищных легких. Егор Петрович посмотрел на Кучума, на Сергея Сергеевича, растопырившегося беспомощно на краю обрыва и, ничего не сказав, побежал к мельнице.

Навстречу ему, от мельницы, пулей мчался Ленька.

— Его-ор Петрович! Поше-ел! Поше-ел! Скорей!

На пороге машинного Егор Петрович остановился, как вкопанный. Дизель был живой. Дизель пошел. Огромный маховик мерно крутился. Стучали поршни. Иван Федорович, черный от нефти и копоти, улыбался ослепительными зубами.

Голос Егора Петровича утонул в шуме и стуках работающей машины. Не слышно было и Ивана Федоровича. Но оба они понимали друг друга и крепко трясли друг другу руки.

Выходя из машинного, на пороге встретил Лизу.

Она улыбалась и глаза ее сияли. Золотились на солнце белокурые волосы. В первый раз Егор Петрович увидел на ней светлую кофточку, и Лиза показалась ему прекрасной, как никогда. Он посмотрел на нее, посмотрел на Ивана Федоровича. Набрал воздуху и сказал Ивану Федоровичу:

— На такой радости прошу я тебя — отдай за меня Лизавету Ивановну!

Иван Федорович вытер синим рукавом блузы потное лицо и протянул Егору Петровичу руку.

Земляничка.

(Из повести).

Эл. Триоле.

Москва.

Слова «война» и «революция» вылезли из учебников истории, обновились, отряхнулись и выросли в натуральную величину.

А времена года ни с чем не считаются, и на каждый год приходится по одной весне.

Из города увозят зиму.

Кирки дворников мягко вкалываются в снег мостовой и разламывают его на желто-бурые глыбы. На крышах стоят дворники с лопатами и валят оттуда снег, глухо, как пухлые подушки, падающий на тротуар. Другие, с метлами, гонят вдоль тротуаров бурные ручьи. Осевшие, грязные сугробы, похожие на водянистое, лимонное мороженое, просвечивают на солнце. Тянутся длинные обозы, мокрые лошаденки, по камням и ухабам, тащут горы старого, грязного снега. На мостах народ, перегнувшись через перила, смотрит на угрожающую вспухшую реку, уносящую льдины вон из города. Сияет благодушное, тепленькое солнце на синем небе. Заблестело все, что может блестеть: ледяные, обсосанные сосульки, окна, золото вывесок, разбитая бутылка. Воздух теплый и холодный, непрогретый насквозь, как неразмешанная вода в ванне. Пахнет талым снегом, лошадьми, мокрой шерстью, пахнет весной...

Старое весеннее пальто так давно ненадевано, что кажется новым. Земляничка храбро шагает, в лаковых туфлях с бантиком, по лужам и натягивает белые перчатки без единого пятнышка.

Затарахтела извозчичья пролетка. Колеса... весна! Пролетка кажется большущей, нескладной среди маленьких юрких саней.

Прекрасно!.. и солнце, и запах, и чистые перчатки, и то, что неизвестно!.. Что будет! Чего хочется? И не было ли уж всего этого когда-то? И день, и небо, и другое?

Кузнецкий мост и Петровка такие новенькие, блестящие, как будто с них только что сняли цену. Толпа — в свежих складках на брюках, в костюмах, только что от портнихи...

Земляничка встретила Алека, а ей это было все равно. Того Алека, при виде которого когда-то сердце больно ударялось об стенку и ночи становились ватными.

— Я выхожу замуж, Алек.

— Земляничка, это неправда!

Но Земляничка улыбается, и Алек верит.

— ...и я уезжаю через несколько недель.

— Земляничка, вы не уедете! Этого не может быть! Вы должны быть здесь всегда...

Земляничка не слушает Алека.

— Я еду одна. Все говорят, трудно, невозможно, мама плачет. Но я, конечно, уеду.

Алек смотрит на Земляничку, и ему кажется, что его обкрали, и что уходит его молодость в этот первый весенний ветренный день... И, стараясь успокоить голос, он говорит:

— Какая у вас круглая жизнь, Земляничка. Все во-время, все как у людей, как говорила ваша няня Степанида.

Весеннее солнце, как заячьей лапкой, гладит Земляничкино лицо, все голоса звучат громче, воздух звонкий, как хрусталь, свежий, как зеленый огурчик.

— Алек, отчего вы сердитесь? — рассеянно, не смотря на него, спрашивает Земляничка и, подняв голову, придерживая улетающую юбку, щурясь смотрит на голубое небо, где, как у финиша, бешено перегоняют друг друга клубы белых облаков.

Солнце садится. Как в комнате с потухающим камином, пополз холодный воздух.

Земляничка берет извозчика, блистающего лаком новой пролетки, и, чувствуя себя немного неловко на такой, после саней, высоте и не зная как быть с ногами, не закрытыми полостью, разморенная и слегка сонная от нового воздуха, улыбаясь, перебирает ослепительные события дня.

Париж.

Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если бы не было такой земли—Москва.

Маяковский, Париж.

Земляничка ехала очень долго. Год, больше... По дороге, длинной и долгой, она видела много стран и людей. Оказалось, что предметы и люди не нарисованы, что они обладают тремя измерениями, что можно обойти вокруг них и найти неисчислимое количество всяческих свойств.

Но через поля и моря Земляничка протащила нелинявший образ Москвы. И после кривой, корявой Москвы, где каждый булыжник ей был знаком не хуже рябинок на Дуняшином лице, Париж показался Земляничке таким роскошным и великолепным, словно это не Париж, а его опи-

іе! Между небом и землей висит запах бензина и пудры. Воздушное) высоко и пусто. На земле, затянутой гладким асфальтом, насыпаны енные дома. На отлете, высоко вытянувшись над домами и крышами, ;опырив ноги, стоит из проволоки сплетенная башня, помахивая далеко тучами и щекоча небо трехцветным знаменем.

Между домами, как трещины в пересохшей глине, бегут улицы. Со их, вместе с грохотом, поднимается запах бензина и пудры.

По городу, под пышными мостами, продвигается река. Она была здесь иостов, до бензина и пудры, и останется после них, и под тем же небом, той же земле, совершенно одинаково, убегает вода...

Стоят дома со статуями, с каменными венками и гирляндами. Бегут, янувшись, как струны, деревьями усаженные проспекты. Поперек — разобрать прохожих и не прочесть аршинных букв на вывесках, а вдоль, конечно далеко, виднеется точка схода параллельных прямых...

Бегут проспекты, перекрещиваются, и где несколько их встречается, і площадь. На площадях, среди геометрических цветочных клумб, одикие колонны подпирают небо, на крышах триумфальных арок застыли ювые сорваться колесницы, в мраморных фонтанах широкоротые дель ны выплевывают воду на обнаженных мускулистых женщин и пухлых ей.

А там, где кончаются широкие, прямые, длинные проспекты, зеле:т густой и пышный лес, аккуратный, как парк, беззвучно катятся автобили, скачут всадники по мягким дорогам, желтый песок хрустит под гами гуляющих...

Но во всем этом Париже для Землянички существовала одна только ща, на улице один только дом, в доме одно только окно; на окне жеиные ставни; когда ставни открыты — видны желтые занавесочки.

— Где эта улица, где этот дом?
Где эта барышня, что я влюблен!

За окном — большая комната, на стенах, на столах и стульях, на толке, камине и лампах — всюду гирлянды и розочки; голубой ковер полу.

Здесь Земляничка должна была ждать свое счастье, за которым она иехала в Париж. Счастье же, должно быть, ждало ее еще где-нибудь, от-о что в Париже его не было.

По целым дням Земляничка сидит на широком диване и ждет своего ниха. Не едет, писем не шлет... Где он, что с ним, забыл, погиб?..

Гаснут желтые занавесочки, на страницах ненужной книги мутнеют квы... Упал на пол свет уличного фонаря... Прошло еще какое-то бесконное время...

На улице шум разложился: вот урчанье автобуса, жужжанье трамвая, етливый разговор прохожих... А вот и ночь и тишина...

Земляничкины улицы.

Версты улиц взмахами шагов мну,
Куда я денусь, этот ад тая?..

Но с какого-то дня Земляничка перестала бывать в комнате с р-зочками. Целый день бродила по улицам...

И тогда оказалось, что к пышным проспектам примыкают улицы н уже. Если же итти по ним очень долго, то они приходят в совершенны беспорядок: узкие и широкие, кривые и прямые, сорные, грязные они пер-секают друг друга, как попало. А дома с гладкими стенами, в которых ко как прорезаны окна и двери, приседают все ниже и ниже.

Но небо над всем городом одинаково бесцветно, как вода в стакан везде, по серому, отливающему сталью асфальту, тянутся непрерывны поезда из такси, автобусов, трамваев. Как просыпанная клюква, подпрыг вают и катятся красные такси, крокодилами ползут зеленые автобус и трамваи. На серых домах, опоясанных чугунными балконами, за которы цепляются золотые буквы вывесок, всюду одинаково блестят окна и п стрят, долбя и приставая, одни и те же привычные рекламы.

Земляничка идет по тротуарам, упираясь подбородком в чужой з тылок. На серой, защитного цвета толпе, выделяются красные, как такс накрашенные женские губы. На проспектах и улицах одинаково тесн и весело, весело как в танцульке в воскресный день, как на гуляньи пере каруселями и так тесно, что если сдвинуть противоположные ряды домо на один лишь миллиметр, то такси поедут друг по другу, в три этаж и затрещат человечьи кости!

На перекрестках потоки машин остановлены неуязвимым тело городового. Как евреи по разверзшемуся для них Красному морю, пешеход бесстрашно и доверчиво переходят через мостовую между готовыми р нуться смертельными колесами. Трусливо бежит за ними Земляничк Напирая друг на друга, раздраженно пыхтя и вибрируя, ждут автобус и такси, в щелях между ними, застрявшие, как зубочистки в зубах, мал чишки-велосипедисты насвистывают фокс-тротты.

И только когда нога последнего пешехода вступает на противо ложный тротуар, раздается свисток и слипшийся, огромный ком маш с треском рвется вперед и разваливается. Как брызги летят автомобил перегоняя друг друга, но поднимается рука очередного бога, и они сно останавливаются, как вкопаные.

Земляничка потрясена: сколько людей, сколько машин, руковод мых людьми, столько целей и необходимостей? И все это не перепутываетс и каждый твердо помнит, куда и зачем ему надо итти!

А под землей поезда перевозят выпирающих из улиц людей. П лестницам и лифтам они спускаются в освещенный мрак. Долго ходят п цементным коридорам, где жирные черные стрелы на белых досках д водят их до сводчатой залы. Здесь, тяжелые блестящие рельсы убега

право и налево, исчезая в пролетах. По ним, из пролета, сверкая окнами, летает поезд. Голова его похожа на его собственный хвост. С треском хлопываются двери, и красные и желтые вагончики снова, пресмыкаясь, чезают в пролете. Тесно, по мерке, обхватывают поезд сырые стены туннля. На стенах, освещенные, убегающие окнами вагонов выступают и спут аршинные черные буквы по желтому полю:

«Дюбоннэ, Дюбоннэ, Дюбоннэ»...

Сквозь тиски туннеля, мимо таинственного слова, поезд протаскиет людей до следующей сводчатой залы. И снова треск и поезд бежит, и шинные буквы повторяют: «Дюбоннэ, Дюбоннэ, Дюбоннэ»...

Во тьме и пахнущем сыростью воздухе Земляничка представляет бе, что она в потайных пещерах и что реклама вина «Дюбоннэ» магичеий пароль вроде Сезама!

Земляничкины вещи и люди.

На широких тротуарах, под холщевыми навесами, Земляничка сидела а мокрыми столиками кафэ. Половые в черных куцых куртках рассеянно одают вино «Дюбоннэ», кофе в толстых чашках, золотистые сдобные улки...

«В других городах,— думает Земляничка,— люди либо по делу идут, ибо гуляют, когда погода хорошая, а здесь они так просто по улицам хоят, неизвестно зачем... Смотрят друг на друга и страшно всем интереуются! Все кафэ переполнены, а под их навесами в дождь можно по Парижу е замочившись пройти... И все тоже сидят и смотрят...»

Мимо кафэ идут парижанки, неподражаемо соблазнительно неся у часть тела, которую мода временно обязует выделять. Такие же женщины мотрят с рекламных столбов и из окон магазинов, словно их выпустили ольшой, веселой, удачной серией и одних — пустили по улицам ходить, ругих — на стену наклеили, третьих — в окна поставили.

Культурнейшие, корректные парижане, с кроткими глазами, тонкими как брови усами, в ловких пиджачках и светлых гетрах, ищут глазами возможностей.

Все в перьях, лентах и цветах, эксцентричные, длинноногие американки, затмевают безупречных парижанок. Весь день они покупают, всю ночь танцуют, на рассвете целуются в такси. Это только «маленькое спасибо» (just a little thank!) спутнику за предоставленное удовольствие...

Квадратные плечи американцев уверенно занимают середину тротуаров...

Ненапудренные англичанки, приспособленные ко всякой непогоде, не смешиваются с толпой легкомысленных французов.

Чисто вымытые шведки.

Вполне европейские японцы и китайцы, гордые своим европейским

И много другого неопределимого народа...

Улицы и кафэ полны подводных течений, все люди невидно меж собой соединены. Взгляды сталкиваются, останавливаются, сворачиваю расходятся. Земляничке начинает казаться, что все эти провода про дят через нее. Ей становится нестерпимо жарко и беспокойно. И, спеш выбравшись на улицу, она снова начинает бродить...

Бессмысленно борются со светом зажженные электрические лампоч вывесок театров, дансингов, кинематографов, ресторанов, магазино Театры предлагают: «Сердца в безумии!..», «Сердца в безумии!..», «Шко кокоток!», «Твой рот!», «Волнуй меня!».

Кинематографы непрерывно трещат, как телефоны, которым отвечают.

Рестораны выставили на улицу столы с мокрыми, серыми, как к мушки, устрицами.

Дансинги хвастают неграми.

За зеркальными стеклами магазинов — вещи.

Вдоль тротуаров, за зеркальными стеклами, парикмахерские кукл улыбаются полуоткрытыми губами, склоняя ровный пробор к гладки голым плечам; розовые, безрукие, безногие тела манекенов затянут в атласные корсеты; прозрачные лифчики поддерживают нежные воск вые груди; удивительнейшее изобретение XX века, шелковые чулки, н правдоподобной тонкости, обтягивают деревянные икры; перчатки скр щивают лайковые ладони, протягивая узкие пальцы; сотни желтых томи ков показывают цветные бандероли с надписью: «вышло из печати», кар тины в золоченых рамах пропагандируют новейшее искусство. А в гастро номических магазинах огромные натюр-морты, скомпанованные приказ чиками; в мясных весело висят, точно висеть это весело, разубранные бу мажными цветами мясные туши!..

И Земляничке испуганно кажется, что вот задышат груди, поверну головы парикмахерские блондинки, потеплеют розовые тела манекенов захлопают в ладоши перчатки и устроят дебош деревянные ноги!..

А по другую сторону тротуаров, почти в таком же количестве ка кафэ, стоят серые железные домики. Их круглые невысокие стенки окру жают стеклянный, ночью изнутри освещенный, рекламный столб. Н столбе черный страшный лев сторожит два выхода домика: «Lion Noir» Сапожный крем «Черного Льва»! Из-под стенок торчат, быстро сменяясь разнообразные мужские ноги.

«Противные, — злится Земляничка, — понастроили, точно все люди целый день и все разом только этим и занимаются...»

На фоне неба, на самом верху домов, улыбается, вздернув плечи гигантский голый ребенок. «Savon Cadum!», «Мыло Кадом!». Много уж ле он улыбается, везде и всюду.

«Вероятно, — развлекается мысленно Земляничка, — существует где-нибудь человек, с которого этого «бэбэ Кадом» делали, ходит усатый

ожет быть, лысый, и отовсюду его собственный круглый живот и пухые плечики на них смотрят, и вся Франция их знает не хуже родной атери».

По узким, загроможденным ломовиками и грузовыми автомобилями улицам, с пыльными магазинами и непонятными конторами, Земляничка выходит на площадь, где на ступенях классического, с колоннами, здания орущая толпа воздевает руки к небу! Но это не пожар, не революция, е народное бедствие — это биржа...

Есть также много тихих, нешироких улиц, со скромными домами. Io обе стороны подъездов, на черных блестящих досках, написано зоютыми буквами: «Комнаты со всеми удобствами, электричество, центральое отопление, горячая вода. Поденно и понедельно». Над подъездом, на вывеске, повешенной перпендикулярно к дому, — надпись: — «О т е л ь». Эсвещенные буквы вывески, как шлагбаум, останавливают прохожих. Гянутся улицы, и на всех домах: комнаты, горячая вода, все удобства, юденно и понедельно, поденно... поденно... горячая вода...

И когда угнетенная Земляничка устало выбирается на оживленную улицу, где движется густая толпа из прыщавых юношей, спешащих к секретной цели, огромных накрашенных женщин, с крошечными собачками на руках, плотных мужчин, пользующихся теснотой, то ее начинает мутить и бьется сердце, как в четырнадцать лет перед запрещенной книгой с картинками...

Из Парижского дневника Землянички.

Май.

Когда страдание за страждущих происходит от сознания своей собственной беззащитности, от страха за себя, от трусости, оно никогда не превратится в активную любовь к человечеству. Я много видела, случайно много пережила из «опасности жизни», отчего же я не могу привыкнуть, отчего я так судорожно ко всему отношусь и так долго, как яйца, вынашиваю впечатления?

Июнь.

Сегодня я ходила смотреть обезьян в «Jardin d'Acclimatation». Лучше выдумать не могла.

Я как разрозненная вещь, с которой в магазинах бывает нечего делать. Один канделябр.

Неужели над ним, над любимым — крест?..

Июнь.

Не ожидая ничего хорошего, радость, величиной с божью коровку, вырастает в счастье. Оттого новые туфли могут меня утешить в большом горе.

Июль.

Мне не о чем мечтать. До сих пор всегда было о чем. Значит ли это, что теперь передо мною смерть?

Девочка и сладкая булка.

Земляничка несла мешочек со сладкой булкой. Одну она съела на укромной скамейке сквера — другая осталась. Мама когда-то учила Земляничку, что хлеб бросать нельзя, и, стряхнув крошки с колен, Земляничка встала и пошла, унося с собой булку.

— Отдам кому-нибудь...

Земляничка свернула в какую-то улицу и пошла по направлению к дому. Улица была неширокая, с невзрачными доходными домами; наверху квартиры, внизу лавки. В дверях подъездов — консьержки читают газеты, вяжут шерстяные шарфы. Бродят кошки. Висит жестяная вывеска с грустным коричневым сапогом. В окне навалена обувь, подметками вверх. Катушки, пуговицы, прошивки галантерейной лавки посерели от пыли. В булочной виднеются хлеба, такие длинные, будто они продаются на метр. На оконном стекле налеплены записки: «Продается железная кровать», «Даю уроки музыки»...

Тут, на другом тротуаре, Земляничка заметила девочку, лет одиннадцати. Она перешла через улицу и быстро пошла за ней. На узкой спинке девочки висела косичка-хвостик, из-под короткого платья торчали проволочные ноги, болтаясь в широких башмаках. Когда девочка обернулась на быстрые шаги, Земляничка увидела востроносое, тонкогубое лицо. Земляничка улыбнулась ей; девочка остановилась, сумрачно глядя на Земляничку.

— Это сладкая булка, — сказала Земляничка, показывая мешочек, хотите?

Девочка отодвинулась и, не отвечая, быстро заложила руки за спину. Земляничка протянула ей мешочек и попросила:

— Пожалуйста, возьмите...

Девочка отскочила в сторону, метнула на Земляничку злобный взгляд, крикнула: «Не надо мне вашей булки!» и, повернувшись, быстро пошла на проволочных ножках.

Земляничка тоже пошла дальше.

Девочка шла впереди, часто и подозрительно оглядывалась.

Повернула за угол. Земляничке тоже надо было повернуть за угол. Тогда девочка бросилась бежать. И Земляничке пришлось свернуть со своего пути...

А солнце между тем опустилось и уже задевало крыши. Круглое, ржавое, без лучей... Бесцветное небо нежно залилось розовой краской. Предметы потеряли вес. Целые каменные здания можно приподнять на мизинце, как пыль смахнуть колонны и статуи, беспрепятственно пройти

возь деревья. Автомобили шныряют летучими голландцами. Ватные, скостные люди не чувствуют удара, задевая друг друга. Город приду-:нно шумит, как будильник под подушкой.

Земляничка остановилась на площади. Ей кажется, что она хуже дит и слышит. Как на линию горизонта смотрит она туда, где кончается рая, ставшая из каменной—картонной, площадь. Разве можно туда йти!.. да и незачем... Земляничка повернула и пошла в другую сторону... абрела на зеленую тихую улицу с деревьями и скамейками.

Здесь можно присесть. Через каменные заборы особняков переве-иваются зеленые ветви деревьев. Изредка протрещит автомобиль, обер-:тся прохожий...

Лучше посидеть здесь, так страшно представить себе закрытые ставни освещенного окна.

Под шумок закатилось солнце. На потемневшем фоне выступили ıектрические буквы, засияли витрины, по стенам домов заползали и по-кли световые рекламы, осветились «черные львы»... На каждой машине ıжглись фонари. Одуревшие предметы не знают, в какую сторону бросать :нь. Снова прорвался шум. Окрасились и замелькали обыкновенные люд-:ие лица...

Трещат автобусы под своей нетерпеливой тяжестью, озверевшие ıкси вгрызаются друг в друга, тротуары переливаются через край, 'дят поезда под землей. Озленные люди, судорожно спеша, идут напро-эм. Наполняются рестораны. Уничтожаются бифштексы, куры, зелень фрукты. Потом отдохнувший народ повалит в театры, цирки, кинема-›графы смотреть на мускулы борцов, таинственные убийства, голых енщин, великосветскую жизнь и вывороченные ноги Шарло.

Дома.

...Ты, измятый, изломанный кодак,
Так называемая
душа...
Н. Асеев, Лирическое отступление.

Переждав этот бешеный час, Земляничка побрела домой, но, оче-идно, не прямым путем, оттого что домой она попала очень поздно.

В комнате с розочками тихо. Резко раздается одинокий гудок, про-осится человеческий крик, отчетливо и торопливо стучат удаляющиеся ıаги...

Перед закрытыми глазами, под далеким небом, с крошечными зве-дами и незначительной луной, вылезают пустые улицы, со страшно ветло и никому не нужно горящими фонарями, словно все ушли из дому забыли потушить электричество.

А на других, на плохо освещенных, ходят люди и моргают бледные адписи: «Отель», «Отель», «Отель»... В дверях — белые дощечки, как на рамваях в семь часов вечера «занято».

Земляничка старается сообразить: «Отчего все люди согласны с дикой человеческой силой! Как с ней согласиться? А главное, как согласиться с тем, что все люди согласны? Наверное согласны, а то бы ходили и выли. А они воют только на бирже!»

Земляничке душно и жарко. Она ходит вокруг комнаты, присаживается, опять встает...

За окном медленно шаркающие шаги, потом жалобный, умоляющий женский голос: «Ну, десять минут, только десять, десять минут»...

О чем она просит?

Земляничка жует черствую булку.

— Вот я хотела дать, и что было! Ночью железные ставни и на глухо запертые двери... Где-то в Курляндии, в ресторане «Маяк» на всем серебре было написано: «Украдено в Маяке». А если люди так уж ненавидят и остерегаются друг друга, отчего они не кричат об этом и от этого? Я понимаю ту женщину, которую привел к себе какой-то человек и оставил на часок одну, а она изрезала ножницами все его рубашки, носки на узкие полоски и исчезла!..

И я тоже ненавижу, ненавижу человеческую силу, которая все регулирует и которая сильнее землетрясения и мора. И зачем меня здесь оставили одну, забыли как зонтик... разве я могу одна?

Измученная Земляничка засыпает на кресле.

Неожиданный американец.

Как Земляничка ни храбрилась, ей было трудно совсем одной в Париже. Очень хотелось, чтобы ее кто-нибудь пожалел, или даже просто поговорил ласково... Все вспоминалось ей «M-lle Dax, jeune fille», как она плакала сидя на бульваре, и как ушла с тем, кто с ней участливо заговорил.

А с Земляничкой случилось так: как-то вечером Земляничка, одетая в вечернее платье, сидела в комнате с розочками. Оделась она совершенно зря, для воображения и чтобы убить время. Но время шло со своей обыкновенной настойчивой медлительностью, как оно умеет итти, когда хочется, чтобы оно мчалось. Было около двенадцати часов, спать не хотелось, на душе было гнусно, а в теле дрожала и билась каждая жилка. Земляничка вскочила, торопливо надела шляпу, на плечи накинула мех и бросилась на улицу. Все это совершенно бесцельно и просто оттого, что было очень тяжело.

На этой улице, далекой от ночного центра, было тихо и чинно. Фонари горели очень ярко, один раз в воздухе над головой, другой, перевернувшись, глубоко в асфальте, под ногами. От этого их было вдвое больше, и на улице казалось страшно светло.

Земляничка шла по широкому пустому тротуару, под высоким пустым небом, мимо закрытых железными ставнями окон и запертых дверей. Вдали, у остановки трамвая, стоял человек. Быстрее застучали Земляничкины каблуки.

Земляничка подошла, взглянула и остановилась. Квадратный челоек, одетый во все мешковатое и новое, в желтых башмаках и соломеной шляпе, сейчас же улыбнулся, сказал:

— Добрый вечер, m-lle, — и шагнул к ней.

Земляничка хотела отступить, натолкнулась спиной на фонарный голб, очнулась и не побежала, а, крепко ухватив рукой руку, смотрела а человека. Человек разглядел влажные глаза и вечернее платье, риподнял шляпу и сказал с американским акцентом:

— У меня есть сестры, m-lle,— и, сложив руку калачиком, предожил ее Земляничке.

Земляничка взяла его под руку, и они пошли по улице. На первой камейке они сели, и Земляничка сейчас же, торопясь стала, захлебыаясь, про все рассказывать.

Американец слушал. Потом прервал Земляничку на полслове сказал:

— Пойдем спать.

— Ну, что же, пойдем?

Земляничка стала дрожать.

Американец нетерпеливо придвинулся ближе:

— Пойдем?

Земляничка встала. Ей не было ни противно, ни страшно, но ужасно скучно. Американец не двинулся:

— Хотите выйти за меня замуж?

Земляничка от удивления села.

— И уехать со мной в Америку?

«Он меня за совершенную дуру считает, какие у него американские соображения на мой счет!» — Земляничка глядела на американца и неприлично смеялась. Американец полез в карман, достал замусоленную визитную карточку, нацарапал на ней несколько слов и протянул Земляничке: John Wood, Grand Hôtel.

— Я уезжаю завтра, если вы до завтра не передумаете, приходите в гостиницу, поедем вместе.

Земляничка смеялась, это было хорошо, она страшно давно уже не смеялась. Послышались шаги. Американец беспокойно обернулся.

Земляничка встала и протянула руку.

— Доброй ночи.

Американец удалялся чуть не бегом, без оглядки.

Земляничка смеялась ему вслед.

Подул ветер, по голым рукам побежали мурашки. Земляничка поправила на плечах мех и пошла домой.

Часы Омега.

Этой же ночью лихорадочной Земляничке снились сны.

Она была в своей детской в Москве и держала на коленях бэбэ Кадом. Он был ее настоящим родным ребенком, теплым, гладким, мягким. Она его страшно любила, прижимала к себе и плакала, потом она сидела на подоконнике между игрушками, а голый бэбэ Кадом сидел верхом на «Черном льве» и играл с ним, как с котенком: то вырывал у него коробку с ваксой, то теребил за длинный хвост и страшную гриву... Земляничка в волнении кричала: «Осторожней!»

Потом началась страшная путаница, из которой секундами вылезал Земляничкин мифический жених и щипал ее за сердце. На красном сердце от ногтей оставались полулунками следы. Земляничка кричала от боли. Потом сердец стало много, все больше, налитые кровью, тяжелые, похожие на сырую печенку, они прыгали, больно ударялись друг об друга:

Сердца в безумии! в безумии! безумии! в безумии! сердца в безумии!

Заплясали голые ноги между страусовыми перьями. Глаза, удлиненные до ушей, поднимают тяжелые голубые веки... «Поднимите мне веков веки!» — кричит знакомый голос.

Земляничка просыпается. Болит голова, жар как будто... Она стонет, ворочается, пьет воду и снова засыпает.

Теперь она идет с американцем по площади Согласия. Простор, блестящая гладь, фонтаны, фонари. Налево — Елисейские Поля, в блеске несутся к Триумфальной арке; направо — роскошествуют сады Тюльери; впереди заслоняют небо грозные темные колонны церкви Мадэлен. Под ногами все это, отраженное в асфальте, как в блестящей глади воды. Сама Земляничка тоже отражается; она очень боится провалиться и не хочет итти дальше, а американец тащит за руку. Но тут пронесся вихрь, и все кругом занесло автомобилями. Мчатся, кружатся на месте, замели тротуары, фонтаны, клумбы... А между ними, тряся гигантскими голыми плечами, плачет бэбэ Кадом, протягивая Земляничке руки. Земляничка хочет к нему броситься, но американец обнимает ее, душит ее... Земляничка кричит и просыпается.

Она лежит с открытыми глазами и думает:

«Домой хочу...»

Но опять путаются мысли...

На небе зажигаются буквы: Омега... Медленно, размеренно... «Скорей,—кричит Земляничка,—скорей!»—Вот отчего так медленно шло время! Она садится на тротуар и, задрав голову, смотрит, как зажигаются и гаснут буквы: Омега... Такси объезжают ее вытянутые на мостовую и дрыгающие от нетерпения ноги, она извивается от злости, но буквы все так же медленно и равномерно появляются и исчезают на небе... Земляничка вскакивает и бежит без оглядки. На руках опять милый бэбэ Кадом, она прижимает его к груди. Все двери заперты, все ставни закры-

ы. Куда, куда итти? Качаются белые дощечки: «Занято»... «Занято»...)пускаются тяжелые голубые веки... В ужасе Земляничка чувствует, что ie может удержать бэбэ в ослабевших руках. Звон, треск и тысячи розо- ых осколков... Земляничка хватается за голову и дико кричит.

Утро, сквозь ставни солнце, розочки все на месте... Земляничка идит на постели, спустив голые ноги на голубой ковер, и держится за олову:

«Не буду вставать, что я буду делать, совершенно не к чему...»

Из Парижского дневника.

20-е августа.

О чем я могу писать... Только о том, что я плачу. Озорной Париж шутки шутит, а у меня в душе ни одного живого места... Он не приедет. Милый, такой любимый.

3-е сентября.

По целым дням смотрю на себя в зеркало и плачу; значит нехороша, раз разлюбил... Но я плачу и сейчас, когда пишу, плачу на улице и ночью в постели. Мы сидели у меня в комнате за круглым столом. Дуняша стучала в кухне кастрюлями... а сейчас — запах бензина, треск перемены скоростей, гудки и стук захлопывающейся за мной двери.

5-е ноября.

«Вся его жизнь была только долгим приготовлением к несчастью». Где я это вычитала?

Я так абсолютно несчастлива, что я даже удивлена, как так можно!

Господи, хоть бы подохнуть!

Дождалась.

Пришло письмо...

Земляничка вышла на улицу. На улицах было обычно, и только временами все начинало происходить неимоверно быстро и бесшумно, словно кругом — страшно быстро и без музыки — пустили кинематографическую ленту. Но потом все снова приходило в обычный порядок.

Слезятся опухшие глаза, ватные ноги делают не то, что надо, и хочется лечь плашмя на землю...

«Господи, Господи»,—жалобно думает Земляничка...

Иногда становилось смертельно больно, словно защемило между двумя грузовиками, но кругом от этого ничего не изменялось, что было удивительно... А люди, так те даже нарочно делали вид, что заняты другим. Бешеная злоба вдруг раздувала Земляничку, как пузырь, она совсем больше не могла итти обыкновенно, ноги уносили легкое тело с неимоверной быстротой...

Давно уже вечер... Вдруг мысль: а вдруг дома пришло другое письмо, какое-нибудь чудное письмо!

Земляничка вскакивает в такси. Она так спешит, что успевает присесть только на самый кончик подушек. Дребезжащее такси подбрасывает и кидает во все стороны. Земляничка цепляется за подушки, но сесть поглубже ей некогда... Перед ней, в блеклом зеркале, трясется ее собственное кривое мутное лицо, тусклые пряди волос висят из-под шляпы...

Такси останавливается. В невыносимом нетерпении, переминаясь с ноги на ногу, словно ей страшно надо в уборную, Земляничка ждет, чтобы ей открыли дверь. Кожа на лице стянута, как это бывает на сильном морозе, углы рта опустились, и никак не расправишь. Но Земляничка улыбается.

— Писем нет, мадам?

— Нет.

Земляничка долго шарит в сумке, не может найти ключа, потом долго ищет замочную скважину...

Не зажигая света, Земляничка садится в кресло. Какой-то луч из какой-то щели ударяет по электрической свече на люстре, и кажется, что она зажжена. Скоро глаза привыкают к темноте. Хорошо посидеть, когда устала. Спать как хочется...

Долго сидела Земляничка, тихо, спокойно, удобно. Потом зажгла свет, сняла шляпу, пальто.

С удовольствием разделась, расчесала и пригладила волосы, умылась, надела теплый ватный халатик. Улыбнулась самой себе в зеркале: все-таки хоть одно знакомое лицо...

Обошла вокруг комнаты, ласково погладила скользкую доску стола, потерлась немножко щекой о шершавую спинку кресла, постояла, прислонившись к косяку... Потом села...

Мимо окна с желтыми занавесочками шли люди. Стучали автомобили, гудели трамваи, трещали такси...

Скоро настанет завтрашний день.

Тишина двенадцатого номера.

О, сердце, счетчик муки!..

Четыре лестничных площадки соединены витой лестницей. Вокруг каждой площадки шесть узких дверей. Больше ничего, как в башне.

Тихо. На еще полутемных площадках за серыми пятнами дверей — людское дыхание. Перед дверями, на мягком полу, темные холмики.

Солнце бочком задело узкие окна круглой лестничной клетки. Косые светлые четырехугольники, вместе с голубым ковром, медными перекладинами прикрепились к каждой ступеньке и расстелились по лестнице.

Побелели двери, нечетко показались на них номера: 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й.

Темные холмики на полу стали башмаками.

Мужские, привыкшие много ходить, рыжие, толстокожие полубо-нки распустили шнурки перед номером 7-м, повернув друг к другу ирокие, тупые носы.

Забегают друг перед другом две пары башмаков около номера 9-го: мские, желтые шевровые, с бантиком и перекладиной, и черные, мужские, торчащим сзади ушком и высунутыми, висящими языками.

Блестящие лаковые открытые туфли выкинуты далеко за дверь мера 10-го. Одна легла на бок, изящно вытянув нос, другая поверну-сь и наступила первой на высокий, выгнутый как французское S, блук.

Убивая сонную тишину, разразился звонок. Хлопнула дверь, жглось, не наверно нужное, электричество, затопотали ноги по мягкому вру. Блеснул фальшивый жемчуг, парчевые туфли, зашелестели шел-вые юбки...

Ключ номера 8-го заелозил по двери, не желая попадать в замочную кважину. Полилась вода. Западали вещи. Послышалось — merde! — стихло...

На площадках заголубел ковер. На светлых стенах аккуратно про-зались белые, как простыни, двери, вылезли черные ковшики телефон-ых трубок домашнего телефона, сверкнуло стекло ящика с белыми глаз-ами для выскакивающих номеров, и на электрических золоченых часах ирные стрелки, вытянувшись в черную вертикаль, обозначали: 6 часов.

Светло. Шст-шст-шст... по голубому ковру ходит метла. Гр-гр-гр... катилась щетка на колесиках.

Сдвинув носки и каблуки, в первой позиции, стоят блестящие баш-аки. За дверями заплескалась вода.

Смеется, картавит номер 9-й:

— Коко, оставь, Коко, не надо!

На дощечку, подпрыгнув, выскочил номер.

Рыжие, толстокожие башмаки втянуты внутрь. Взлетели полы корич-вого халата.

— Алло, алло, приготовьте ванну для номера 7-го.

Шум водопада наполняет этажи.

Электрические часы показывают: 10.

Ключи номера 9-го (дамские башмаки с бантиком и мужские с высу-утым языком) и номера 7-го (толстокожие башмаки) спустились вниз повисли на крючках.

Двери этих номеров открыты. В комнатах-клетках рябят чет-ие, как толстые прутья, решетки, полосы на обоях. В несветлом, выходя-ем на двор номере 7-м пахнет папиросами. На большой никкелирован-ой с медными шариками кровати — пиджама и коричневый халат. ольшой, заставленный письменный стол, шкаф, стул, и для нелюбя-ей темных углов метлы остается немного места на голубом ковре. ряпка развязно мажет по книгам, шахматам, чертежам, заглядывает

в фарфоровую раковину умывальника, хватается за кран, пищит на зеркале и уходит в номер 9-й.

Номер 9-й, светлый как ателье, шумный от гудков автомобилей шагов, голосов на улице. На большой никкелированной кровати с медным шариками — ночная рубашка с розовой ленточкой (туфли с перекладин кой) и мужская длинная сорочка (башмаки с высунутым языком). На дере вянном столе — цветочный одеколон, пудра, шоколад и фотография ново брачных, снятая при выходе из церкви. В углу новенький чемодан и папье-маше. Пахнет мылом.

В неприпертой двери номера 11-го торчит ключ. За ней — почти темно, ставни закрыты. Белеет гладкое, как скатерть, одеяло на большой никкелированной кровати. На ночном столике пустой графин закрыт пере вернутым стаканом. Около блестящего умывальника висят неразвернуты полотенца. Два стула прислонились к стене. Пахнет пылью.

Тихо за запертой дверью 12-го номера.

— Алло, алло, Жюли, скажите, чтоб номер 10-й спустился к телефону.

Резво захлопали падающие каблуки ночных туфель. Мелькнули тоненькие голые ноги. За оставшейся настежь открытой дверью номера 10-го (лаковые туфли с высоким каблуком) — большая никкелированная кровать с медными шариками. На спинках стульев, на решетке кровати на всем висят и валяются длинные шелковые чулки. На полу, каблуками вверх, разбросаны туфли. На столе граммофон, цветы. В раскрытом, огром ном, как кровать, сундуке мягкий хаос, прозрачные комочки белья Сквозняк. Хлопает, играя солнцем, створка открытого окна. Несет хо лодком проветренной комнаты и чуть пахнет увядающими цветами.

Часы потеряли одну стрелку: 12 часов.

— Julie, aimée — à table.

Замерли на площадках и ступеньках подносы с грязными чашками растаявшим маслом, огрызками хлеба, щетки, прислонившиеся к стене груды сора: обрывки писем, волосы, цветы, газеты, вата, грязные поло тенца со следами красной губной помады.

Медленно поднимаются шаги, останавливаются на площадке пере беззвучными 12-м номером. Быстрый шопот взлетает до громкого говор и снова падает.

У меня еще пять номеров не убрано. Не встают. Celle du hui est encore rentrée saoule...

— ...Tu suis les deux petites du 16, elles font l'amour ensemble. C'es à tous degouter de faire le ménage chez elles.

— ...Non, quand ils auront fini de sonner. Puisque je suis là... Allo

— Allo, allo, allo, Julie! Qu'est-ce que vous faites? Клиенты подни маются в номер 11-й.

Маленькая часовая стрелка падает все ниже: 3, 4, 5, 6 часов и снов начинает взбираться вверх.

Ключи то опускаются и виснут на крючках, то поднимаются и тор чат в дверях. Голоса говорят слова. Топают ноги взад и вперед по лестнице

расстановкой, положительно вверх, легкомысленно, с веселым приском, вниз.

Тихо в 12-м номере.

Трещат звонки. Скачут номера на дощечке. Бренчит посуда на подносах. Раздаются стуки в двери: деликатные, одним согнутым пальцем; отчетливые, уверенные: раз-раз-раз, глухие, всем кулаком; поспешные, по инерции, после быстрого бега по лестнице; нетерпеливые, барабанящие; иногда безответные, то настойчивые, то робкие и потом медленные, недоверяющие молчанию за дверью, удаляющиеся шаги.

Зажглось электричество.

Бренчит в номере 10-м (лакированные туфли, тоненькие голые ноги, ракеты) гавайская гитара: юкко-ле-ли! юкко-ло-ли! Дым папиросы выползает из-под двери номера 7-го (толстокожие башмаки, коричневый халат). Смеется номер 9-й (туфли с перекладинкой, башмаки с высунутым языком, рубашка с ленточкой, фотография новобрачных). Тихо, как в гробу, за запертой дверью номера 12-го.

Стрелки отчертили на круге верхний, левый, прямой угол: 9 часов.

Почти все ключи висят внизу на крючках. Крючок, предназначенный для ключа номера 12-го, пуст. Этот ключ никогда не спускается.

Опять поднялся быстрый шепоток:

— La petite americaine du 10? Il peut se présenter n'importe qui! C'est bien comprenable: à dix-sept ans on est tout en amour...

— Ces deux putains, je m'en vais les faire mettre en carte! Mon oncle est chef de la sûrété, je n'ai qu'à dire un mot. Ah! elles se sont plaint au patron. Chut! Le huit sonne.

— Madame désire?

Часы показывают 11.

Гудок автомобиля. Дверь номера 8-го, того, что ночью искал замочную скважину, открывается. Шелестят щелковые юбки, стелется запах духов, блеснул фальшивый жемчуг, парчевые туфли. Внизу зарокотал сорвавшийся с места автомобиль.

На большой никкелированной кровати с медными шариками номера 8-го — растерзанная постель. Подушка свалилась на пол, отдельно висят смятые простыни и одеяла. Залитый ковер. Флаконы, щетки, гребенки, вата в креме, краске, носовые платки, шпильки, деньги, кольца, и на всем — просыпанная пудра.

Снова часы потеряли одну стрелку. Электричество потухло: 12 часов.

Доска для ключей начинает опорожняться. Темно. На улице шум подъехавших автомобилей, треск портьер, мужские и женские голоса и радостный, ревущий звонок.

Вспыхнуло электричество. Бег по лестнице, как на перегонки.

— Where are we going? Claridge or Erimitage?..

— He is a very good dancer.

— Dear, try to find for me a pair of stockings while I will change.

Пронзительный крик с улицы проникает в каждую комнату.

— Jane, are you ready?

— Coming!

Затопотали быстрые ноги. Потухло электричество, отъехали автомобили.

Опять темно и тихо. Так тихо, что слышны беззвучные вздохи:

Oh, Jacques!

Ночь продвигается. Дышат люди за белыми дверями. Взрываются звонки, хлопает входная дверь, шаги, слова, крик:

— Idiot! Je n'aime pas ça, espèce de brute... — и снова тишина.

Часы отмечают: 2, 3, 4.

Дверь в пустой номер 11-й открыта: использованная постель, открытое бидэ и мокрое полотенце на полу.

Все яснее выступают выстроенные перед номерами пыльные башмаки. Скоро можно будет прочесть номера на белых дверях. Заголубел ковер. И солнце косо заглянуло в узкое окно круглой стены лестничной клетки, и светлые четыреугольники, вместе с голубым ковром, медными перекладинами прикрепились к каждой ступеньке и стелятся по лестнице.

За дверью номера 12-го, на никкелированной постели с медными шариками, лежала больная Земляничка. Жизнь всех номеров, всех идущих мимо, влезала в ее 12-й номер. Для каждого шума находился резонанс в ее голове, руках, ногах. Казалось, что по больной голове с грохотом, звоном, треском, песнями, разговорами проезжал медленный, тяжелый обоз. Без любопытства, как на фотографической, граммофонной пластинке, регистрировались в ней вещи и звуки. В глазах рябило от четких, как толстые прутья решотки, полос на обоях. Почти не отрываясь, смотрела она в окно. Его верхние две половины заняты небом. Ночью, когда надо спать и тушить электричество, небо становится огромным и внизу, на самом подоконнике — горят фонари.

Земляничке не страшно было умереть: ей не с кем было расставаться

Monsieur Пьер.

Пареная репа вовсе не так дешева,
как это кажется людям со средствами.

«Искра» 1862 г.

Нету денег. Даже автобусы с отвращением отворачивают носы, фонари презрительно убавляют свет по пути, вещи в витринах, как ежи покрываются иглами, встречные люди толкаются и проходят насквозь, не замечая, а в ресторанах издевается еда. Как быть, совершенно нету денег

— У вас есть рекомендации?

— Нет, мадам.

— Вы нигде раньше не служили?

— Нигде, мадам.

— Ах, вы не служили! Вы иностранка? Вы, может быть, русская?

— Да, я русская.

— Эти несчастные русские!.. Что вы умеете делать?.. Вы сами по-іаете, что без рекомендации вас нигде не возьмут.

Мадам задумалась...

— ...Вы так молоды, и русские такие несчастные... С другой стороны, на французская прислуга так распустилась... Но вы, по крайней мере, великая княгиня?

— Нет, нет, мадам.

Во всех домах, при каждой квартире полагается: чулан на чердаке, реб в подвале, комната для прислуги в верхнем этаже.

У Землянички тоже была своя комната. В ней стояла железная іадная кровать, стул, деревянный стол, на нем эмалированный таз кувшин. Кран для воды находился в коридоре, около уборной. В убор-й, вместо сиденья,— вделанная в цементный пол фаянсовая, конусо-разная чашка, с дырой по середине. По бокам чашки — два возвыше-я в форме подметки, указывают, куда надо ставить ноги. По чашке по-янно течет вода. Гигиена.

Земляничка по правилу носила черное шерстяное платье и белый ртук. Фартуки были хозяйские.

— Торопитесь, ma fille, мы должны еще успеть снять и снова надеть хлы в гостиной.

Манипуляции, которые мадам производила над вещами, всегда были гадочны. Вещей же было много. По стенам коридоров и в гардеробной іяли шкафы. В шкафах на полках лежало всякое добро, висели платья, ждое в особом чехле.

Просто же так нигде ничего не лежало и не валялось, а как уж раз ло положено, так навсегда и лежало. Полы блестели, как в замках, горые осматривают с гидом и в войлочных туфлях.

«Зачем бы это?» соображала Земляничка, снимая белые чехлы с бар-тных кресел и золоченых, на тоненьких ножках, стульев и снова их на-ая. Потом надо было ухаживать за бронзовыми голыми женщинами, за юшевыми дорожками на пьянино и столах, за лампами, стоящими на мра-іных консолях, и их абажурами, похожими на парадные нижние юбки.

Мадам хлопотала над вещами целый день, следила за ними, как за іьными или детьми, и, кроме церкви, почти никуда не выходила.

Месье, чистенький, нарядный, с красной ленточкой почетного легиона етлице, бывал дома только к завтраку и обеду. А каждую субботу ухо-і с утра и возвращался во вторник. Делами он больше не занимался.

Когда Земляничка поступила к ним, он только сказал:

— Очередная глупость, мадам,—и старался Землянички не замечать. і очень много потерял на русских бумагах.

Хозяйский сын, месье Пьер, ничем не занимался. На стороне у него а квартира, где он принимал знакомых дам. Земляничка ему туда как-смокинг носила.

Сначался он тоже сердился на мать, что она наняла Земляничку.

— Вечно ты со своей экономией! Как я интеллигентной женщине приказывать буду?—и первое время сам себе сапоги чистил. Потом ничего привык.

Когда месье Пьер случайно бывал дома к обеду, он вежливо разговаривал с отцом о политике. Мадам вставляла свои католические сведения из газет «La Croix» и «Action Française». Месье в изнеможении пожимал плечами.

Между субботой и вторником, когда месье не бывало дома, за столом иногда смеялись. Мадам любила возмущаться современными женщинами:

— Я видела, как Жюль с невестой целовался,—она вся так и замирала! Как же это можно! Я очень опасаюсь за его счастье...

А месье Пьер с удовольствием ее дразнил:

— У тебя, верно, когда ты замуж выходила, ночные рубашки снизу, как мешки, веревкой завязывались.

Земляничка старалась не разлить суп и не улыбаться.

Чаще же всего к столу появлялись только месье и мадам. Они молчали.

Иногда мадам решала сшить себе новое платье. Она вытаскивала из шкафов всякие тряпки и из двух старых платьев шила себе третье старое. Земляничка помогала.

— Ma petite Zemlianitchka, — говорила мадам, так и этак прикидывая материю,—надо верить в бога. Сначала бог, потом родина, потом семья. Когда немцы подходили к Парижу и сын мой пропадал без вести, я пошла к священнику и сказала ему: вот все кругом в отчаянии, а моя душа спокойна. Разве может погибнуть Франция, которой пресвятая дева послала Жанну д'Арк? И священник утешил меня и сказал, что в моем покое нет греха. Старшего сына я потеряла... Но я не забываю, Zemlianitchka: сначала бог, потом родина, потом семья...

Земляничка вздрагивала, исподтишка рассматривая маленькую женщину в черном, занятую выкраиванием рукавов из низа юбки.

Из Парижского дневника.

7-е января.

У меня от холода распухли и покраснели пальцы на руках и ногах. Пятка тоже распухла, и на ней лопнула кожа. Мадам сказала, что это engelures, и дала какую-то мазь. Совсем не помогает. Дело в том, что шестой этаж почему-то не отапливается.

Сердце мое я выбросила за ненадобностью. Но говорят, что когда ампутируют руку и она уж лежит отдельно, на столе, то продолжаешь ощущать боль руки, каждого пальца в отдельности. Так и у меня болит сердце, которого у меня больше нет.

Февраль.

Мадам готовит траур. Муж ее сестры очень болен и, по ее мнению, должен умереть.

У месье Пьера глаза голубые, как нянина керосинка в Москве.

Смешно мне строить благополучие моей жизни на тряпке для стирания пыли.

Месье Пьер.

(Продолжение).

Муж сестры мадам, действительно, умер. Месье и мадам уехали. Скоро от мадам пришло письмо: она выписывала к себе старую Леонтин и давала Земляничке много всяких наставлений относительно месье Пьера и вещей.

И один раз, когда Земляничка подавала ему обед, месье Пьер робко спросил:

— Можно мне с вами разговаривать?

— ...скучно мне... Мать в бога верует, отец в деньги. У вас там революцию делают, энтузиасты... А я даже пить бросил, желудок не переносит. ...Женщины все сволочи или дуры. Каждый день бросаюсь на новую, на свежее мясо, а внутри идиотская надежда, что, может быть, эта наконец будет откровением...

Земляничка ставила поднос с грязной посудой на буфет и думала о том, как в Москве солнце заячьей лапкой гладило щеку.

— ...Наши отцы посылали нас защищать их добро, а сами прятались в подвалы и делали в штаны от страха. Мы должны их за это любить и уважать. Да, семья... — ...Когда утром отец выходил из комнаты матери, брат и я с ужасом говорили: «Père a couché avec mère!» и ждали грозы. А когда в восемнадцать лет отец, узнав об одной несущественной моей болезни, бросился на меня с криком: «Вон отсюда, гниль!», я схватил его за галстук и долго тряс... «Мама!» думала Земляничка...

Из Парижского дневника.

Апрель.

Я рассказала Пьеру про то, как я уехала из Москвы, про безденежье и про одиночество. Он встал на колени около моего стула.

Завтра я разглажу мое тряпье, и Пьер поведет меня в веселые места.

Поедем дальше?

Иллюминация! Как будто празднуют коронацию или Октябрьскую революцию!

Улица идет в гору. Электрические лампочки от невидного дома к невидному дому поднимаются все выше, ввинченные прямо в темное небо.

Как заповеди появляются на небе красные, огненные слова: «Pigall's!», «Monico!», «Royal!».

Светящиеся прямые цвета яркой радуги перекрещиваются, подчеркивают, обрамляют. Стрелы, кометы, буквы, круги, искры, числа играют на темном небе как дети на детской площадке.

И высоко над всем этим, в красном зареве, медленно поворачивает огненные крылья огромная красная мельница.

Ударил неистовый джаз! Рухнут люстры, треснут столы, вдребезги разлетятся стаканы, и танцующие упадут с размозженной головой... Но зала вздрогнула и устояла.

Как солнце в полдень, ровно и ярко освещает электричество залу. Предметы потеряли тени, у каждого есть свое солнце в зените, и все эти солнца одинаково ярки. Светло в высоких углах под потолком, светло под малиновыми диванами.

Под солнцами снежным полем раскинулась и сияет белая, накрахмаленная поверхность почти вплотную сдвинутых столиков. Между ними высовываются мужские и женские густо насаженные, разгоряченные бюсты.

По середине зала в белых столиках зияет прорубь в четыре квадратных метра, и на дне ее блестящий паркет, густо заставленный людьми, отражает шаркающие ноги.

— Столик на двоих? Сейчас устроим.

Прямо под ноги танцующим подкатывает столик с накрахмаленной, как манишка, скатертью и толстоголовой бутылкой, торчащей из ведра. Земляничка и Пьер садятся.

Воет саксофон, бьет барабан, галдят голоса на всех языках, локти тесно сидящих людей и наваливающихся на столики танцующих опрокидывают стаканы, вазы с цветами. Льется на колени вода, шампанское...

Дикий скрипач кружится вокруг столиков, воздевает руки со скрипкой и смычком, извивается, притоптывает, поет.

Земляничка неподвижно и молча сидит за столом. Ей очень хочется предложить Пьеру: — Давайте — убежим... Гарсоны раздают игрушки сосущим шампанское младенцам, трещат, вторя оркестру, трещотки, свистят наперекор ему свистульки; летят разноцветные шарики, попадая в лысины, голые спины, в стаканы. Головы покрылись дурацкими шапками, визг стоит от щекочащих, длинных как удочки палок с павлиньим пером на конце, взлетают, быстро кружась, хитроумные бумажные бабочки.

Земляничка старается спрятать под столом свои красные руки. Шум такой, как на аэроплане, не слышно собственного голоса. Отчего Пьер тащит ее за рукав, отчего он смеется? Куда, танцовать? На голове у Землянички красный колпак. Земляничка в отчаянии смотрит на Пьера.

Холеные, интернациональные дамы, в платьях, созданных мастерами моды, сопутствуемые безукоризненными мужьями, любовниками, муж-

инами вообще, привычно скинув собольи манто, как пуховый платок, играя жемчугами, как бусами из рябины, кокетливо надевают на голову бумажные колпаки и, ни в чем не сомневаясь, идут перебирать ногами по гладкому паркету.

Одинокие мужчины кидают разноцветные шарики, щекочат голые руки павлиньим пером и ищут одиноких дам.

Одинокие дамы поводят удлиненными тяжелыми глазами. Они не слышат шума вокруг, как рабочий, который не слышит больше привычного шума фабрики. Надетое на голое тело платье запудрено вокруг выреза, из-под выреза вылезает бюстгальтер. Груди так четко натягивают платье, как будто оно мокрое. Также обтянут автономно двигающийся зад. На шее поддельный крупный жемчуг, на руках сборные кольца, браслеты и на ногах необходимая роскошь ремесла, шелковые чулки неправдоподобной тонкости.

Одинокие дамы скучно сидят перед бутылкой шампанского или танцуют между собой, тряся все части тела и, в виде примера, прижимаясь друг к другу, пока их не разлучит какой-нибудь соблазненный «фрейер». Они улыбаются Земляничке.

Они не верят ежевечернему бурному веселью. Самое приятное это посидеть в уборной, поговорить с доброжелательной женщиной в черном, следящей за чистотой этого места, о дороговизне, зашить чулок, прочесть переданную гарсоном записку, подмазать глаза. Тепло, тихо, стоят дамы в очереди, рядом шум спускаемой воды. Мокрое полотенце на забрызганном мраморном умывальнике. Перед большим зеркалом, на белой салфетке коробки с пудрой, с румянами всех оттенков, карандаши для губ, для глаз, для бровей, шпильки, булавки и тарелочка с мелочью чаевых. Земляничке хотелось бы тихонько просидеть здесь весь вечер.

Медленно, неохотно выходят оттуда одинокие женщины. Как они, приставленные к учреждению, наемные танцоры (six-penny man, человек за шесть пенсов, как их называют в Англии) приглашают роскошных дам, сопутствуемых пожилыми мужчинами с лысиной и бриллиантовым перстнем. С каменным лицом обнимают они безмолвную даму и, безукоризненно исполнив танец, с поклоном возвращают ее кавалеру, ловко выскребывая кредитку из руки, протянутой как бы для рукопожатия. Взгляды их скользят по Земляничке, будто она нарисована на стенке...

Но заалели электрические лампочки, а за ними стены, скатерти, пол. Вспыхнули багровые лица. Малиновый диван стал черным. Загулял красный треугольный прожектор, с ним длинные черные тени. Далеко ушли в темные углы. Упали голоса за столиками. И скрипка нежно заскулила:

— Une jolie blonde, jolie et tendre...

В полутьме закопошились танцующие. Остраненные лица проходят в красном свете. Блестят вставные стеклянные глаза. Не видно, что делают руки, ноги.

У Пьера глаза голубые, как нянина керосинка...

Но зажигается обыкновенный трезвый свет и с отвращением вскидывают на него мутные глаза неохотно разнимающиеся пары.

Только быстрый упрямый ритм тараторящего оркестра снова заставляет их дергаться и быстро перебирать ногами.

— Поедем дальше, m-elle?—спрашивает Пьер.

Вышли на улицу. На улице тише, и музыка из ресторанов слышнее. Наконец-то люди со стороны отхлынули, и остались только те, которые имеют прямое отношение к делу.

Отчетливей купля и продажа, комиссионерство, посредничество. Увеличился спрос. Женщины определенней в своих предложениях. Мужчины чувствуют себя вполне непринужденно. Автомобили не соглашаются больше ездить по таксе. Открыты магазины с чулками, духами, сумочками. К дверям ресторанов прислонились мальчишки в блестящих пуговицах, ожидая поручений...

С поклоном встречают черные фраки. Малиновые диваны, белые столики, белые груди мужчин и дам...

По середине залы — большой барабан и медные тарелки.

БЕНГ БЕНГ БЕНГ

бебе-БЭНГ бебе-БЭНГ бебе-БЭНГ

ударяют барабанные палочки. Веселый, величественный негр обводит залу сияющими глазами, как будто он знает страшно счастливый секрет. Радуется круглое, черное лицо, круглые черные глаза, 32 белых зуба, расположенных от уха до уха, радуется белая, похожая на рыбное блюдо, крахмаленная манишка, и черные лаковые туфли и шелковый жилет.

Радуется Земляничка.

Медные тарелки требуют ответа у стаканов, окон, ламп, у черепных коробок и грудных клеток! Стоя, сидя на корточках, на спинке стула веселится негр! Катится синкопическая дробь! Торопится, сама себя нагоняя, перегоняя, разбегаясь врассыпную и снова устраивая свалку...

Давно уже смолкла пьяная зала, не знает чтó с собой делать, чем соответствовать бешеному, восторженному, вызывающему восторг ритму!

Закрывает глаза Земляничка, как на Тверской, на лихаче, от столба до столба!..

Дичает негр. Двоится, троится уже сторукий, как Брама. Летают барабанные палочки с темными крылышками рук. Симфонией звенят барабан и тарелки, все ответило на удары и звон!..

— Поедем дальше, мадемуазель?

Шашлык, водка и шампанское. Ковры, серебро, хрусталь. Тихим голосом напевает гладко причесанная женщина:

Тебя угонят на Кавказ,
Останусь сиротинушкой...

и кутается в платок.

— За здоровье нашего государя Кирилла!

— ...Князь, вы куда на лето?

Пойдем, пойдем со мной,
Пойдем, моя картиночка...

— Ах, эта грусть русской души...

— Вы довольны, мадемуазель Земляничка, встретить ваших соотечественников?

Волчком вертится в кинжалах черкес. Косятся на его тонкую талию старые американки...

— Поедем скорей дальше, месье Пьер.

Видели еще много зал, людей во фраках и белые столики.

— Где еще бывает весело в Париже, месье Пьер?..

— Если вы хотите, еще бывает весело в публичных домах...

Еще бывает весело в публичных домах...

Если б не количество драпировок, низких диванов и цветных фонарей, этот дом мог бы сойти за санаторию: тишина, чистота, свежее белье, гигиенические фарфоровые приспособления и корректная, благообразная дама — экономка.

В салоне с роялью, мягкой мебелью и блестящим паркетом, где должны были бы скучать переутомленные мужчины, нервные дамы и малокровные девицы, в строю стоят дисциплинированные девочки и только глазами просят: выбери!

Потом, на низком диване, вздыхают, кривляются, спеша отработать. Качество работы, отделка, зависит от заработной платы.

Дальше, через стеклянную дверь, можно увидеть работу мужчины с женщиной.

— Тише, они не знают, — шепчет корректная дама — экономка, щадя нервы посетителей. Но так просто сообразить, даже для Землянички, что должны же они знать, за что им платят...

Женщина говорит, мужчина работает молча, не смотря по сторонам. Потом целует ее, товарища по несчастью, в щеку, как прокаженная собака лижет собаку. Вот он встает, прислонился к стене, закрыл глаза; голый, старый, весь одного серого цвета, лицо и обвислый живот и седые обвислые усы...

«Вот когда хорошо бы закричать истошным голосом, — думает Земляничка, — при родах, говорят тоже следует кричать, будто помогает».

Но корректная дама, содержательница хорошо оборудованной санатории, предлагает перейти к следующему номеру увеселительной программы.

Если же человек стеснен в средствах, если он рабочий, матрос, солдат, — он уходит туда, где Париж сгущается, как сгусток крови, где

люди и дома слипаются, голоса, звонки, гудки сливаются в шум раковины, поднесенной к уху.

Там санатории начинают походить на бани.

Люди и кафельные стены, с изображениями голых женщин, покрыты испариной. Стоят деревянные скамьи и столы. Ходят голые женщины в чулках и туфлях. Гарсон подает вино и пиво.

Гурьбой, как на трамвай, накидываются женщины на посетителей. Обещают, показывают, хватают, толкают их, страшно кричат! До тех пор, пока посетитель не выберет. Тогда сейчас же стихает галдеж, и гурьба отваливается, как от отошедшего трамвая, сразу скучная, тихая и незаинтересованная, пока не подойдет следующий вагон.

А выбранные девочки, довольные, пьют вино и уводят посетителей наверх. В кассе им выдается одно полотенце.

— Ведь нам дальше некуда ехать, правда, ведь, Пьер?

Из Парижского дневника.

Апрель.

Веселые места. Веселые места... Мне кажется, что никто кроме меня не замечает опасности, и хочется предупредить криком. Но, конечно, этого нельзя.

Я пыталась объяснить Пьеру об «опасности жизни». Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Давайте поедем дальше».

Май.

Вот теперь, весной все заныло по Москве, будто не тоска, а ревматизм...

Пьер нашел мне место в большом магазине, в отделе парфюмерии.

Земляничка и Пьер.

Их пять больших и много больших поменьше. Они стоят железобетонные, уверенные в своей необходимости, и вытесняют немыслимое количество кубических метров воздуха.

Чтобы все о них знали и помнили, стены улиц выклеены рекламами, как обоями. Рекламы, те же зазывалы, назойливо приставая к прохожим, крикливо и не скромно утверждают, что в этом магазине все лучше и дешевле всех!

Вот здание величиной с вокзал. В небо уходят параллельные ряды желтых освещенных окон. Через все этажи надпись «ПРОДАЕМ ДЕШЕВЛЕ ВСЕХ».

Во всех этажах, за зеркальными окнами — вещи!

На тротуаре, перед окнами, стоят люди и смотрят на вещи.

Зеркальные двери ходят ходуном. Деловитые покупатели входят и выходят, стремительно листая двери, как прозрачную блестящую книгу.

Внутри здания, на одном уровне с небом — стеклянный потолок, ругом — стеклянные стены. Но все же дневной свет не добирается до алекой середины здания, и поэтому, как золотые бусы на елке, повсюду исят тысячи зажженных электрических лампочек.

Толпа начинается от самых дверей: дамы, дамы, дамы, несколько аблудившихся мужчин и дети под ногами.

Толпа двигается по горизонтальному и вертикальному направлению. Парадные, пышные лестницы поднимают и опускают толпу. Десятки одъемников, величиной с порядочную комнату, ежеминутно взвиваются, удесно повисают в воздухе и аккуратно падают вниз, отрывая сразу ятьдесят пассажирских сердец.

Во всех этажах, на столах, в витринах, в коробках, в шкафах, на ланекенах, на вешалках самой различной конструкции, на палках, на рючках, и просто кучами, грудами, горами, с пола до потолка лежит, стоит, висит самое главное — товар.

Там пахнет пудрой, мылом и высятся шелковые массы; тут — скипидаром, мочалой, и блестит медь, алюминий; здесь пахнет пылью и пестрят шерстяные поверхности; пахнет свежим клеем и краской, и стоят бумажные кипы; пахнет женщинами и тысячи платьев, отрядами, плечом к плечу, плоские и дряблые висят на вешалках, повесив рукава.

Магазин разбит прилавками на участки. Система их расположения проста, как лабиринт для гида.

Густая, без пробелов толпа бродит между прилавками: нарядные дамы прицениваются к ненужным вещам; хозяйственные дамы покупают пуговицы, выкройки, кастрюли; провинциальные дамы закупают на целый од; иностранные дамы, с приставленными к ним от магазина переводчиками; редкие, как бывшие фита или ижица, мужчины; дети с воздушными шарами в руках. На шарах написано «продаем дешевле всех».

Толпа бродит, толкается, щупает, роется, нюхает, смотрит на все жадными, завидующими глазами.

На возвышениях, в кассах, сидят заведомо честные люди и записывают чьи-то доходы. За прилавками, защищаясь от напора толпы, как траншеях отсиживаются продавщицы. Нарядные, завитые, подкрашенные, в черных платьях и шелковых чулках.

Земляничка в черном платье, чулках неправдоподобной тонкости, гладко зачесанными волосами и красными губами, стояла среди оранжевых круглых коробок с пудрой. Перед ней, рядами, как пирожные, лежали куски мыла, поблескивали фасонные граненые флаконы.

Не догадываясь, что можно присесть и даже отдыхая, как лошадь, тоя, с девяти до половины седьмого вечера билась Земляничка с дамами. То внимательная, она выбирала, советовала и колебалась вместе с ними, о рассеянная в мучениях их не участвовала и, смотря в сторону, безучастно ждала, когда они наконец перестанут сомневаться. Иногда же, злобно ненавидя их, плевала на все их сомненья и при первом колебании бирала весь товар.

В половине седьмого, на тротуаре перед магазином вырастала мужская толпа. Земляничка среди остальных находила Пьера и, распространяя запах мыла и пудры, вместе со всеми опускалась в освещенный мрак железной дороги.

Горячая вода.

Весенний день в Париже. Разговоры ведутся громче, такси бегут быстрее, женщины ярче накрасили губы, встречные чаще улыбаются друг другу. Деревья форсят новой зеленью.

На этой улице тихо, как в коридоре возле бальной залы: все слышно, но все мимо. На гладких фасадах распахнули объятия зеленые сквозные ставни, на окнах успокоительно висят кружевные занавесочки. По обе стороны подъездов, на черных блестящих досках написано золотыми буквами: Комнаты со всеми удобствами, электричество, центральное отопление, горячая вода, поденно и понедельно.

Улица, как шлагбаумами, перерезана, перпендикулярно к домам, повешенными вывесками:

«Отель Модерн», «Отель де Пари», «Селект Отель».

— Комнату.

— До которого часа?

— Часа на два.

— Шарль, проводи господина и даму, номер пятый свободен. Деньги вперед, пожалуйста.

Шарль, в полосатом, желтом с черным, жилете и в длинном из-под него фартуке, идет вперед по темной, витой лестнице и темному, узкому коридору.

Комната № 5-й. Шарль открывает дверь, и навстречу радостно бросается солнце! Оно, не брезгуя, шарит лучами по, до потери цвета, истертому ковру, по полосатым подушкам без наволочек и кранам с обещанной горячей водой.

Летит пух, Шарль надевает наволочки на полосатые подушки. У него черный маслянистый чуб, черные глаза с поволокой и лицо человека, который уже которые сутки собирается выспаться.

Щелкает задвижка. Как сквозь ситку процеживается солнце сквозь затянутые бордовые шерстяные занавески. Придется Земляничке лечь на постланную кровать.

За окном весенний день. Люди ходят по своим делам. Как завидно! Как больная, завидуешь здоровым людям, которые ходят за дверью, у которых ничего не болит и которые кажутся обязательно веселыми и счастливыми. Или еще как когда сдаешь экзамены и завидуешь каждой кошке, которой ничего не надо!..

А потом стараться понять, зачем все это было, и слушать, как гудят водопроводные трубы гостиницы.

В комнате темно: там, у людей, зашло солнце... В щель между занавесками видно, как зажглось бледное слово: ОТЕЛЬ. На пол легла светлая ıгональ.

Стук в дверь: два часа прошло, там ждут. Пьер завязывает галстук.

На лестнице — никого. Внизу, на двери, белая дощечка: ЗАНЯТО.

Эпилог.

Много лет злющей работы и людей, бога, который правду видит и хочет ее говорить, и Земляничкины радости постепенно разбивались, ık столовый сервиз: был полный комплект, а осталось несколько разрозннных тарелок, да еще какой-то салатник и рыбное блюдо.

На желтом, крутом боку вагона надпись:

Рига — Москва.

Земляничка, разморенная летним солнцем, сидит в уголке купэ и, адостно рассматривая вентиляцию на потолке, думает:

«Говорят — я этого не переживу! Но люди умирают от тифа, втомобильной катастрофы, от старости, а горе несут, продолжая жить.

Вот я приеду в Москву... Москва лежит в небе, как в бархатном синем ıутляре. Осторожно, ласково обнимает небо Москву. Мягкие тучи проходят так, чтобы не задеть куполов церквей, и огибают даже колокольню Івана Великого! Солнце по-прежнему, верно, гладит стены домов и лица юдей, и люди и дома ему за это, как умеют, улыбаются. Ночью луна выбеıает светить посветлее, и звезды большие, как на рождественской елке, ей ıомогают. И небо, и солнце, и луна и звезды берегут Москву.

Зимой румяная Москва по уши натягивает белое одеяло. Низенькие дома, пьяно прислонившись плечом друг к другу, глубоко нахлобуивают белые шапки. Звезды снежинками падают на крыши, на купола, на еревья, на шубы.

Удобная, коренастая Москва, как перина, набитая белым легким, ıушистым снегом, пригнулась к земле и так крепко за нее ухватилась, ıто не оторвать!

А когда отсыреет и утечет одеяло, и оползнями слезут белые шапки, ıоявится из-под них Москва, раскрашенная, пестрая, как картинка. Įома, белые и желтые, — белок и желток, розовые, как пачки балерин, кирпичные, нештукатуренные, как будто с ободранной кожей.

Булыжники мостовой нежного цвета телятины.

Пустые пространства заполнены гарниром, зеленью.

И все это сверху посыпано золотыми макушками церквей!..»

В этих радостных мыслях доехала Земляничка до границы. Тут увиıела деревянные ворота, на них надпись:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Отсюда начинается русский язык...

«Клялась крестом и золотом, клянись серпом и молотом».

Сурово смотрят окривевшие облезлые дома, жмутся друг к другу стараясь не упасть. Отвалились никому не нужные лепные украшения. Размытые, разъехавшиеся вывески плохо покрывают голые ободранные стены. Сорная, с пробоинами, мостовая встряхивает расхлябанные пролетки. Все пропитано пылью, как старый давно нечищенный ковер. Пахнет кошками. Толпы на улицах. Вспухли дома. И кажется, что когда наступят холода, раздастся треск, и лопнет Москва, как стакан, в котором замерзает вода.

Земляничка скребла ногой булыжник, терлась щекой о стены домов Ивановский монастырь, Китай-город, переулки!.. Есть с кем и о чем поговорить!

Люди, это сейчас же стало не нужно. Они казались номерами газет с решением ребусов, заданных в старых номерах. Ребусы эти когда-то были увлекательны, и на них было потрачено много времени. Теперь же они разрешались просто и неинтересно, и встречи с разгаданными загадками были только скучны и грустны.

Зато вещи, комплект вещей, город, Москва! Вот что было дорого и неисчерпаемо!

Это ничего, что Москва слезам не верит, кто же им верит?.. Все равно, она одна утешительница!

Ласковые, как кошачий хвост, переулки тихонько обнимают площади, гладят теплой, корявой ладошкой, мостовая нестрашно грозит круглыми кулаками...

Стоит Москва такая простая, без винтиков, без рычагов и пружин. Простая, как телега, как рукомойник. Чему в этой механике портиться? Телега поедет и на трех колесах, а рукомойник, что ж, вода и дырка...

Москва! Внезапная остановка в быстрой жизни! Сначала, по инерции, толчок вперед, потом назад, и недоумение: в чем дело? Трудно сохранить равновесие...

То кажется, что голову оттягивают толстые косы, то вспоминаются последние годы, и спина сгибается под тягостной тяжестью опыта.

Может, надо зайти в эту лавчонку купить тетрадь в клетку для арифметики, или же надо итти в Госиздат покупать Бабеля?

Может, не следует понимать того, что говорит спутник, но отчего-то все возмутительно ясно...

Ивановский монастырь. Черная точка. Холод. Рукопожатие. «И это тогда называлось любовью»...

Земляничка встряхивается: что это не то что-то... Спутала, как бывало на рояли не оттуда заиграешь. Совсем не то: общежитие, чужая

ба, собственная рука руку жмет, и на улице жарко... Не надо гать.

Теперь вниз, вдоль Китайской стены. Идет Земляничка — поет:

Хуже самого Китая нет в Китае ничего...

Этой песни тогда не было, значит сейчас не тогда, а сейчас.

Москва-река. Белый многооконный Дворец Труда. Около Каменного моста — извозчики. Нанять вот этого распустеху: длинные вожжи висят, полы от армяка распахиваются, коляска подскакивает, подбрасывая на жестких подушках.

Чем ехать к Тверской заставе, лучше проехаться по тем самым переулкам, что как кошачьи хвосты. Там раз навсегда выехали выезды из ворот покосившихся особняков, спрятались люди, не заезжают извозчики, не забегают собаки, стоят ободранные церкви, стараясь занять как можно больше места...

Долго ехали шагом по переулкам и улицам и никуда не приехали.

Познавание знакомых вещей.

Осеннее солнце пригласило всех на улицы, и так много забегало портфелей, шляп, красных платков, фуражек, шапок, так много покатилось пролеток, автомобилей, будто после дождя народу в городе стало вдвое больше.

Кузнецкий по-прежнему идет под гору от Большой Лубянки к Петровке. По-прежнему солнце освещает правую его сторону. На углу Кузнецкого и Неглинного глаза привычно и машинально взглядывают вверх и действительно находят там большие часы. Ноги сами поворачивают на Петровку.

Сгустки народа глазеют перед окнами магазинов. Там, в неожиданных комбинациях свален товар, красуется «последний крик Петровки»! По тротуарам и мостовой бегут хлопотливые портфели, фуражки выставляют вперед козырьки, незастегнутые пальто обдают прохожих ветром, флажками мелькают красные платки, идут простоволосые, белокурые, черные, рыжие, шныряет самоуверенный «крик Петровки»...

И нищие вышли на солнечное приглашение. Страшной стеной стоят они у стен. Как это сказал Ротшильд?—«Выгоните этого несчастного, он разрывает мне сердце!» Падают темные и светлые монетки из рук спешащих мимо в подставленные руки...

Вперемешку с нищими, забивая их количеством, стоят вдоль стен продавцы и продавщицы. Солнце освещает товар и бойкие разговоры:

— Французские духи: Ориган, Шипр, Кельке флер...

— Предупреждение беременности, официальное издание.

— Металлические щетки для прочистки примусов...

Их заглушают автомобили, пробующие голоса, басы, дисканты выводят кусочки гамм, арпеджий или долго тянут одну пронзительную ноту.

Быстро чокают подковы лошадей, под гору, от Лубянки к Петровке и медленно, в гору от Петровки к Лубянке.

Громыхает железо на пересекающих Кузнецкий Мост телегах...

Но тут заметались все понятия о времени и пространстве. Земляничка краснеет так же привычно и неожиданно, как на углу Неглинного смотрит на часы: навстречу идет Радлов.

— Земляничка!

Они идут рядом. Ci-devant Радлов тем самым голосом рассказывает про жену и детей... Земляничка думает;

«Еще одна встреча... Вот человек, сам себе надгробный памятник» и говорит:

— Я очень рада, приходите в гости.

Москва слезам не верит.

Белые, гладкие, в два обхвата, колонны обегают огромный белый зал. На их крутых бедрах так ярки блики от электрических лампочек, как будто лампочки горят внутри колонн. Сияют колонны, и в их блестящих выпуклых боках, как в кривых зеркалах, отражаются и движутся изуродованные тени.

Между пьедесталами колышется праздничная поверхность телесного цвета. Она разбивается на ряды розовых пятен. Пятна, вблизи осмысленные, крупные, имеющие глаза, рот и нос, дальше мельчают, линяют и окончательно сливаются в розово-мутную гладь.

Если же переменить точку зрения и смотреть розовым пятнам в затылок, то увидишь, что далекий конец залы, суженный и измельченный законами перспективы, вспыхивает кумачом! Пламенным локоном обвился он вокруг колонн, залил сплошь всю стену! Барабаном бьет электричество по грохочущим на красной стене словам:

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Потом на красном фоне обозначилась не имеющая измерения черная точка. И в тишине бесшумного блеска колонн, колыхания розовой поверхности, устремления глаз и грохота белых по красному полю бухнуло человеческое слово:

«ТОВАРИЩИ!»

и покатились остальные слова.

Вспрянула, поднялась, расстроив ровность, праздничная поверхность, запрыгали кривые тени в выпуклых боках колонн, как в церкви встали и застыли ряды людей, вспыхнули медные завитки труб, обрушились и заревели их шершавые голоса.

По спине Землянички восторженно пробежала дрожь...

Точка исчезла с красного фона; трубы замолкли и скрыли блеск свой в темные футляры. Толпа бросилась к выходу.

Земляничка присела на пьедестал. Кругом толкались небритые ужчины с портфелями, барышни в туфлях со свернутыми каблуками. ужчины ухаживали, барышни кокетничали. Земляничка протолкалась возь толпу и выбралась на вечернюю улицу.

«Товарищи!» великолепно звучало у нее в ушах.

Вышла на Страстную площадь.

Вздернув квадратные плечи, стоит Страстной монастырь и, вытянув ею, циклопом округляя остановившиеся часы, заглядывает через площадь, автомобили, трамвайную станцию, извозчиков, людей, к темному ушкину с длинным, черным шлейфом бульвара.

«Товарищи!» — замирая, звенит в ушах Землянички.

За плечом вырастает лошадиная морда, из-под ног выскакивают альчишки, помахивая расстрепанными букетами астр:

— За рубль, за рубль... берите все за полтинник.

Движутся толстовки и портфели, таща по мостовой и тротуарам свои линные тени. С ревом надвигается, наезжая на тени, чудовищный автобус...

С козел, туго подвернув армяки, нагибаются лихачи:

— Пажа, пажа, барышня, на резвой, прямо до Нарыма...

Вокруг площади, мимо монастыря и Пушкина, хороводом вертятся и звенят освещенные трамваи. Вокруг белой трамвайной станции — барышни за червонец.

Лотки с пирожками, яблоками, папиросами, бутербродами...

Нищий протягивает руку к людям с портфелем:

— Ответственный, подай копеечку...

Земляничка обогнула Страстной монастырь, вышла на бульвар и авернула в переулок.

Переулок, сначала освещенный, вдруг поворачивал крутым коленом, тут фонари исчезали. На внешнем углу колена тихонько стояла церковь. глубине внутреннего угла ничего не было видно. Дальше переулок ыпрямлялся и снова был освещен.

Там шел милиционер, неся в одной руке узел, а другой ведя окровавленного оборванца. Кровь текла откуда-то из-за уха, промочила рукав с пальцев капала на землю.

— Иди, иди... — подталкивал милиционер.

— Да я же ж раненый, — упирался оборванец.

У темного поворота, в глубине внутреннего угла, напротив тихой церкви оборванец свалился и слезливо завыл. Рядом вырос белый холмик: милиционер поставил узел с краденым на землю. Потом нагнулась сама неясная тень милиционера:

— Иди, Москва слезам не верит.

Снова застучали шаги, и оба исчезли за поворотом.

Земляничка вернулась домой. Позвонила пять раз. В передней нависали обои, отставшие от стен, стояли корзины и сундуки, под ногами хрустел сор...

В комнате было тепло и сурово. Пахло бакалейной лавкой. На большом темном письменном столе — кастрюля и недопитый стакан чаю.

За окном шумно хлопотал внезапно хлынувший дождь.

Земляничка постелила себе постель на скользком клеенчатом диване, легла и потушила свет.

Для решения задачи требуется не меньше двух данных. Здесь данных больше, но кому охота решать эту задачу?

Встреча.

Повесть.

Л. Сейфуллина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(Окончание).

III.

Гребнев сильно изменился в лице. Выпятились скулы, щеки запали, и ожа с мутью вместо румянца, будто пропыленная изнутри стала. Беспо-ойно бегающий взгляд, наткнувшись на другие человечьи глаза, часто згорался сухим волчьим блеском. Заметно переменился человек. Но из кружающих никто перемены в нем не замечал.

Годы, насыщенные лютыми на людей напастями, приучили людей сти скорбям и переменам только круглый крупный счет. В сраженьях, тифозных бараках, на голодных пайках, в темницах, на сторожевых постах о всей ощетинившейся, обездорожевшей стране гибла сосчитанная нежало-ливым плохим счетом разная человечья живность. Гибли влекомые в ги-ль верой, безверьем, расчетом, безрассудством, отчаянной трусостью, ужественным гневом, изуверством подвижничества, подлостью. Упрямо ми возжелавшие и случайно желаньем других захлестнутые. В казенных домостях, отчетах и газетных сообщениях писались их безымянные, как атские могилы, поминанья. И даже выделенные своим отдельным именем нули в приливе безымянных обозначенных под гуртовых ходячим назва-ем: коммунисты, беспартийные, обыватели, контр-революционеры, со-вствующие, несочувствующие, наши, не наши, вражья сволочь. Для кров-ых, для родивших это были сгубленные Вани, Лизы, Сони, Митеньки, отамошки, Палашки, Сидоры, каждый отдельно сам по себе человек. Но общем подсчете молчали единицы, говорили только сотни. Под стремитель-ым накатом этих сотен даже кровные, даже родившие быстрей забывали недших, цепляясь за живых, идущих. Малой мерой скупо отмеривались лько радости. У всякого скуден запас их драгоценных крупиц и цветущие астливые лица отметны, а притомившиеся от беспокойства, заботы и не-

здоровья никому не в глаза. Больше всего угнетало Гребнева одиночество. Ночевать не мог оставаться в опустелом домике, брошенном ему Лизой. Но когда за стеной поселили сапожника с женой, еще тяжелей сделались ночи. Он забывался только в кратком сне. Быстро, как от толчка, пробуждался, садился на кровати и начинал ясно видеть, что противоположная стена надвигается на него. Все ближе, ближе, совсем близко. Мертвел от жути. На мгновенье, как у мертвого, останавливалось сердце, потом вскрикивал и приходил в себя. Так раза по три в ночь. За стеной наработавшиеся люди спали крепко. Не слышали его вскрикиваний и стенаний. Он, опомнившись, долго прислушивался. Боялся, что услышали, прибегут, примут его за сумасшедшего. Тогда совсем конец.

День его был так загружен докторской работой, собраньями, объездами детских домов, работой в различных комиссиях, выступленьями с речами по путевкам парткома, что ему некогда было ощутить своего горя. Мучили только ночи. Хуже всего если с вечера он рано освобождался. Пойти было некуда, не к кому. С местной интеллигенцией у него были неплохие отношенья, но он со всеми видался только в учреждениях, не на дому. Ему казалось, что врачи его сторонятся, именно его. Оттого снова появились припадки подозрительности и страха.

Однажды, уже в одиннадцатом часу ночи, к нему на квартиру приехала жена военкома, подержанная, но хорошенькая женщина.

— Вы меня простите, доктор, что я так поздно ворвалась к вам. Но раньше вас ведь дома не застанешь! А мне так нахвалили вас, что я решилась непременно добиться вашего совета...

Дальше пошло так просто, что Гребнев и удивиться не успел. После этого первого визита, он стал принимать женщин на дому. К нему их приходило много. Приходили с настоящей болью, с огромным к нему доверьем. Но быстро выросшей практикой он был обязан своим любовницам. Они, оправдывая свои частые посещения, создали ему славу хорошего врача.

Их у него было уже шесть. Три не только делили с ним томительные для него ночи, но и днем присылали ему восторженные, слишком пространные и откровенные письма. А любовные свиданья его с ними были пакостны. Все, чему научился с Липатовой, что он брезгливо осуждал, подсматривая за Юрием Лугининым, он проделывал теперь с женщинами сам. Нередко ему делалось тошно, он напивался, пьяно плакал, хоть никому уж не исповедывался. Днем, после таких ночей, он чувствовал себя скверно. Давал себе слово прекратить пакостную ночную жизнь, но застрял в ней, как муха в киселе. На его несчастье вернулась в город Липатова. В первое же с ней свиданье он почувствовал к ней яростную злобу. Ему казалось, не будь у него связи с Липатовой, Лиза не разлюбила бы, не ушла. И он сладострастно, как садист, издевался над Липатовой, иногда избивал ее.

С Филатовым они встречались на работе довольно часто, но Лизу он не видал ни разу после ее ухода. В первую встречу с Филатовым, он

тряссся, подавился словом, но сжался и прошел мимо. Потом привык бходить Филатова, а при необходимости даже говорить с ним о делах.

В один июньский душный вечер они столкнулись лицом к лицу на лице. Гребнев ускорил шаг, Филатов решительно остановился и сказал:

— Стой, Гребнев, дело есть.

Медленно, не глядя на Филатова, повернулся к нему Гребнев.

— Вот что, брат... Баба бабой, а дело делом. Ничего тут не поправишь, коль так сделалось.

Гребнев скривил лицо:

— Нечего и лезть ко мне с разговорами.

— Я не с разговорами, с делом. Гибнешь, парень! Очухаться пора. Бабы даже Лиза от меня ушла, я бы эдак не стал.

Гребнев крикнул громко, зло, надрывно:

— Какое дело у тебя ко мне?

— Не ори, нехорошо. Люди встретятся, подумают ночной разбой. Очухаться тебе пора. Слухи нехорошие про тебя ходят.

Гребнев насторожился:

— Какие?

— Говорят, что пьянствуешь без просыпу, спирт из больниц таскаешь, дома у себя б..... завел. А в деле хиреешь! В больнице у тебя воровство идет аховое.

— Тебе какое дело? Если доносить хочешь, доноси.

— Дурак. Чего на тебя доносить, и так на ниточке держишься, по всему городу звон! Жалко мне тебя. Я тебя любил. Пропадешь.

— Из-за тебя.

— Нет, из-за себя! Слушай, Гребень, сожми себя маленько, обуздай. Я приехал за докторами, поработать на копях с недельку. За этой ведьмой Хвалыновой. Я ее не люблю, ну бабы копейские, никого не надо—ее. А она, ведьма-то, говорит: Гребнева со мной позовите. Там на всех группах одному доктору в неделю не управиться. У меня стукнуло в груди, а думаю, почему нет! Поедем, а? Помнишь, как бывало наезжал. Там, брат, тебя люди добром вспоминают.

У Гребнева затряслись плечи. Он с усильем, хрипло выговорил:

— Тяжело мне.

И отвернулся. Филатов взял его за локоть, повернул и дернул за собой. Ходили они долго по улицам и разговаривали глухими, сдержанными, взволнованными голосами. Занималась заря, когда они разошлись.

А в полдень Гребнев с Хвалыновой выехали на копи. Там прожили две недели вместо одной. В город вернулись с массой наказов: подтянуть ферму за доставку прокисшего молока в яслях, установить в аптеках внеочередную выдачу лекарств для детей и т. д. У Гребнева лицо стало светлей, ясней взгляд. Даже встречу с Лизой на копях он вспоминал с большой печалью, но беззлобно.

Месяца не прожил Гребнев, дыша успокоенным, вольным дыханьем. Много работал. Наказы с копей все выполнил. Два раза ездил в совхоз,

за прокисшее молоко подтягивать. Добился, что прислали извещенье: все в порядке. Во-время доставляется молоко и по качеству хорошее. На заседаньи при уполномоченном по улучшению жизни детей добился постановленья, чтобы лекарства для детей приготовлялись по рецептам вне очереди. Аккуратно выполняя и врачебную и партийную работу, два раза в неделю находил часы для осмотра детей в детских учреждениях. Особый прием избранных пациенток у себя на дому прекратил. На квартиру к ним тоже не езди. С Липатовой не видался. Но вот через неделю столкнулся с ней в партийном клубе. С того дня опять тяжесть налегла. Липатова поздоровалась с ним спокойно, коротким кивком головы. В клубе не подошла. Но догнала его на улице, когда из клуба вышел. Тихонько ударила рукой по плечу и спросила:

— Где пропадал? Я соскучилась.

Гребнев потупился. Глухо ответил:

— Занят был. Работы много.

— Врешь. Работа была и раньше, а редкую ночь не заглядывал. Теперь долго мне прикажешь вдовствовать? Или совсем приходить не хочешь?

Гребнев с ненавистью взглянул прямо ей в глаза. Не сдерживаясь громко сказал:

— Отвяжись, тварь! Опротивела ты мне.

Бледное лицо Липатовой сразу зарозовело. Но засмеялась она натурально. Глаза лукаво прищурила и весело спросила:

— А повежливей не умеешь?

— Говорю, отвяжись! Со всякой б..... еще вежливость соблюдай! Поищи другого, кто тебя не знает. Вежливости захотела! Сволочь.

Липатова сдвинула брови. Не повышая голоса, но властно сказала отчеканивая слова:

— Не смей кричать. Мы на улице. И вообще я запрещаю тебе кричать на меня. Грязный грубый мужик. Распоясываться не смей!

— Зато ты барыня. И в коммунистках барство-то свое не забыла. Только таким барыням настоящее место в старое время было в особых домах, а теперь в концентрационном лагере. На хуторской работе, где проституток содержат.

Липатова опять сдержанно, не повышая голоса, даже вразумительно сказала:

— Ты мне не платил и не смеешь называть меня проституткой. И не тебе меня в чем бы то ни было упрекать. Ты просто непроходимо глуп, если отваживаешься затевать со мною ссору. Оскорблять себя я не позволю.

Гребнев остановился. Посмотрел на нее и покачал головой.

— Эдакая тварь, тоже... «не позволю». Кому ты говоришь? Не видал я тебя во всей твоей пакости? Сам об тебя запоганился. Еще счастливо отделался. Такая распутница и болезнью хорошей могла наградить.

Липатова смерила его взглядом с ног до головы. Презрительно повела плечом, но не ушла. Снова зашагала рядом.

— Впрочем, ты и не можешь меня оскорбить. С тобой считаться не приходится. Я уже совсем успокоилась. Меня даже занимает такая... неожиданность. Ты всегда дурак был или внезапно идиотством поражен? А? погоди. Отвечать ты мне должен. Что случилось? Ты отдаешь себе отчет своих поступках?

— Отдаю. Уйди ты от меня. Право, хуже будет, если не уйдешь. Меня трясет от злости. Противна ты мне. Ну, прямо невмоготу противна. Даже голову ударило, как подошла. Чего вяжешься? Испоганился, было, совсем около тебя. Хорошо, что на другое сердце повернулось. Уйди! Эх, либ я сам себя обманом не замарал, вывел бы я тебя, шкуру, на чистую воду. Порочишь ты нашу партию. Не один я, поди, вызнал тебя хорошо. другие знают. Хоть бы который-нибудь отчистил...

Липатова громким смехом перебила его. Потом, раздувая ноздри, сердито сказала:

— Ну фрукт! И как, ведь, выговаривает. А ты, дезертир-самозванец, ты партию не порочишь? И кто распутней: ты или я, еще вопрос, если я распутством партию порочу. Как же ты смеешь мне говорить!

— Смею! Ты из корысти обманщица, а я нечаянно в обман втяпался. Ты воровством партию порочишь. Разве я не видал у тебя мануфактуры? Я не знаю разве, откуда она.

— А, вот как ты заговорил! Меня утопить грозишь? Остерегись, товарищ дорогой! У тебя доказательств нет. А мне не трудно будет тебя изобличить. Посмотрим, кто кого.

Гребнев побелел, плечи у него затряслись, и, совершенно не опасаясь, громко на всю улицу закричал:

— Не боюсь я тебя! Не застращивай! Чем перед такой трястись, лучше сам на себя донесу! Сейчас пойду и все про себя расскажу. Только бы от тебя навсегда отделаться! Ну? Тебя не стану бояться.

И он решительно повернул-было в улицу, где стоял трехэтажный кирпичный дом с вывеской «Губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе контр-революцией, саботажем и преступлениями по должности». Он уже ясно представлял себе эту вывеску и вход. Огромная ненависть к Липатовой, охватившее его с большой силой гадливое чувство победило страх. И он, действительно, почти радовался исходу не только развязаться с Липатовой, но и приобрести право изобличить ее в подлости. Липатова быстро схватила его за рукав шинели. Он рванул руку. Но она держала цепко сильно.

— Подожди, сумасшедший. Поди домой, одумайся. От покаяний наша чека в умиленье не приходит. Что? За себя боюсь? Может быть. Но ты подумай, что ты обо мне можешь сообщить? Что я распутница, как ты меня называешь... Тебе говорю, подожди, отдышись, подумай! За деньги я не отдавалась, проституцией, значит, не занимаюсь. Да тебе в глаза засмеются. Пришел жаловаться в чека, что у него развратная любовница! А относительно мануфактуры... В этом меня трудно уличить. Поверь, я не дура и не разиня. Зачем же ты пойдешь себя губить?

— Только бы из твоих рук, стерва, вырваться! Чтобы ты не смела меня запугивать!

— Я тебя и не держу. Даже все гадости, которые наговорил, я тебе прощаю. Ты бы просто сказал, что мною пресытился. Я за это не сержусь. Сама себя не стесняю и других не неволю. А гибели твоей я вовсе не хочу. Зачем? Живи, пожалуйста, мы друг другу мешать не будем. Я тебя не выдам. А обо мне забудь. Разошлись, и все. Иди домой, пораздумай, успокойся. Я ни тебе, ни себе худа не желаю. Иди. Прощай.

Выпустила его руку и быстро, не оглядываясь, пошла вперед. Гребнев еще долго кружил по улицам. Он остыл, успокоился немного, рассудком согласился, что Липатова права. Но сердце все еще нет-нет вскипало. Все равно, один конец. Лучше пойти и открыться. Эту сволочь вычистить надо. От ходьбы устал. Решил, что во всяком случае с объявкой лучше подождать.

IV.

Гребнев в это время детские дома объезжал. В доме «Розы Люксембург» его поджидала Липатова. Она знала, когда он там бывает, и нарочно к определенному часу пришла. Но Гребнев что-то запоздал. Липатова сердилась на Гребнева недолго. И не сердилась совсем. Только сначала хотела выполнить обещанье не искать с ним встреч, не смущать его и не мешать ему. Но от грубости Гребнева ее тяготенье к нему только усилилось. Гребнев недаром назвал ее однажды «вывихнутой». Во что бы то ни стало увидеться с ним, добиться его к ней возвращенья. Теперь, ожидая его, она не боялась, что он снова оскорбит ее. Быть может, в бешеной вспышке, сделает это явно. Опорочит перед детьми. В этом детском доме была старшая группа девочек. Уже девушки. Есть шестнадцатилетние. Они услышат, скандал выйдет огромный. Не маленькие, все поймут. Ну, чорт с ним, все равно. Главное, как бы сделать только, чтоб он сразу не ушел. Чтоб он задержался. Хорошо, еслиб удалось наедине с ним остаться. Ну, все равно. Надо посмотреть, как пройдет эта первая встреча. Примирится он с ней или сразу... взбесится? Если скандала не учинит, дело выиграно. Ее в распутстве упрекал, но и сам в этом деле сластена. Передохнул и снова повеселиться захочет. Только бы сегодня скандала не учинил. Липатова, в раздумьи, стояла у окна в большой комнате для игр. Девочки с руководительницей занимались гимнастикой. Невысокая рыжеватая девочка лет тринадцати с тускловатыми всегда широко раскрытыми глазами подошла к Липатовой и встала рядом с ней. Липатова оглянулась.

— Что тебе, Настя?

Та уставила в лицо Липатовой невыразительный, почти неподвижный взгляд и широко глупо ухмыльнулась толстогубым красным ртом. Это была подобранная на станции малолетняя проститутка, полуидиотка. Так как она оказалась физически здоровой, отличалась вялой покорностью и кроме тупости и пристрастия к сахару особыми пороками не выделялась.

приняли из изолятора в детский дом. Она никого не задирала, всегда была спокойна, но и девочки, и воспитательницы, и няни испытывали к ней какое-то странное, брезгливое чувство. Девочки его даже не скрывали. То-и-дело покрикивали:

— Уйди, мокрогубая. Терпеть тебя не могу.

— И правда, одни губы полизывает, да смеется чудно, чисто во сне.

— Ой ты, какая-то липкая что ль. Отдвинься. Рукой как схватится, и прилипнет.

Настя ухмылялась и покорно отходила. Говорила она мало и лениво. О прошлую свою жизнь не рассказывала, и не было причин особенно тяготиться ею. А воспитательницы тяготились. Всячески старались сбыть в другой детский дом. С Липатовой даже говорили об этом. Липатова знала чутьем, что Настя порочна. Но такая же сама, она Насти брезгливо сторонилась. Поэтому нетерпеливо сказала:

— Ну, чего же стоять? Иди, займись чем-нибудь.

Настя переступила с ноги на ногу и спросила тягуче:

— Доктор приедет?

— Должен приехать. А тебе зачем?

— Хы... Он хороший. Мне глянется.

— Ну, ладно. Иди.

— У меня живот болит. Пускай полечит.

И снова улыбнулась мокрой, похотливой и тупой улыбкой. Липатова посмотрела на нее, вдруг прикусила губу и сказала ласково:

— Хорошо. Он посмотрит тебя. Я скажу.

Гребнев приехал, когда уже темнеть начало. Он поговорил со старшей воспитательницей, осмотрел у двух девочек горло, у многих руки. Он был очень мрачен, хмурился. Написал два рецепта и передал их воспитательнице. Неожиданно для него к нему подошла Липатова. Она, держа девочку за плечо, подвела к Гребневу Настю. Гребнев сердито дернулся, взглянул на Липатову.

— Что?

— Вот осмотрите девочку. Она вам расскажет в чем дело.

На злобный немой вопрос в его глазах сказала тихо и примирительно:

— Я случайно на вас наткнулась. Сегодня тоже объезжала детские дома. Осмотрите ее в кабинетике. Я сейчас пришлю к вам воспитательницу.

Быстрым движением руки Гребнев направил девочку в полутемный коридорчик. В этот час в нем было почти совсем темно. За коридорчиком небольшая светлая комната с мягким диваном и круглым столом называлась в этом детском доме кабинетиком. Настя остановилась в коридоре. Гребнев, шедший за ней, тоже приостановился. Рассеянно спросил:

— Ну? Что же ты не проходишь? Что у тебя болит?

Настя тихонько смеялась нехорошим смешком, как смеются от щекотки, и молчала. Гребнев взял ее за плечи.

— Проходи на свет.

Настя упиралась. Он в дверях кабинета сердито повернул ее лицо к светлому отверстию раскрытой двери.

— Что у тебя болит? Ну, скажи? Живот?

Настя опять хихикнула. Лениво протянула:

— Живот.

— Смеешься, значит не очень больно. Касторки, вероятно, дать надо. И смотреть нечего.

Он сквозь платье пощупал ее живот.

— Ну да, тугой. И всегда ты объедаешься... А корм впрок нейдет. Худая. Ну, проходи, сейчас воспитательница придет, я тебя осмотрю. У тебя может быть...

Он задал ей специальный вопрос о правильности ее женской жизни. Настя опять хихикнула и ничего не ответила. Гребнев рассердился. Снова взял девочку за плечо уже грубей.

— Да проходи ты в комнату! Что на одном месте топчешься? Ну, пропусти меня и сходи за воспитательницей.

Настя вдруг задышала часто, прижалась к его боку худеньким, совсем детским тельцем и выпятила маленькую несложившуюся грудь. Гребнев сердито толкнул ее, но она вцепилась руками в его плечо и потянулась к нему захапанным, уже оскверненным ранним плотским грехом телом. У Гребнева задрожали руки. Он сам с жутью ощутил, что передернувшее его отвращенье смешано с животным желаньем. В этот миг на свету он увидел глаза девочки. Всегда туповатые, они сейчас оживились и стали совсем детскими, живыми и любопытными. Он шумно продохнул, еще раз взглянул в Настины глаза и вдруг ощутил огромную жалость к девочке, загаженной, как блевотой, похотью взрослых. С силой оторвал Настины руки от своего плеча, осторожно повернул ее к выходу в общую комнату, откуда они вошли, и сказал строго:

— Ступай. У тебя ничего не болит. Не надо тебя осматривать. Я тебе просто успокоительных порошков пришлю. Иди.

Настя недоуменно хихикнула, еще раз взглянула на Гребнева и вдруг громко заплакала. Липатова стояла у двери с той стороны, загораживая ее спиной. Она услышала плач и быстро, испуганно распахнула дверь. Гребнев отстранил с дороги ее и Настю и вышел. Он зашел еще в столовую, поискал старшую воспитательницу, не нашел и уехал.

Липатова прикрикнула на девочку. Настя задержала громкий плач, но продолжала всхлипывать.

— Что ты плачешь? Больно тебе? А? Где больно? Ну, что молчишь? Кто тебя обидел? Доктор? Что он сделал?

Настя снова громче заплакала.

— Да тише ты! Ну, что? Он что?

Липатова подыскивала слово.

— Снасильничал, что ли, он? А?

Настя, тихо шевеля губами, покорно повторила:

— Снасильничал.

И по-детски всхлипнула с захлебом.

Липатова испугалась. Очевидно, он решился. Сдерживая гнев, она ово сказала:

— Не плачь и не болтай глупостей. Никто не хотел тебя обидеть. гор хотел только осмотреть тебя, а ты испугалась. Ничего, успокойся. переведем тебя в другой детский дом. Тебе здесь надоело, да?

Настя молчала. Липатова вывела ее в общую комнату. Побыла еще неко- ое время. Убедилась, что Настя совсем успокоилась, опять с застывшей уловатой улыбкой осматривается по сторонам. Она погладила девочку олове и уехала.

Заведующей дети сообщили, что Настя захворала, ее осматривал ктор. После ужина она подошла к девочке и спросила ее:

— Ты захворала? Доктор тебя осматривал?

Настя вдруг задергала плечами и расплакалась. Это показалось заве- ющей подозрительным. Она стала выпытывать, что болит? что сказал ктор? Настя молчала и плакала. Заведующая вдруг перестала спрашивать, думала, побледнела и взволнованно выговорила:

— Пойдем, покажи, где он тебя осматривал! В какой комнате?

Настя покорно повела ее в проходной темный коридорчик. У стены коридорчике стоял широкий мягкий стул. Заведующая метнулась к нему.

— Ты здесь сидела, когда он тебя осматривал?

Настя всхлипнула, не сказала ни да, ни нет.

— Он тебя смотрел один? Тов. Липатова разве сюда не входила? Ах, же мой, какое наказанье! Да скажи ты хоть что-нибудь! Что он с тобой лал? Ну, что?

Настя устала от расспросов, испугалась волненья заведующей, беспо- ядно повертела головой и вдруг вспомнила, как Липатова спросила про ктора. Девочка тупо повторила это слово теперь:

— Снасильничал.

Заведующая всплеснула руками, изнеможенно опустилась на стул.

Гребнев сидел за столом против следователя. Спокойно отвечал на осы, ни разу не запнулся. Он не чувствовал за собой вины и не вол- лся. Другое дело, еслиб его привлекли не по делу об изнасиловании чки. Но инстинктивно он насторожился. Он уже раздумал каяться йствительных своих преступлениях. Да и не считал их преступле- ми. Ничего из содеянного кроме связи с Липатовой. Вспоминая о ней, еленел лицом и сразу терял спокойствие. Сейчас он о ней не думал. рил бодро, уверенно и толково. Вдруг его поразила одна мысль. Он новился на полуслове.

Следователь поднял голову от бумаг, посмотрел на Гребнева нежи- без всякого блеска, будто пленкой задернутым взглядом. Сказал хри- тым, тоже тусклым, голосом:

— Дальше.

Но Гребнев молчал, уставясь мимо очков, над ними, широко от-тыми синими глазами в лицо следователя. Следователь приподнял в реденькие бесцветные брови.

— Что с вами? Ста-албняк поразил?

Зло хихикнул. Гребнев с усильем продохнул, заговорил снова, уже путаясь в словах. Он думал:

«Неужели наш земский? Не может быть! Подохнуть уж ему п А он все такой же. Он, он!»

Мятое, как замаринованный сморчок, лицо, немного старше, но изменилось. Голова только совсем облезла, да поредели реденькие и т усы.

— Я вас попрошу говорить ясней и правдивей. Заиканья и всяче увертки только повредят вам.

Он! Тот же голос, и весь почти такой же. Как мог Виктошка с не признать его? Точно слепой был. Но как же он здесь? Неужели ком нист? Так издевался тогда над мужиками, брал взятки, из-за него у Балакаря. Но как же он при нынешней власти следователем в че Виктошка вспомнил сцену у стола, как отходил Балакарь. Будто со ченку пинком, насмешкой своей его земский тогда... Может быть, он т самозванец. Фамилии его Виктошка не помнил.

Следователь потерял терпение.

— Я требую, чтоб вы прекратили симуляцию! Вы совершенно з ровы. Я вас заставлю отвечать на вопросы! Расскажите подробно, как изнасиловали малолетнюю Анастасию Малахину.

Гребнев с усилием, не отрывая загоревшегося злобой взгляда лица следователя, произнес:

— Я ее не изнасиловал.

— Что же она вам добровольно отдалась?

У Гребнева кровь застучала в виски. Угрожающим повышен голосом он ответил:

— Не путайте меня. Ни как, ни силком, ни с ее согласия, я ее н бесчестил.

— А согласье вы у нее просили? И она согласилась?

Гребнев задышал так, что листочек бумажки на столе шевельну Уставив ненавидящие, округлившиеся глаза в лицо следователю, мол У следователя забегали глаза. Он быстро взглянул на дверь в сосед комнату, где дожидалась охрана, но, пересидев страх, мерно и отчет сказал:

— Вся разыгрываемая вами комедия совершенно напрасна. Ваша общница по хищеньям и ваш близкий друг Липатова рассказала от венно все, что она слышала, стоя за дверью Она утверждает, что шум говорил о том, что вы проделывали с девочкой в темном проходе в ком Липатова ворвалась, но помешать вам уже не успела. И сама потер шая...

Гребнев ударил кулаком по столу с размаху и яростно заорал:

— Липатова обличает, вот кто! Сволочь! И ты, сволочь, падаль! мал, ты давно уже сдох, а ты еще живешь. Из земских в наши следова- вылез? Меня утопить хочешь?

Следователь посинел, сорвался с места, схватился за револьвер. солдат охраны, услышав в соседней комнате крик допрашиваемого, али в комнату.

Гребнев, увидев их, еще больше побагровел, заорал еще злей:

— Эта сволочь — бывший наш земский! Под чужой фамилиею...

Земский вполз на службу по народному комиссариату юстиции под й фамилией, но утаил сведения о своем прошлом. У него перекосило о, задрожала челюсть... Откуда в такой отдаленной губернии знающий человек? Он, стукнув зубами, прохрипел:

— Взять!

Гребнев бился, отшиб от себя обоих солдат, двинулся к следователю:

— Взять! А сам, мерзавец, не хочешь туда же?

Следователь трясущейся рукой схватил наган на столе и выстрелил. я пролетела над правым плечом Гребнева и влипла в стену. В дверь жали еще солдаты и чекисты. Отбиваясь, Гребнев бешено орал:

— Моего отца, Фрола Кандырина, он сгубил! Вся волость знает, Фрол Кандырин, Балакарь по прозванью...

Его утащили. Следователь, содрогаясь всем хилым своим телом, ил:

— Его надо на месте, на месте надо пристрелить.

Высокий смуглый чекист подошел к столу.

— Тут крутая каша какая-то, надо подождать его пристреливать.

Бывший земский разом смолк. Смуглый чекист заглянул в бумаги.

— Его отец не так здесь назван. Ыгым! А вы в какое время и где были ским начальником?

На следующем допросе другой, рыжеусый и жилистый следователь етил Гребнева:

— Виктор Фролов Кандырин?

Он ответил:

— Я.

И полной грудью облегченно вздохнул.

V.

Сытый бородач, степенный, в нарочито старенькой заношенной кде, сердито расцепил дерущихся в толпе мальчишек.

— Цыть! Развозились, нашли место, на самом на ходу. Пошли вон оронке! А лучше домой убирайтесь, нечего вам тут делать. Ну, время шло, и в ребятешках никакого страху нет. Место, не место, везде в ногах яются.

Косенький худощавый приказчик главной потребиловки из тол у самого входа в народный дом выдвинулся с ласковым искатель поклоном:

— И не говорите, Митрофан Алексеич! Здравствуйте! Как поживает Давненько не случалось повидаться с вами. И не говорите... Про детише мол, не говорите! Растут, как в поле трава. Без уходу, без наставления, назидания. У меня старший, в прежней школе первым в послушном дении считался. А теперь совсем от рук отбивается.

— А ты подтяни, понатужься! Распустишь, попадет в Карнауховский дом, тогда уж никакой натугой не подтянешь.

— Нет, в союзе молодежи он не состоит. Я с плеткой допрашива Бегать бегает к Карнауховскому дому, в окошки глядит на ихи заседани а в союзе не записан. Ну, я и глядеть воспрещаю.

— То-то «воспрещаю». Если бегает, в окошки глядит, так уж нагл делся. Вот и выйдет жулябия вроде этого, которого судят. Коммунист, ск зывали, этот доктор-то самозванный?

— Дак он какой коммунист? Липовый. Весь с головы до пят подло ный. Ныньче коммунистом объявился, а завтра, может быть, захотел бы

— Ну, там, чего завтра захочет, не видать. А сёдни ихний, с билето все как есть.

И, оглянувшись по сторонам, понизил голос:

— Свое к своему льнет. Самозванцам и жуликам у них лафа!

Видом неприметный, коротко остриженный человек в одежде из до отдыха, не по мерке и новенькой, близко от них стоял. Быстро повернулс Неожиданно громким сердитым голосом разговор перешиб.

— А ты, степенство, болтай да не забалтывайся! На чистом и пылин видна. Одного прохвоста в коммунистах изловили, гвалтом галдите. А сер вас ловят, дак молчим? Галдеть устанешь: прохвост на прохвосте, прох стом погоняет. Скорей галдеть надо на диковину, когда хорошего челове из ваших встретишь, не вора, не мошенника.

— Ну, тоже, хоть и коммунистов эдаких-то преступников, не надо застаивать.

— Я его и не застаиваю. Тебе только говорю, на себя да рядом с со погляди. Не много ли эдаких у тебя в родне?

Сбоку неожиданно еще человек в беседу вступил. Очень убежде и звонко запротестовал:

— Я бы еще остерегся его прохвостом-то назвать! Может, он за только страдает, что у всех докторов хорошую славу перешиб. Ран больше всего больных к Селиванову старику ходило. А теперь почти переметнулись к этому. И от других докторов валом к нему в больни

— Ну, надармака-то в больницу ко всем валом!

— А он только надармака и принимал. На дому не хотел.

— Как же он к себе в дом пустит, когда у него там вся жульничес его контора? Все равно в другом месте брал. Он коммунист, а коммуни получают...

— Гляди, как бы мы не пощупали, где ты, ирод, получаешь!

Раздвигая уже сгустевшую около спорящих толпу, просунулся к ним ·бровый худощавый крестьянин.

— Слышьте-ка! Не спорьте. Апосля посчитаетесь. Чего от чужой огню брать? Задоришься тем огнем, гляди, себе до больна где обожгешь.

— А ты чего суешься, наставник непрошенный?

— Я што ль с наставлением? Я спросить хочу, а вас не докличешься. ..от сказывал, правда это што ль, хорошо, мол, он от хвори пользовал?

— Я говорю народу к нему большая масса ходила.

Мужик кивнул головой.

— Народ ходил, значит, кому-то помогал. На слух же шли, не иначе. ·нибудь да показывал один другому. В незнамую дверь лишний чело- редким случаем торкнется.

Большеглазая женщина в выцветшем сатиновом платочке, по-город- ..му, сзади кончиком завязанном, мужика тихонько за руку тронула.

— Помогал, дедушка. Хорошо помогал. Я сколько денег на других ·торов пролечила, а помог он один. Что там про него не плетут, пускай! ш в жизнь не поверю! Век добром поминать его стану.

Другой взволнованный женский голос из толпы подтвердил:

— И меня отходил. Прямо чуть-чуть живенька была, смертушку речать готовилась, вызволил! И я тоже скажу. По мне там хоть расстре- ·от его, без отпевания угробят, я платье полушелковое подвенечное про- ·, а за него сорокоуст закажу.

Седобровый мужик озабоченно худые щеки погладил жесткой своей ·ой.

— О-о? А что, приятели, теперь доступиться к нему никак нельзя? ·а покланялся, пусть меня попользует. У меня внутре сердечное рассла- ·ние. Тоскую, всем нутром, видишь ли ты, тоскую...

— Не-ет, теперь каюк! Себя самого и то лечить ему недолго придется.

— Ты полагаешь как? Высшая мера — расстрел?

— Не иначе. Подложный документ — раз. Года в тем документе над- ·ал, от нынешней военной службы укрылся — два. Несовершеннолетнюю ·ночку снасильничал — три. Преступный элемент в партию запи- ·л — четыре. Полюбовница его детскую манафактуру накрала — пять...

Большеглазая женщина визгливо перебила:

— Ты еще на него насчитай, что твоя тетка напрокудила! Виноват ·полюбовницу? Наша сестра за чьей хочешь спиной нашкодить сумеет.

— Ну, да. А полюбовниц-то у него, доказывают, не две, не три, а по- · насчиталось.

— Вот хват! Со всех крынок пенки посымал! Ну, что хошь, а за ухватку ·ого человека уважаю!

Дружная женская защита в толпе крепла. С десяток новых голосов ·илось за доктора Гребнева, судимого Революционным Трибуналом уже ·ртый день.

— А он виноват, если женщины сами на шею ему вешались?

— А того больше и приплели другие доктора от зависти.

— И-их, батюшки, хорошему-то на свете трудно дышать. На ду... ластятся, а хороший заведется человек, сейчас его облыгают, ну, на ... харкают!

— Уж кого судить, расстрелять мало, а каждую кишку отдельно в... мать надо, так это змею, барыню эту!

— Вот! Эту следует. Она его и втянула. Плачет теперь, разлива... разжалобить судей хочет.

Седобровый мужик опять настойчиво и нетерпеливо бабий шум пер... кричал.

— А с чего шибко на него наседают-то? Судьи-то, спраши... за что шибко на него ярятся?

Мужик недоуменно приподнял брови.

— Ежели за то, что без гумаги положенной лечил, охлопотали ... гумагу-то ему. Хорошо, ведь, пользовал? И не заговором, а по науке, аптеки снадобьем. По-господскому, все, как докторам полагается. Ну, и ... дали бы гумажку. Господа их пишут, написали бы ему? А?

— А у него и фамилие чужое, и неученый он.

— А шут с им, с фамилием! Я вот сам позабывать стал свое фами... Кличут по-уличному Филином, так и дети мои Филиновы прозываются, а... Ерофеевы. А что неученый он да ученых перешиб, значит, дошел, уразу...

— Чего ты, отец, ерунду разводишь! Тебе толком сказывают: он... малолетнюю снасильничал.

Мужик снова жестко щеки поскреб.

— Малолетнюю, это грех. Это стыдное и нехорошее дело. Ско... лет-то ей?

— Пятнадцать не то есть, не то нет.

— О-о? Большенька уж. Эта и родит, не помрет. У татар еще помоло... рожают. Д-да, большенька! Прямо сказать, чуть-чуть не доспела. Жива ... осталась?

— Ну да жива... Чего же ей? Только это не полагается.

— А жива, дак его-то за что расстреливать? Вот тут болтали... ... венцом грех покрыл бы и вся.

Близ подъезда в отдельной менее шумливой группе городской инт... лигенции шел сдержанный говорок:

— Д-да. Гениальное нахальство у человека! Полуграмотный санитар... старший врач большого госпиталя? А? Как вам это нравится?

— И ни одного смертного случая не установлено? А?

— Да. Поразительно! Экспертиза во всех городах, где он раб... врачом, не нашла явного вреда...

— Рецепты, рецепты как умело? А? Как осторожно!

— Ну, знаете, мне он всегда подозрительным казался.

— Все-таки я, откровенно скажу, я искренно удивился, что т... дело коммунисты не приглушили. Ну, отослали бы куда-нибудь дальше, новые документы выдали бы. Им что? Им все можно. Я искре...

удивился. Так раздули дело! А оно, ведь, партию сильно компрометирует. По-моему, это оплошность с их стороны.

— Разговоры! Разговоры большие пошли, нельзя было приглушить.

— Ничего подобного! Разговоры после разгорелись. Нет, это как-то, очевидно, у них нечаянно вышло.

— Во всяком случае, это очень хорошо, что не втихомолку. Страшно интересный процесс! Я ни одного заседания не пропустила. Давно таких не было. Все политика, революция да контр-революция...

— Ну, что же, бандитов судили — там тоже было много романтики. Я тогда тоже на все заседания ходила. И адвоката Семисельцева судили, тоже ужасно интересно было!

— Ах, совсем не то! Здесь психологическая сторона. Он психологически интересный тип, этот доктор. А женщины как им увлекались, оказывается? А? Изумительно!

— И эта Липатова, — она, действительно, героиня романа.

— У нее трагическое лицо, — по-моему, она очень красива.

— И так хорошо держится. Кротко во всем сознается. Повидимому, сильно переболела душой! Искренно раскаивается.

— Ну, ее запутал этот мерзавец!

— Безу-условно! Подпала под влияние. У него, очевидно, очень сильная воля.

— Нет, каково! Коммунист и коммунистка, целых двое на скамье подсудимых! Так дальше дело пойдет, так нелестно станет коммунистом называться.

— Оно и сейчас... Для меня, например, совсем не лестно было бы...

— А знаете, Липатова и в партию, по-моему, случайно попала, и в эту беду... с доктором, случайно.

— Ну, ясно! Она, повидимому, просто увлекающаяся слабовольная женщина. Ее жалко!

Разговоры нарастали со всех сторон. Прибоем люди приливали к Народному Дому. Публика попроще расположилась на ступенях входа и около него на чурбачках, принесенных со двора. Говорили о подсудимых, потом перешли к своим домашним делам. Щелкали семечки, и скоро земля вблизи была усеяна обильной их шелухой. Вдруг с площади, снизу — Народный Дом стоял на пригорке, — донесся возглас:

— Ведут! Ведут!

Людское скопище заволновалось. Повставали, задвигались, загудели уже сдержанным, затаенным, полным страстного ожидания зрелища, гулом.

— Подсудимых ведут!

Раздался отчетливый окрик:

— Ста-аранись! Раздайсь! Осади назад! Назад! Освободить проход!

Шестеро солдат, с ружьями на-перевес, вели двух преступников: мужчину и женщину. Как всегда, на глазах у многолюдной толпы, деревянны и тупы были лица конвойных. То же, как обычно, шла несколько

театрально Липатова. Прямо, тихо, опустив в землю глаза. Черное платье подчеркивало бледность похудевшего лица. Яркая ржавчина пышных ее волос была прикрыта черным кружевным шарфиком. С истомленным одухотворившимся, похорошевшим лицом она походила на умученную святую с картины из жизни первых христиан. В толпе завздыхали, увидев ее..Только один враждебный бабий выкрик просек согласный сочувственный гул:

— Зенки-то, небось, прячет, стерва!

Негодующее шиканье, окрики заглушили этот возглас. Зато враждебно задышала, заворчала толпа, когда за ней вольным простым шагом прошел под угрозой винтовок Виктошка Балакарев. Он с любопытством озирался по сторонам. Очки теперь ему не мешали. И лицо его, просветленное спокойствием, было тоже просто. Будто он сам по себе неспешно по улице гулял и разглядывал народ. Враждебного ропота он не слушал и не слышал. После полного признания на первом допросе, большое успокоение вошло в него и нарушалось не надолго, вспышками, только на суде. Вину свою он большой не считал. Ему казалось, покаялся в самозванстве— и все. Разве это можно считать чрезвычайным преступленьем? Великое дело — присвоил чужие документы! Никого не убил, не ограбил, не предал. Без диплома лечил? Так, ведь, он же это делал не хуже других докторов! Так думал он. Ему казалось, что никто не может думать иначе. А судьи только по обязанности сгущают черноту его проступка. К моменту вынесения приговора подобреют. Он был уверен. Оттого вышагивал естественно и неторопливо. Этим он нарушал привычную установку зрелища: подсудимых ведут. Сердил толпу. Насторожился он только, как всегда, у самого входа в Народный Дом. Там, тоже, как всегда, прижавшись к холодной каменной стене, стояла Лиза. Когда встречались их взгляды, большие синие Лизины глаза становились жутко-живыми, говорящими. Виктошка и сегодня в них увидал, почти услышал:

— Не бойся! Еще будет хорошо.

Он тихонько улыбнулся под нависшими усами и погладил непричесанную бороду.

На деревянной скамье, слева, боком к зрителям, на сцене, как актеры, только разыгрывающие жуткую драму, а не действительные авторы - исполнители ее, они сидели вдвоем с Липатовой. Она строго и прямо. Он — мешком, широко раздвинув колени, согнувшись. Внимательно слушал, подолгу рассматривал отдельные лица судей и сидящих на местах зрителей. Давали свидетельские показания служители медицины, соработники самозванного доктора. Только низший персонал наивно сообщал о нем безусловно хорошие сведения. Работники, рангом выше, рассказывали о халатном отношении к хозяйству в больнице, о тайных визитах женщин, о том, как ловко уклонялся Гребнев от хирургической помощи больным, и о грубости его нрава. То обстоятельство, что никто его самозванства не распознал, объясняли все одинаково.

— Боялись. Догадывались отчасти, но выяснить боялись. Запугивал ем, что коммунист.

От этих, запоздало злобных, непрямодушных показаний бесновался а кулисами Филатов:

— Вот ученые стервецы! Видят, ведь, запутлялся все одно человек ак, что под последнюю пулю метит. А они, нет пожалеть, подпихивают! \ нас палачами честят!

Нервно подергивая шнурок пенснэ, защитник Липатовой спросил его:

— Что же, по-вашему, из жалости к подсудимому им надо лгать проıетарскому суду?

Филатов рассвирепел. Стал похож на ощетинившуюся дикую кошку рко-зелеными круглыми глазами и жестким торчком волос на голове.

— А вы бы, гражданин, помолчали! За свою подзащитную все лгете и свидетели лгут. Никто их врать не заставляет, а они вот именно врут! lолжны говорить: не догадались, делал свое дело старательно, ничего приıетить не могли! Чего же человека утопающего топить? С того, что не ихнего званья? Своего бы спасали! По мордам вас видать, какие вы пролетарские!

И Виктор Кандырин, выпрямляясь на скамье подсудимых, тоже темıел лицом. Кого из этих людей он чем обидел? Перед кем согрешил? Если были недочеты незнания, так разве у них, дипломированных, их не было? Почему они раньше не изобличали и не указывали? Никогда он не подавлял их своим положением, своим устрашающим званием «коммунист».

Он скорбно сморщился, когда по лесенке на сцену поднялась к столу Хвалынова. Перед этой, действительно, грешен в обиде. А Филатов даже зубами безнадежно пристукнул.

Высоко подняв совсем поседевшую голову, она прямым взглядом устаилась, как верующий на духу, в лицо председательствующего. Председатель, одноглазый рабочий с глухим лицом, отвел свой глаз в сторону. вое показанье она давала громко, отчеканивая каждое слово:

— С чистой совестью могу сказать: доктор Гребнев был одним из учших наших работников. Я всегда охотно работала с ним вместе. И каждый аз на деле отмечала аккуратность, уменье и знанье дела. Да, знанье дела. го меня самое поражало. Он казался мне мало развитым, мало культурым в общем широком значеньи этого слова. Но свое дело, свою специальость он знал. Я думала о нем часто, что он плохо или мало учился, мало итал, и медицинские знанья приобрел на практике. Он всегда был осторон, внимателен и чрезвычайно старателен.

На вопрос о грязных любовных похождениях врача Гребнева, она, езгливо сморщившись, коротко ответила:

— Никогда ничего об этом не слышала. О насильи над малолетней? ышала. В это время я сидела уже в тюрьме, но слышала на свиданьи родными. Не верю, не могу допустить. Склонна верить Гребневу, что есь стеченье жутких для него случайностей. Он всегда был жалостлив детям. Девочку давно осквернили и сгубили. Она — идиотка, больная. показаньям значенья придавать нельзя.

На вопрос защитника, как относилась к доктору Гребневу работавшая с ним интеллигенция, дипломированные врачи и т. д., она, не глядя на защитника, неохотно, но правдиво сказала:

— Интеллигенция сильна в работе милосердия. Из поколенья в поколенье переходит завет быть чутким к человеческому страданью, к самодовлеющей ценности всякой человеческой жизни. Ну, одним словом, завет, который плохо слышат в неинтеллигентной среде, где крушат беспощадно и где человеческая жизнь, как клопиная.

Председательствующий задвигался в кресле. Хвалынова возвысила голос и уже возбужденней закончила:

— Но для милосердия нужны калеки, увечные, немощные, вообще обездоленные, примятые. Их мы понимаем, жалеем, любим и за них можем сами стать страстотерпцами. Но мы глухи к обездоленным, когда они по-здоровому, по-звериному, зубами вырывают себе эту долю и становятся обидчиками. Для меня, например, никогда невозможно... Я никогда не смогу понять, как можно подломать, подмять под себя так много страдающего живого во имя хотя бы какого бы то ни было благополучия. И хотя бы для благополучия несметного количества спасаемых этим людей. Ну, вот, например...

Снизу, из зрительного зала донесся сердитый окрик:

— Сама не мятая, с того и не понимаешь! Подавить хорошенько, дак поймешь!

Председатель зазвонил.

— К делу, гражданка. Мы решаем здесь участь двоих людей. Если вы жалостливы, так должны понимать, что для них тяжело, суд затягивается.

— Я старалась, чтоб вы поняли полнейшую мою искренность. Оттого несколько пространно... Ну, так вот, к выходцам из пролетарской среды. А Гребнев, присвоив чужие документы, все же удачно стащил их тоже у такого выходца. Ну да, вы сами знаете. Сейчас! И еще он был коммунист. Естественно для нас, служащих делу милосердия, быть настороженными к людям, которых мы считаем немилосердными. Гребневу не доверяли. Внешне он, действительно, часто срывался с тона на работе, был грубоват. Это усугубляло недоверье. Он не грозил, но все-таки держался вызывающе. Очевидно, его озлобляло, что не хотят признать его вполне своим. Я? Ну, тут были соображенья... морального, так сказать, свойства. Про мораль можно? Ну, хорошо. Я хотела через него понять. Хотела сблизиться с этим новым обидчиком. С обидчиком из тех, кого мы много лет жалели, как обиженных. Ну, пропасть заравнять. Душевно я его тоже, как сказать... ну, не любила, остерегалась, что ли. Позвольте еще несколько... немного, немного. Я хочу вполне правдиво! Если б Гребнев не сидел сейчас на скамье подсудимых перед судом, я бы, вероятно, не нашла в себе достаточно мужества понять его. Мы так долго ждали этой встречи с народом. Скрашивали ожиданье мечтами. И забыли, что с нами встретится не созданье нашей мечты, а реальный человек из темноты. То, что для нас священно, как своя святыня, нами воздвигнутая, религия, мораль, наука, искусство, для него только

аша забава. Ему кажется, что от пресыщенья мы себе их придумали. него своя религия, нет никакой своей морали, только подчиненье той, оторую внедряют кнутом, и свое пониманье науки. Труд ученых ему кается легким. Понятно, что при встрече, вместо объятий, они с дубинкой, ы со страхом, с беспомощным словоизверженьем. Понятно, что часто отгупаем с отвращеньем вместо радости.

Где-то в глубине зрительного зала зааплодировали три смельчака. Io их заглушил и остановил не столько сердитый заливистый звон председательского колокольчика, сколько грозный рев из рядов же.

— Полоумная баба! Натявкала, чего не разберешь! Дураки рауются!

— Им тут чисто игрушки! Разливайся соловьем, а энти пускай еще неделю маются, какое им выйдет решенье.

— Этим только покрасоваться дай! Любят! Они разговорчивые.

Председатель снова еще яростней зазвонил. Объявил, что прикажет очистить зал. Но Хвалынова враждебность возгласов уловила. Спускаясь вниз по лесенке к местам для свидетелей, она внутренне дрожала от стыда и обиды. И уже в мыслях начала по привычке пытать себя: какое побуждение заставило ее высказаться так откровенно и подробно. Хорошее оно было или в основе подленькое? Немолодой румянец темножелтыми пятнами выступил у нее на обеих скулах от волненья, и вдруг легонько, чуть заметно, задергалась голова.

Несколько подбодрил ее громкий шопот сзади:

— Эта барыня ничего! Она с правдой. Только манепечко не докумеала, вот у ней и вышло ни на то, ни на се.

Гребнев устало расправил плечи; в сотый раз стал искать по рядам е новый, красный шелковый платочек. Подумал:

«Хорошо, что Лизу уговорил не рыпаться. Не знала ничего и все то бы еще горше томиться было. А Липатиху Лиза, пожалуй, напрасно садила! Разыскала свидетелей насчет хищений, и что девченку так нехорошо му, Гребневу, подсунула. Может быть, она и не подсовывала. Так вышло. Iу, разберутся, увидят».

Липатова как раз горячо отрицала все обвиненья. Она говорила убеденным проникновенным голосом. Величайшим истерическим подъемом, ожью, претворенной вдохновеньем истерики в правду, убеждала окружающих:

— Самое тяжелое обвинение, — это обвинение в сводничестве. Никогда этом грехе я грешна не была. О себе, о своей жизни я не буду говорить. I не святая. Но такого позора я на душу не приму. Нет, не могу принять! ышло это совершенно естественно. Мне настолько ответственной кажется абота врача, настолько она вся зиждется на личной его честности, что я аже мысли не допускала! Всякий, мало-мальски честный человек не может опустить, чтоб над девочкой-пациенткой врач мог учинить насилие. Я всегда суждала надзор за врачами во время осмотра девочек. Мне казалось это аже с нашей стороны нечистоплотным. Почему у нас могут явиться такие

грязные подозрения? И никогда не было случая! И тут, как всегда, я впустила девочку к врачу и осталась ждать у двери. Совершенно просто! Нет, она не кричала. После плакала, да. Что Гребнев в этом отношении ненормальный? Не приходило в голову. Я вообще об этих ненормальностях краем уха когда-то слышала и уже забыла. Относительно мануфактуры свидетельница Карпова говорит неправду. Может быть, она искренно ошибается, но это неправда:

И хитро сочетая действительность с выгодным для нее вымыслом, умело подбирая трогательные кроткие слова, Липатова стала плести хитрую сеть клеветы:

— Меня в наробразе ненавидели, как убежденную коммунистку. Меня травили. Каждый день я выносила тысячи мелких уколов!

Наробразовцев не любили и сторонники Гребнева, и противники его. Поэтому большинство тех и других стояло за Липатову. Когда представители наробраза, воспитатели и преподаватели детских учреждений давали свои показанья, они их-сминали, говорили торопливо и сухо. Враждебную недоверчивость публики они все чувствовали. И показанья их, действительно, звучали тускло и неверно. Их понял Гребнев. И сразу всю умиротворенную собственным несчастьем ненависть к Липатовой снова будто извне откуда-то в него накачало. Он не мог совладать с собой. Встретив ее лживый взгляд, совсем распалился. Еле дождавшись возможности заговорить, он вдруг ни с того, ни с сего, не зная другого средства хлестнуть Липатову, сделал заявленье:

— Я говорил, что Липатова мне никогда ни женой, ни любовницей не была. Я обманул. С этой женщиной я спал. Развратничал с этой женщиной.

От волненья и злости он выговорил резко по-мужицки «с'етой». Вышло смешно. А самое заявленье отталкивающе злобным. Липатова повалилась на руки конвойного в непритворном обмороке. Филатов досадливо головой замотал:

— Топит себя парень! Будто сам старается затонуть. Эх ты, нескладная твоя печенка!

В этот миг Виктошка и сам сразу почувствовал, что он тонет. Сначала растерялся, а потом, как всегда в неминучую опасность, обозлился. На вопросы суда он стал отвечать сердито, как будто огрызаясь. Когда, по порученью председателя, один из экспертов задал ему какой-то мудреный вопрос, обильно уснастив его латынью, он нагло взглянул в зрительный зал и громко ответил:

— В моем университете этого не проходили!

В дружном хохоте сгибла последняя к Виктошке Балакареву жалость, а с ней и доверье. И он почуял, как захолодило у него у самого сердца внутри. Откуда-то из глубины памяти нелепо выпрыгнула, застряла назойливо в мозгу фраза, которую он Лизе в душевном разговоре сообщал. Как в детстве он сам про себя говорил:

— Я мужчина, я ложкой.

Не умел выговорить тогда «ловкий».У него выходило «ложкой».

И так много раз кряду все то же мысленное повторенье, как монотонный напев:

— Я мужчина, я ложкой.

От этого напева нестерпимой теркой тоска заерзала по сердцу. Ему захотелось взреветь, замахать сильными своими кулаками, разметать все скамьи, всех сидящих внизу и на сцене, вцепиться ногтями в пол, выть и рвать его, только бы заглушить эту боль. Но он только просерел в лице, скривил рот. Накануне относительно девочки он отвечал просто искренно:

— На войне приходилось видеть. Знаете, звереют! Даже совсем с малолетками. И однажды было, что неплохой человек так поступил. Ну, я тогда уберегся, а теперь вовсе невозможно было это сделать. Нехорошо я в себе почувствовал, когда она ко мне прижалась, но только я ее отстранил.

А сегодня на вопрос, наталкивающий на повторенье вчерашнего, сердито сказал:

— Ну, осматривал.

— Как, расскажите.

Он с бешеной злобой, точно плюнув в публику и в самый суд, крикнул:

— По способу пальцевированья. Вашим докторам способ неизвестный.

Снова в публике взрыв хохота, уж совсем нехорошего, злого.

Председатель зазвонил. Через минуту был объявлен перерыв заседанья до следующего дня.

В последний день суда, на утреннем заседаньи, когда подсудимых вывели на сцену, к их скамье, из публики, около барьера оркестра раздался звонкий выкрик:

— Виктошка, здравствуй! Эх, как же это ты, парень, засыпался-то? Я, брат, думал, ты пропал, как тогда с фронту убег. А она, твоя пропастина, вот только и где оказалась.

На скамьях в публике повскакали с мест, чтоб разглядеть говорившего, послышались восклицанья, смех, окрики. Поднялся сильный шум. На сцене — смятенье. Члены трибунала в беспорядке выскочили из-за кулис. Несмотря на шум, громкий отклик Гребнева слышали:

— Здравствуй, Семка. Здравствуй, брат дорогой, крестовый. Спасибо, что не отплюнулся от меня.

Сильно веснущатый, темноглазый, бородатый человек в солдатской шинели, не смущаясь окриками стражи, стараясь попасть поближе к Гребневу, подался по барьеру вправо и сильно на ходу застучал деревяшкой. Одна нога у него была отнята по колено. Он с беспечной ласковой усмешкой отмахнулся рукой от коменданта, снова звонко завопил:

— Авось не помрешь! Помилуют. Еще побеседуем...

Человека на деревяшке схватили и вывели из здания Народного Дома. Но через два часа, он уже на сцене давал показанья суду в качестве свидетеля. Охотно отвечал на все вопросы. Семен Андреев Лыткин. Инвалид последней царской войны.

— И прямо горе возьмет, товарищи судьи, как расскажу когда ранили.

Одноглазый председатель прервал его:

— Это к делу не относится, товарищ!

Но глаз его светился приветливо, голос звучал мягко:

— Эх, как же это ты думаешь, товарищ, что не относится? Очень относится. Дуром оторвало ногу перед самым миром! Чудной такой случай вышел.

Председатель с улыбкой сказал:

— Ты нам после расскажешь, в перерыв, а сейчас скажи: Виктора Фролова Кандырина хорошо знаешь?

Лыткин облокотился локтями на судейский стол, отметая всю жестокую торжественность суда, просто, как внушающему доверье собеседнику, ответил:

— Да как же не знать-то? Виктошку-то Кандырина? Вон он сидит! Борода, вот как у меня выросла, тогда и у меня не было! Ну, маленько ликом сменился, а все как мне не узнать?

Он ласково повернулся к скамье подсудимых, блеснул крепкими зубами в приветливой улыбке.

— Слышь, Виктош, тебя знаю ли? Братья мы с им, товарищ судья, братья, крестами менялись! У тебя крест-от мой цел, а?

За судейским столом невольно заулыбались. Вдруг сделалось очевидным, что на страшных для человека местах сидят люди. У них, у всех, могут сделаться светлыми лица от хорошего ласкового человечьего слова.

Внизу, в зале задвигались. Вдруг неожиданно грохнули аплодисменты. Одноглазый председатель насупился, дернул сильно колокольчик и сердито рявкнул:

— Прошу соблюдать тишину. Не то распоряжусь очистить зал. Товарищ Лыткин, с подсудимым переговариваться нельзя! Обращайтесь только к трибуналу.

— Товарищи Требунал, жалко мне его, что он эдак засыпался. Хороший парень был, как на войне в санитарах служил. Товарищи Требунал, как бы здесь Мосейкин Алексей али Павел Веселов, а хоть бы Митрий...

— Короче, товарищ Лыткин.

— ...дак все бы не сказали плохого слова про Кандырина. Буржуазию он, действительно, не любил! Чего его между господами втепало, никак не пойму! Но только в доктора он вполне мог самоучкой вытти. В этом я за его вполне ручаюсь, он очень хорошо это дело понимал. Старший доктор про него говорил...

Председатель утомленно вздохнул:

— Я вам буду задавать вопросы, а вы на них отвечайте. Только коротко.

На ходатайство защиты разрешить Лыткину высказаться полней, председатель сухо и твердо отрезал:

— Вам дано будет право задавать вопросы товарищу Лыткину.— Он подозрительно взглянул на Гребнева. В душе его, омраченной недоверьем к человеку, вдруг зародилось сомнение: не инсценировано ли неожиданное появленье нового свидетеля. Он придирчиво и долго пытал Семена. Также старались и прокуратура, и члены Трибунала. Седовласый, с изможденным лицом защитник глухим старческим голосом заявил:

— Защита вопросов к свидетелю не имеет.

Прокурор тверже устроился на стуле и окинул строгим взглядом зал.

Когда Лыткин спускался по ступенькам со сцены, лицо его было красным и горестно удивленным. Скрылся в толпе и больше порядка не нарушал.

Виктошка сидел, опустив голову. Роем нахлынули воспоминанья. Отрывочно, сумбурно, одно перебивая другое. Вдруг, растроганный этими воспоминаниями, он поднял голову, посмотрел на людей, наполнявших зал, и ощутил, что всем чужой. Лиза его жалеет. Из-за женской своей, из-за прошлой любви, скорбит за него. Свиданье даже выпросила, утешала. Ну, долго ли тоже с хорошей душой к нему останется. Филатов разговорит; не стоит, мол, его жалеть, подлеца. Плюнет и ногой разотрет при воспоминании о нем. Она уступит. Его, Виктошку, жалеет, а Филатова весь любит. Партию собой, самозванством своим замарал. Никто доброго слова не скажет. Вспомнил, как хорошо его на собраниях слушали, как одобряли его деловитость. Просерел от тяжелой душевной тоски. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Гребнев поднял голову и встретился глазами с Филатовым. Тот смотрел на Виктошку из-за кулис. Встретив Виктошкин ответный взгляд, Филатов отвернулся и скрылся в кулисах. Виктошка злобно усмехнулся и вздернул голову. Он не знал, что у Филатова спазмы сжали горло, что он боится слабость свою показать, тем хуже Виктошку растревожить. Оттого и не повидался, не поговорил с ним ни разу.

Ни обвинителя, ни защитника Кандырин не слушал и не слышал. У него сильно разболелась голова, и стало мутить от томительной тошноты. Встрепенулся только, когда Липатова говорила свое последнее слово. В зале и на сцене затихли, когда она говорила. Виктор Кандырин, когда дошла до него очередь, поднялся вяло. Его парализовала мысль о безнадежности его положения. Доказать, что он не насиловал Настю, он не мог. Никто ему не верил. А во всем остальном он действительно виновен. Опозорил партию. Да не только своим самозванством, а крупным дебошем в Чека. Только что его самого разоблачили, он еще одного прохвоста в ряды выкопал. Еще позор на партию.

Он вяло, точно нехотя, мусолил в последнем слове все одно и то же:

— Коммунистическая партия не при чем. Я ее тоже обманул. Опозорил. Но прошу снисхождения. Что года скрыл, на службу вторично не попал, это бы еще ничего, у меня еще время есть, я не стар, и доктором послужил бы.

Но голос его окреп, когда он неожиданно без всякого к тому перехода объявил:

— Что доктором без бумажки назвался, это преступлением не считаю. Я ее украл, так я и оправдал ее. Знал не меньше других и побольше некоторых с бумажками.

Смолк. Оглянулся на публику и пошел к своей скамье.

Было десять часов вечера. Суд удалился на заседание. В зале суетливо задвигались, загалдели люди. Разминавшиеся после долгого сидения люди из публики расхаживали по залу, по коридорам, на улице около Народного Дома сбивались парами, группами, оживленно, с блестящими возбужденными глазами, спорили: расстреляют или условно?.. Прокурор прогуливался по двору Народного Дома под руку с женщиной в белом и нежно поглаживал ее руку. Защитник за маленьким столиком с наслаждением глотал чай.

Филатов с Лизой стояли на улице, плотно прижавшись к каменной стене. Лиза тихо, беззвучно плакала. Он горячим шопотом успокаивал.

— Ну, что ты раньше времени убиваешься? Еще неизвестно, что суд решит.

— Эх, Игнатий, женское сердце вещун. Тяжело мне! Ему бы легче было, кабы я с ним была. Ну, ну, ты не так подумал! Люб ты мне, а его жалко. Ой, жалко, Игнатий! Очень жизнь у него бессчастная.

Филатов буркнул:

— Я сам жалею. Эх, дурак, какой дурак! Да что их там чорт забирает, когда они кончат совещаться? Манежничают, а люди не знают, не то жить им, не то помирать! Объявят, уже один конец, легче. Ты постой здесь, а я сбегаю узнаю, как там... Скоро ли?—При входе он столкнулся с худенькой молодой девушкой. С захлёбом, торопливо она спросила:

— Товарищ Филатов, неужели обоих расстреляют?

Филатов насупился и жестко отозвался:

— Осудят, дак слюнявиться не будут.

Быстро прошел мимо нее. В дальней комнате за кулисами совещался суд. У дверей стояла охрана. Но дверь то-и-дело открывалась. В комнату входили и выходили люди в военной форме, члены губкома, губисполкома. Филатов вошел шумно, уронил по дороге стул. От большого стола к нему повернулись недовольные лица. Бледнолицый с большими мечтательными глазами, член Трибунала говорил:

— ...После бурной дискуссии о профсоюзах, перед разрешением свободной торговли необходимо сугубо оберегать себя от нареканий в попустительстве...

Филатов сердито выкрикнул:

— Преданный человек, выправится! Пролетарского происхождения. Нельзя дуром своих изничтожать.

Его выставили из комнаты совещания.

На ходу он крикнул:

— Я поручусь за него, башкой своей отвечать буду...

И выбежал, странно хватками глотая воздух, на улицу, в темноту июльской ночи.

Пять долгих часов ждали приговора. В два часа над залом, все еще полным ожидающими приговора со всем замираньем любопытства, с Кандыриным, Мироновой и Лизой, замученными до полного изнеможения всеми мученьями надежды, громко прозвучало:

— Суд идет! Встать!

Длиннолицый худощавый человек в несвежем пиджаке усталым голосом начал:

— Именем Федеративной Советской Социалистической Республики...

Филатов в темном углу за кулисами вдруг почувствовал, что не может задержать странного бульканья в горле. Откашлялся, сплюнул три раза под-ряд в груду сора и рукавом пиджака сердито провел по глазам.

— ...Липатову к пяти годам со строгой изоляцией... условно.

В зале грохнуло дружное рукоплесканье. Выждав затишье, усталый человек монотонным, не оставляющим даже лазейки для явного состраданья голосом начал длиннейший перечень тяжких преступлений Виктошки, сына Балакаря. В этот миг он как раз в последний раз вспомнил себя Виктошкой Балакаренком. В надежде передохнуть на мысли о близких вспомнил отца. Отчетливо услышал только конец:

— к высшей мере наказания — расстрелять.

Виктор неожиданно и незаметно для себя широко открыл глаза и опять растерянно наивно улыбнулся. С этой же застывшей улыбкой и к выходу пошел, когда повели. Сзади, в глубине зала, раздался отчаянный женский вопль. Виктошка не оглянулся, только спина передернулась...

Срок, данный для обжалованья, он провел больше во сне. Оживился только один раз. Надзирателя вызвал в камеру. Когда тот пришел, он осторожно снял с шеи медный небольшой крест. Сказал с жалким подобьем улыбки:

— Не носят коммунисты крестов. И мне другой крест не нужен, а этот не мог снять. Побратался на войне. Пожалуйста, доставьте его, товарищ..., то есть, не сердитесь, забыл. Доставьте его, гражданин, в губводком Семену Лыткину. Там найдут. От крестового брата, мол, от смертника.

Встретить смерть с бесстрашным спокойствием, как в величавой простоте умерли его родители, Балакарь и Арина, ему не было дано. Когда вели, ночи, он вдруг взбушевал. Сначала отбивался и дрался, потом в ноги упал. Ноги красноармейца хватал, припадал к ним лицом и плакал. Хрипло молил:

— Братцы, отпустите! Отпустите, братцы, страшно мне совсем-то помирать!

Один из конвоиров пожалел. Поспешил с последней для Виктошки пулей. До назначенного места его не довели.

Когда Семену Лыткину передали крест, он долго мял в руках узел уже ветхого шнурка. Потом, тепло улыбнувшись, покачал головой.

— Гляди-ко, гайтан переношенный выдержал, и узелок цел, а Виктор, брат названный — ау! Вот тебе да! Жизнь-то человечья какая неверная.

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх, вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин,
У меня отец крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с «венкой», в стыпь и звень,
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть — отрава,
Знать, с того под этот вой,
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

Сергей Есенин.

* * *

Цветы мне говорят — прощай!
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Ну, что ж, любимые, — ну, что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной, но дорогой,
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

Сергей Есенин.

* * *

В багровом полыме осины,
Березы в золотом зною...
Но стороны своей лосиной
Я первый раз не узнаю...

Деревня прежняя: Дубровки,
Отцовский хутор, палисад,
За палисадом, как в обновку,
Под осень вырядился сад...

Отец и мать за хлопотнею,
Всегда нехваток, недосуг...
И виснет вышивкой цветною
В окне околица и луг...

В лугу, как на рубашке проймы,
Река-бочажница вдали...
В трубу серебряную с поймы
По зорям трубят журавли...

Идет как прежде все по чину,
Как заведено много лет...
Лишь вместо лампы и лучины
Пылает небывалый свет.

У окон столб, с него на провод
Струится яблочкин огонь...
...И кажется: к столбу за повод
Изба привязана, как конь!..

Солома — грива... жерди — сбруя...
Все тот же мерин... тот же воз...
Вот только в сторону другую
У коновязи след колес...

Сергей Клычков.

* * *

Я — беспечный, да злой, да нелюбый
Мне — дорога и жуткая гать,
Мои черные жесткие губы
Не умеют лукавить и лгать.
Белым пеплом тяжелых черемух
Я посыпал широкую Русь,
Чтоб в ее перепевах знакомых
Схоронить суеверную грусть.
Мне сказаний дряхлеющих груда
Стариковской тоской не мила,
Потому что весенняя удаль
На ночных перепутьях легла.
Прохожу я поля и деревни,
Мерю версты примятой травой,
И звенят дерева перепевно
Над вихрастой моей головой.
Сердцу дороги вьюжные беды
Бесшабашно встревоженных сил —
Я изведать хочу, что не ведал,
И любовь раздарить, что таил.
Проживу коли буйно и грешно,
Не начну о прошедшем жалеть —
Знаю: будет о радости вешней
Петь стихов моих ковкая медь.

Сергей Герзон.

Наталья Горбатова.

1.

Землю штыком
И пропеллером облако,
Петь и греметь литью.
Дни проходили
Локоть об локоть,
Как пехотинцы в строю.
Был я тогда —
Напористым парнем.
Френч,
        галифе,
                на груди звезда.
Вслед за штабами Пятой армии
Пробегали агит-поезда.
Вшивые толпы, рты посинели.
Голос трубы грубей,
Но под полою грязной шинели,
Сердце, о ребра бей!

2.

Шлагбаумам древним
Дорога верна.
По шпалам не мерили версты,
И за штабелями казалась страна
На буре замешанной просто.
Над всеми дорогами плавала мгла,
Она по тропинкам летела,
И вот на рассвете
Уже привела
Девчонку из Агитотдела.
Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Ах, годы прославленных странствий.

Еще пробираются через туман
Огни левобережных станций.
Но буря не медлит,
Но жар не остыл,
Отряды не ждут пересадки.
Грохочут перроны,
И скачут мосты,
И лязгают звонко площадки.

3.

Любовь как любому
Была мне дана
По песням,
по дням,
по гулянкам.
И пела до света
Страна, как струна,
С тобой по глухим полустанкам.
Но плоти поющей
Не время пока;
Уже сформирован ударный.
И дрогнули плечи,
И сжала рука
Упрямый приказ командарма.
Не шлындает буря,
Визжат буфера,
Ревут тендера беспокоясь.
— Отряду на отдых.
Петрову пора
Покинуть с ребятами поезд.

4.

За полустанком —
Метель бормочет.
Молча я ей подаю обрез.
Снова тропинки сырою ночью
За поворотами — наперерез.
Горькие губы теперь забудешь,
Голос в тревогу влит,
По плечу мне
И грудью к груди
Ветер степной стоит.
Два года проходят

Под рокот ветров
В разведке,
            в тылу,
                    в комендантском.
И голос ломается,
Стал он суров
Под Пермью
И под Соликамском.

5.

Никто показать мне дороги не мог.
На поясе бился подсумок.
От синих туманов,
От горных дорог
Входил я в ночной переулок,
Прислушался.
Чуть проскрипел журавель,
Качаясь на ветре студеном,
И девушки пели на пыльной траве
О старшем братишке Буденном.
Тропинка ведет —
В поворот поворот.
И молнией сумрак распорот,
И каждая
Влево немного берет,
И скоро выходим за́ город.
Старик,
Проходивший дорогой одной,
Примявшей кедровье и тальник,
Опять с мальчонкой пробирался за мной
Тропинкой крутой и недальней.
О, почесть погибшим,
Ты вечно проста,
И трогаешь вечно в походе,
Две палки обломлены —
Вроде креста,
И холмики —
Насыпи вроде.
«Кто здесь похоронен?» —
Спросил старика.
«Какие-то там...
С большевичкой».
И дрогнули плечи,
И шарит рука

В кармане коробку со спичками.
«Наталья Горбатова».
Пали в туман
Дороги прославленных странствий.
Ах, томик помятый,
Ах, старый наган,
Огни левобережных станций.
Но жизнь принимаю,
Люблю, как тогда,
Крутые ее перебранки.
Грохочут моторы,
Летят поезда,
Огни на походной стоянке.
И пот,
И работа,
И рябь кирпича.
Старик ухмылялся,
Ребенок кричал,
И сумерки тихо запели.

Виссарион Саянов.

Четырнадцатое декабря.

Здесь бурь морозы не растили.
Пронесшийся Европой шквал
От стен разрушенных Бастилий
До Петербурга долетал.

И в день, когда шумела площадь,
Как конь, роняя с пеной храп,
Декабрьский ветер лишь полощет
Тряпье знамен и перья шляп,

Грозит, но не сорвет, не сдунет
Россию с царских рубежей.
Так загоралось накануне
Грядущих веком мятежей.

Какое пламя Медный Всадник,
Увидя, взмыл в туман конем?
Каким замерзший виноградник
Зимою расцветет вином?

Но, не сорвав в победном гимне
Свой гнев распевом карманьол,
Никто в нахмурившийся Зимний
С штыком подъятым не вошел.

Все тише ветер, крики глуше,
И возле Медного Петра
Так странно было камням слушать
Свобод нездешнее ура!

Посеев ветер, снимешь бурю.
На суд декабрьского царя
Сто лет молчала Русь, нахмурясь,
Судом ответить Октября.

Но разве памятью лелея
Тех, кто мечтам простор искал,
Мы забываем, что Рылеев
За бурю ветер принимал.

Под тяжкой поступью столетий
Не сгибнет этот дерзкий день,
И слава вам, кто верил в ветер,
Подувший с русских деревень.

Конст. Большаков.

Из Черноморской тетради.

Кавказ

Каким простым великолепьем
Казались слева облака:
Кавказ до головы облеплен, —
Чалмы висят на ледниках.

Сначала принимаю я
Гряду вторую за вершины
И называю их большими.
— Гляди туда, душа моя!

Толкают в бок меня грузины.
Беру бинокль, гляжу туда,
И вижу вечные я зимы, —
Во льдах застывшие года.

Теперь глаза мои большими
Становятся от высоты.
Взглянув в лицо, вы все б решили,
Что вал задал в глаза воды.

Я постепенно проясняюсь:
Погода в нас живет сама.
— Я имени еще не знаю
Пейзажу, сведшему с ума.

Я жму грузинам крепко руки
И признаюсь, что я готов
Прожить последнею старухой
У этих бешеных верхов.

Они хохочут, я смеюсь, —
Но все мы глаз не отрываем:
— Да, если б не было в раю
Пейзажа, — этот стал бы раем!

Тоскуя смертью, говорю:
— Ведь жизнь по капле собираешь...
Я знаю, отчего мы Юг, —
Свидетели полночных вьюг, —
Зовем полунебесным краем,
И песни наши Юг поют...

Дмитрий Петровский.

* * *

Тучи — гнилая солома,
Дали — худые плетни, —
Крышей любимого дома
Машут осенние дни.

Сердце желанное радо
Близости сельских примет.
Я и осенним нарядом
Как материнским согрет.

И пред унылой погодой
Не опущу своих век.
Только минувшие годы
Не возвратятся во-век.

Раннюю память тревожа,
С болью ее теребя,
Вижу себя я моложе,
Вижу другим я себя.

Где же теперь он, далекий?
Я повстречаюсь ли с ним,
Или опозданы сроки
Видеть себя молодым?

Горечи этой не сбросить,
Хоть бы плясать довелось,
Ждать уж недолго и проседь
Тихо коснется волос.

Только на память о доме,
В память и в радость о нем:
Кажутся тучи — гнилою соломой,
Дали — покатым плетнем.

В. Наседкин.

Декабристы.

1825—14 декабря—1925.

Л. Войтоловский.

Свершится роковая месть:
И снова пред лицом отчизны,
Заблещет ярко ваша честь.
А. С. Пушкин.

1.

Северное тайное общество.

24 апреля 1826 года на допросе, учиненном высочайше учрежденным комитетом, в дополнение прежних показаний, отставному подпоручику Рылееву, последнему было, между прочим, заявлено:

«Комитету известно, что до 1823 года Северное тайное общество, состоявшее из немногих людей и без всякого действия, готово было само собою уничтожиться, но вы, вступив в оное, как один из пламенных и решительных его членов, восстановили общество и при посредстве Южных членов, возбуждавших здесь взаимное рвение, быстро умножили число членов, управляя их волею и одушевляя их либеральными понятиями и слепою готовностью к преобразованию, распространили и утвердили преступный круг деятельности тайного общества и, наконец, вы первые предприняли намерение воспользоваться переприсягою государю императору Николаю Павловичу, преклонили к тому других и сделались главною причиною происшествия 14 декабря.

Таким образом, сказав, когда именно вы поступили в члены Думы, отвечайте с полной откровенностью на нижеследующее:

...При от'езде из Петербурга Матвея Муравьева-Апостола вы, прощаясь с ним, между прочим, говорили, что будете стараться принять в члены общества некоторых из нашего купечества.

Об'ясните, по какому поводу и с какою целью вы предполагали сие, кого именно из купечества успели принять в члены» [1]).

---

[1]) Центрархив, «Восстание декабристов», том I, стр. 167 170.

Приведенная выдержка показывает, во-первых, что история — хороший танцмейстер и еще задолго до Маркса заставила плясать под свою марксистскую дудку всю николаевскую жандармерию с бароном Дибичем, графом Бенкендорфом во главе; и, во-вторых, что начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии граф Бенкендорф (тайный руководитель всего допроса) питал затаенное недоверие к купеческому сословию, несмотря на все монархические добродетели последнего.

Вряд ли, конечно, дух буржуазной революции, носившийся над тогдашней Европой, рисовался николаевскому шефу жандармов в виде богобоязненного купца в долгополом кафтане. Но работа всей следственной комиссии все словно свидетельствует о том, что и Дибич и Бенкендорф отдавали себе довольно ясный отчет в создавшейся обстановке. И если им не дано было разбираться в экономических тонкостях, то в качестве все проницающего жандармского ока они довольно верно отгадывали планы истории и не без основания приходили в смущение от той роли, которую люди в купеческом одеянии начинали играть в событиях жизни. Свято веруя в корону и помазанника божия, и в его самодержавно-неограниченные права, купец тем не менее с невероятной стремительностью, не по дням, а по часам, самым фактом своего бытия вырывал из глубины верноподданных сердец все почтение, внушаемое исконным таинством помазания. Слишком явно, на глазах у всех происходило оттирание стародворянских доблестей и феодального герба тучной купеческой мошной. «Мануфактур-коммерция забивает дворянство». Эта мысль подсказывалась всем и каждому не только живыми уроками Великой французской революции, но и наступательными действиями наших собственных Кит-Китычей. Уже в конце XVIII века расшатанное внешними и внутренними осложнениями крепостное хозяйство целиком захвачено было купеческим духом. Сближение с капиталистической Европой придавало всему крепостному укладу черты приобретательского хозяйства. Под давлением лондонского хлебного рынка товарно-денежные отношения проникли во все решительно поры феодального строя. В погоне за излишками и доходностью самым заядлым крепостникам пришлось волей-неволей

Ярем от барщины старинной
Оброком легким заменить.

Посаженный на оброк крепостной в силу лютой необходимости потянулся к торговле и промыслам, если нельзя было попасть на завод. Вкусив от чаши капиталистической наживы, «крещеная собственность» мгновенно ощутила в своих руках средство избавления от своего смертельного врага — помещика. Последний, в свою очередь, подпав под власть капитала, пошел без оглядки по пути буржуазного перерождения. Из рядов расслоившегося дворянства выделились предприимчивые дельцы, люди, у которых тяга к деньгам и роскоши соединялась с величайшей организаторской энергией, люди со страстной радостью риска, положившие начало новой династии помещиков-фабрикантов, заводчиков, дворян-торговцев. Жажда наживы и накопле-

ния овладела всеми умами. Сбережение и предприимчивость сделались главными рычагами всей хозяйственной жизни. И старый сословный строй затрещал по всем швам, уступая место купечески-классовому обществу.

В первой четверти XIX века процесс классового перерождения феодальной России еще далеко не закончился. За отсутствием точной статистики, выраженной в убедительных цифрах, трудно сказать, в какой мере дворянство пробавлялось ссудами капитала. Но во всяком случае купеческое сословие успело настолько захватить в свои руки бразды экономической жизни, что «количество» начинало переходить в «качество». Купцу становилось тесно в рабовладельческих рамках патриархального быта, и со стороны торгового люда то тут, то там раздавалось сердитое кряхтенье. Вот что писал, например, по этому поводу Александр I московскому главнокомандующему:

«До моего сведения дошло, что в Москве между торговцами носятся весьма нелепые о правительстве слухи. Утверждаемо было, между прочим, будто в совете, в моем присутствии, сделано мне от всяких членов оного сильное представление о бедствиях, грозящих России от настоящей политической системы, и что представление сие вынужден был я принять и с ним согласиться» [1]).

Конечно, правительство хорошо понимало, что само по себе купечество и в помыслах не имело колебать существующий порядок. Тем более, что расправиться с ним было гораздо легче, чем с возмущением гвардейского офицерства. Но за спиною купечества (вчерашнего крепостного) Бенкендорфу мерещилась исполинская тень мужика — вечное пугало помещика. Не страшный сам по себе купец мог явиться неслыханно-страшной связью между бесчинствующим офицером и бунтующим мужиком. И это тревожное опасение и заставило Бенкендорфа с такой настойчивостью допытаться, были ли у декабристов политические связи с купечеством и кого именно из купцов они старались завлечь в свои ряды.

Ответ Рылеева был краток и ясен:

«Да. При от'езде М. Муравьева отсюда я точно говорил ему, что буду стараться принять в члены общества некоторых из здешнего купечества. Этого желал я с одобрением Северной Думы с тою целью, чтобы иметь членов и в этом сословии. Надеялся достигнуть сего через барона Штейнгеля; об чем я говорил ему; но он решительно отвечал, что это дело невозможное, что наши купцы невежды. Сим кончилось мое покушение [2]).

В этом ответе Рылеева с убийственной оголенностью проявилась вся «уступчивая» природа и политическое младенчество северных декабристов. По смыслу конституции, выработанной Северным тайным обществом, купечеству все-таки отводилось кое-какое место в новоустроенном русском государстве.

---

[1]) Цитир. по книге М. Балабанова, «История революц. движ. в России», стр. 20.

[2]) Центрархив, «Восстание декабристов», т. I, стр. 179.

От имени всеповелительной Северной Думы Рылееву дано было предписание вступить в сношение с петербургским купечеством для привлечения последнего в члены тайного общества. Рылеев сам — один из главарей Северной Думы и в теории горячий поборник этой смычки. Но достаточно было заявления барона Штейнгеля, что «наши купцы невежды», чтобы Рылеев торопливо отказался от своей миссии и предоставил революционной розе разыгрываться с помощью одного «благородного» сословия. Чем об'ясняется эта поспешная уступчивость? Тем простым обстоятельством, что весь вопрос о купцах оказался внезапно всплывшим порывом в сердцах отдельных энтузиастов. В качестве тайных заговорщиков, влюбленных в принципы 89 года, северные декабристы не скупились на проявление революционного пафоса. Но на практике их расточительному энтузиазму был положен очень твердый предел. Сказать вернее, они меньше всего думали о том, как победоносно бороться за свои планы; и как только речь заходила о практических действиях, пламенные Манфреды в красном плаще сбрасывали с себя великолепные мантии и из-под блестящих революционных плюмажей высовывалась родовитая дворянская голова, полная почтительной приверженности к престолу и холодного недоверия к людям плебейской крови.

Я этим вовсе не имею в виду опорочить значение «пушечного грома, раздавшегося на Сенатской площади». Кто осмелится отрицать, что во всенародно заявленном протесте Северных декабристов на-лицо имеются самые подлинные признаки революционного подвига и что своей героической гибелью люди 14 декабря «указали путь будущим поколениям». Нельзя, однако, отрицать и того, что в революционном энтузиазме героев декабрьского восстания было слишком много аристократической спеси. Вся революция рисовалась им не иначе, как в виде знатной черноокой красавицы на чистокровном скакуне из дворцовых конюшен. Рылеев сообщил необузданную смелость своей революционной мечте; а Муравьевы и Штейнгели вносили реалистические поправки в молниеносные чувства поэта, стремившегося к ниспровержению феодального порядка вещей. Поэтическая фантазия Рылеева томилась по братству и справедливости и полна была филантропического мягкосердечия к мужику. А конституция Никиты Муравьева, после целого ряда либеральных поправок, отдавала всю политическую власть в руки дворянства, исключала всякую мысль о местном самоуправлении и во главе уездов ставила народных «избранников», так называемых «тысяцких», в число которых могло быть избрано любое лицо без ограничения сословий, но обязательно обладающее имуществом... на шестьдесят тысяч рублей! Эти уполномоченные от «народа» с шестидесятитысячным цензом являлись единственной властью на местах, наделенной неограниченными правами. Зато крепостное право об'являлось несуществующим, и всем мужикам представлялась полная воля — без надельной земли (или с самым ничтожным нищенским наделом). В отличие от всех прочих «граждан» русского государства, т.-е. в отличие от дворян и купцов, «освобожденные» мужики обязаны были весь век именоваться

бывшими крепостными. Впрочем, их гражданскому самосознанию предоставлено было большое удовлетворение в виде одного из пунктов муравьевской конституции, гласившего, что гражданином может стать всякий, обладающий капиталом в тысячу рублей серебром. Что касается купеческого сословия, то при всей сословной терпимости Никиты Муравьева Бенкендорфу нечего было проявлять такое тревожное смятение: Северная Дума далека была от готовности поделиться властью с купцом. Правда, филантропическое сердце Рылеева требовало подобного дележа. Но у барона Штейнгеля были на этот счет другие взгляды. А мнение барона Штейнгеля в этом вопросе пользовалось особенным весом, так как мать его была дочерью известного пермского купца Разумова и принесла с собою в приданое капитан-исправнику Штейнгелю большие капиталы и кучу родственников купеческого звания. Не участвуя в составлении муравьевской конституции, барон Штейнгель был тем не менее одним из виднейших представителей Северного тайного общества. Умный, начитанный и образованный, он нередко выступал в качестве гуманного публициста, восставая против ужасов рабовладельчества, наказания кнутом и т. п. Он был очень дружен с Бестужевым, Ермоловым, Рылеевым и пользовался репутацией одного из самых трезвых политиков среди декабристов. Противник решительных выступлений, подобно большинству членов Северного общества, он в самом декабрьском восстании не принимал никакого участия. Но когда Рылеев с Бестужевым отправились на Сенатскую площадь, Штейнгель, сидя у себя в кабинете, принялся составлять манифест от имени сената к народу и приказ к войскам и не скрыл этого обстоятельства на допросе от следственной комиссии.

Настроение барона Штейнгеля является типичным для огромного большинства северных декабристов. Они мечтали о революции с помощью бумажных приказов, без пролития крови и без значительных перемен. Нет ничего удивительного поэтому, что избранный диктатором князь Трубецкой вовсе не явился на Сенатскую площадь; что Рылеев потерял несколько часов в поисках Трубецкого, а другие ответственные руководители восстания — в поисках Рылеева; что Батенков весь день носился по городу, разыскивая какую-то мифическую батарею; что Якубович не привел своей роты и только в последнюю минуту присоединился к роте Бестужева, а большинство офицеров трусливо попрятались по квартирам в ожидании исхода; что из трех «обреченных», возложивших на себя обязанность цареубийства, один Каховский явился на Сенатскую площадь; что когда Кюхельбекер прицелился в великого князя Михаила, то у него выбили револьвер из рук; что Милорадович переметнулся на сторону Николая, Ростовцев помчался к царю с доносом накануне восстания, а один из членов тайного общества руководил расстрелом восставших частей. Было бы, конечно, ошибочно утверждать, как это делают некоторые историки, будто бы восстание на Сенатской площади было неудачной попыткой дворцового переворота. Дворцовые перевороты не совершаются всенародно, при стечении многочисленных толп и под грохот орудий. Но вряд ли более убедительной является

гипотеза Плеханова, склонного смотреть на восстание 14 декабря, как грандиозное самопожертвование заговорщиков, решивших своей трагической гибелью пробудить «спящих россиян».

«Смотря на события 14 декабря, как на *сражение* между сторонниками самодержавия и сторонниками политической свободы, — говорит Плеханов, — мы не можем не видеть *непоследовательности и нецелесообразности в действиях заговорщиков*. Если же мы взглянем на то же событие, как на *военную манифестацию*, предпринятую людьми, неуспевшими и приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своею гибелью показать путь грядущим поколениям, то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий *очень просто об'яснится нежеланием усилить кровопролитие и увеличивать число жертв*» [1]).

По скольку дело идет о таких неукротимых фанатиках революционной мечты, как Рылеев, Бестужевы и Одоевский, трагическое толкование Плеханова может быть и должно быть принято без всяких оговорок. По свидетельству Николая Бестужева Рылеев именно так и смотрел на восстание, как на роковую, но чреватую великими последствиями неизбежность. Встретясь с Бестужевым на Сенатской площади, он подошел к нему и сказал восторженным голосом:

«Предсказание наше сбывается. Последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы. Мы дышим ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою» [2]).

И приветствовал Бестужева «первый целованием свободы».

Этим героическим настроением были безусловны охвачены перед лицом неизбежной гибели и Рылеев, и братья Бестужевы, и Каховский. Отрицать это невозможно. Но не следует забывать, что только в последнюю минуту, когда карты были раскрыты и началась всеобщая паника, у вдохновителей восстания родился этот героизм отчаяния. Узнав о предательстве Ростовцева, отвезшего Николаю списки всех заговорщиков, Николай Бестужев сказал Рылееву: «Лучше быть взятыми на площади, чем в постели». На что Рылеев тут же ответил: «Судьба наша решена... Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется». И само собою понятно, раз списки попали в руки Николая, то, конечно, отказываться от восстания было бы совершенно бессмысленно. Ведь судьба заговорщиков все равно была решена. И Бестужевы и Рылеев явились на Сенатскую площадь, предвидя, что успеха не будет и что их ждет неминуемая гибель. Но это вовсе не значило, что они отказываются от смертельной борьбы из боязни «усилить кровопролитие и увеличить число жертв». Если бы это было так, они не стали бы упрекать в трусости товарищей, отказавшихся притти на площадь (как это сделал Бестужев по адресу Якубовича и других); они не привели бы с собою солдат, не стреляли бы в Милорадовича и Сухозанета, не отвечали

---

[1]) Г. В. Плеханов, 14-е декабря 1825 года.

[2]) Н. Бестужев, Записки.

бы залпами на кавалерийскую атаку преображенцев, не пытались бы, рассеянные картечью, снова построиться позади площади на реке и т. д. и т. д. Почти все декабристы пришли на Сенатскую площадь не с целью самоубийства или «военной манифестации», как утверждает Плеханов, а в полной уверенности, что большинство гвардейского офицерства будет на стороне восставших. И действительно, вначале численный перевес был на стороне заговорщиков. Но лишенные руководства и плана, декабристы бессмысленно топтались на месте, прозябли, изголодались и дали Николаю возможность организоваться, взять в свои руки инициативу и перетянуть на свою сторону колеблющиеся части. Этим судьба восстания была решена. Ибо на Сенатской площади происходило не восстание народа и войск, а восстание офицеров, не революция, а военный мятеж. При чем мятежные офицеры, затеявшие государственный переворот в заговорщических кружках, прилагали все усилия, чтобы устранить от участия в перевороте народные массы. Солдаты были втянуты в дело только как пушечное мясо, обязанное слепо повиноваться своим командирам. И это в то время, когда в рядах мятежных солдат находились такие отважные революционеры, как рядовой Поветкин, унтер-офицер Луцкий, унтер-офицер Шутов, героическую выдержку которых вынуждена была признать даже следственная комиссия. Густые толпы народа, покрывавшие соседние улицы, всячески выражали свое желание примкнуть к восставшим. Достаточно было повести эти массы на арсенал и дать им ружья и сабли, чтобы офицерский мятеж превратился в восстание народа. Но этого мятежные сторонники Константина боялись не меньше, чем приверженцы Николая. Дух муравьевской конституции витал над Сенатской площадью, и бунтующее дворянство, находясь бок-о-бок с взволнованной толпой, устами Батенкова выражало во всеуслышание опасение, как бы бунт «не сообщился черни». Вмешательство вооруженного народа могло бы спутать все карты восставшего дворянства, которое в конечном счете добивалось только простой перетасовки имен, только более гуманных и дальновидных правителей, но из того же дворянского сословия. По откровенному смыслу муравьевской конституции система власти оставалась та же, лишь с либеральными дворянами и добрым царем во главе. Вот почему так скоро удалось Николаю столковаться со своими смертельными врагами. Вот почему так легко удалось ему растрогать и добиться умиленного покаяния не только от Трубецкого, но даже от Каховского и Рылеева. Здесь дело не столько в иезуитских талантах Николая, на которые так любят ссылаться в оправдание Рылеева, сколько в однородной природе спорщиков 14 декабря 1825 г. спор между Фамусовым и Чацким был вынесен из великосветских гостиных на Сенатскую площадь. И в самую решительную минуту у либерального Чацкого нехватило решительности отказаться от идеологии Скалозуба, недостало мужества обратиться за помощью к народу. И судьба либерального дворянства была решена.

2.

Южное тайное общество.

Далеко не все мятежники, носящие теперь общее название декабристов, принадлежали к сторонникам кулацко-дворянской конституции Никиты Муравьева. Даже среди северных декабристов было немало членов, которые придерживались более демократических взглядов. Они настаивали о более высоком наделе освобожденных крестьян, требовали равенства всех граждан, склонны были к республиканскому образу правления. Но вопрос об избирательных правах населения и будущем государственном устройстве откладывался северными декабристами до созыва учредительного собрания. Своей основной задачей члены Северного общества ставили себе совершение государственного переворота. Дальнейшая выработка политической программы рисовалась по-разному северянам. Но все они были твердо уверены, что только военное восстание в силах осуществить замышляемый переворот. Это была полоса, когда вся Южная Европа была наполнена стуком военного оружия, ниспровергавшего царство за царством, трон за троном: в Италии, в Испании, в Португалии... Декабристы горячо аплодировали каждому новому восстанию. Особенно захватила их испанская революция — со знаменитым, рыцарски-мужественным вождем этого движения Риэго. Имя последнего стало революционным кличем в устах декабристов. Всякая вспышка бунтарского пафоса неизменно заканчивалась и в прозе и в поэзии восхвалением испанского героя. Бестужев-Марлинский воспевал «стальные грамоты, с убийственным спокойствием продиктованные бесстрашным Риэго испанскому Фердинанду». В стихотворениях Рылеева имя Риэго фигурирует, как символ величайшего благородства и мерило наивысших гражданских доблестей. Скорбя о постыдной праздности своего поколения, поэт заканчивает свое известное стихотворение «Гражданин» такой патетической угрозой:

Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека; —
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в об'ятьях праздной неги,
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги.

Один из декабристов-моряков, Беляев 1-й (Александр Петрович) говорит, между прочим, в своих воспоминаниях:

«Революция в Испании с Риэго во главе, исторгнувшая прежнюю конституцию у испанского короля Фердинанда, приводила в восторг таких горячих энтузиастов, каким были мы и другие, безотчетно следовавшие за потоком».

Под этим потоком Беляев и разумеет волну военных восстаний, прокатившихся по Европе и создавших военной революции репутацию самой бескровной и наиболее организованной. Опыт Южной Европы внушил декабристам уверенность, что только в том случае переворот увенчается успехом и произойдет без болезненных потрясений, если восстание будет носить исключительно военный характер — без участия народных масс. Мнение это было господствующим среди декабристов и отчетливо сформулировано Бестужевым-Рюминым:

«Наша революция, — говорил он, — будет подобной революции испанской; она не будет стоить н и о д н о й к а п л и к р о в и, ибо произведется одною армией, б е з у ч а с т и я н а р о д а».

Бестужев-Рюмин был одним из вдохновителей и вождей — Южного общества, действовавшего на территории трех губерний — Киевской, Подольской и Волынской, где расквартированы были тогда наши главные военные силы. Южное общество распадалось на две управы, из коих одна находилась в Тульчине, под главным управлением Пестеля, а другая — в Василькове с Сергеем Муравьевым во главе. Пестель, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин — три прославленных героя Южного общества, заплатившие смертью на виселице за свои республиканские убеждения. Если мозгом и волей этого общества был Пестель, то средоточием всех пылких настроений южан и их геройского энтузиазма были Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин. В руках двух последних находилась вся васильковская управа. Это были восторженные романтики с глазами, мечтательно устремленными к солнцу свободы. Оба с ликованием приветствовали испанскую революцию и со священной серьезностью произносили имя Риэго. Но под революционной напыщенностью они скрывали глубоко затаенное недоверие к демократической массе. Обоим нравилась роль калифа Гарун-аль-Рашида из сказок Шехеразады, который время от времени выходил из пышного паланкина, несомого двенадцатью рабами, и, переодевшись простым бедуином, странствовал по Багдаду среди своих подданных и осыпал их щедрыми милостями В качестве батальонного командира в черниговском полку С. Муравьев-Апостол с великодушием щедрого калифа интересовался жизнью и довольствием своих солдат, поражая последних своею приветливой обходительностью. Он даже передал в их руки все батальонное хозяйство. Но дальше такой командирской гуманности его близость с солдатами не простиралась. О политической агитации среди солдат не могло быть и речи, ибо и Муравьев и Бестужев-Рюмин, равно, как и все другие южные декабристы, были твердо убеждены, что наивысшей гражданской добродетелью солдата является беспрекословное подчинение милостивому и попечительному начальству. Для укрепления этих либерально-воинских добродетелей и сочинен был Муравьевым-Апостолом его знаменитый «Православный катехизис», где необходимость повиновения добрым начальникам и низложения злых и жестоких доказывалась ссылками на священное писание. Вот основное ядро муравьевского «катехизиса»:

Вопрос. Должно ли повиноваться царям, когда они поступают опреки воле божией?

Ответ. Нет! Христос сказал: не можете богу работать и мамоне.

Вопрос. Каким же образом ополчиться всем чистым сердцем?

Ответ. Взять оружие и следовать за глаголющим во имя господне...»

Значительно крупнее и революционнее яркая фигура вождя тульчинской управы — Павла Пестеля. Это был человек большого ума и широкой образованности. Пылкий оратор и убежденный республиканец, он владел хорошо продуманным планом действий и не страшился решительных мер. Ему чужда была расплывчатая уступчивость северных мечтателей. Его программа носила террористический характер. Свои планы он строил не на религии, как Муравьев-Апостол, а на революционной диктатуре. Вооруженной рукой Южное общество сбрасывает царскую власть, истребляет всю царскую фамилию и, не обращаясь к содействию Земского Собора, т.-е. учредительного собрания, только с помощью имеющихся в наличности тайных кружков производит все нужные реформы. Для управления страной создается немедленно после захвата власти Временное Верховное Правление, составленное из членов Южного общества. Наделенное диктаторскими полномочиями это правление остается у власти столько времени, сколько понадобится для осуществления всех преобразований, изложенных Пестелем в специально написанном им для этой цели наказе — «Русская Правда». Наказ проникнут республикански-демократическим духом и выдвигает в первую очередь вопрос о земле, сформулированный Пестелем в таких решительных выражениях:

«Необходимо отдать землю крестьянам, и только тогда цель революции будет достигнута» [1]).

Земельная программа Пестеля представляет собою одну из самых смелых революционных попыток дворянской мысли в области аграрной реформы. Перед автором «Русской Правды» носился несколько смутный план национализации земли. По этому плану (впоследствии несколько измененному) все крупные помещичьи земли (свыше 5.000 десятин) бесплатно, а поместья меньших размеров за выкуп отбираются у владельцев и поступают в распоряжение государства для образования земельного фонда, в состав которого должна была войти половина всех земель, находившихся в государстве. Другая же половина земель должна была поступить в распоряжение волостей для раздачи в безвозмездное пользование (но не в собственность) крестьянам. Что касается казенного земельного фонда, то он предназначался для создания крупно-капиталистических хозяйств путем отдачи в аренду или продажи в собственность больших земельных участков.

Таким образом в отличие от конституции Никиты Муравьева, принятой северянами, «Русская Правда» Пестеля открыто отстаивала не столько привилегии дворянства, сколько интересы трудового крестьянского хозяйства и капиталистического земледелия. Чем же об'яснить, что эта программа насчитывала среди своих приверженцев такое количество крупных поме-

---

[1]) Пестель, «Русская Правда».

щиков и высокопоставленных дворян? Нет сомнения, что в данном случае успокоительное действие оказывало на южных декабристов, группировавшихся вокруг васильковской и тульчинской управы, то обстоятельство, что после произведенного переворота вся власть должна была по-прежнему оставаться в руках дворянства. Сознание, что Временное Правление будет состоять только из членов Южного общества и все намеченные преобразования будут осуществляться на деле лишь их руками, обезвреживало в их глазах конфискационно-террористические замыслы Пестеля. Соображение это подтверждается тем неопровержимым доказательством, что ни один из свободолюбивейших южных декабристов не только не отпустил своих крепостных мужиков на волю, но и не сделал ни малейшей попытки в этом направлении. За исключением чудаковатого князя Шаховского, понизившего оброк для ничтожной группы своих крестьян, да еще Лунина, составившего завещание, по которому наследникам его предписывалось в течение пяти лет после его смерти освободить на волю крестьян без надела. Что же касается самого Пестеля, то его сокрушительная земельная политика, быть может, станет понятнее, если мы вспомним, что он вообще не владел крепостными и принадлежал к одному из самых захудалых дворянских родов (хотя и занимал очень видные посты). Зато в вопросах революционной тактики Пестель всецело оставался на точке зрения Бестужева-Рюмина и прочих южан. Цареубийственные планы с гильотинами, равенством и национализацией земли не помешали ему отстаивать чисто офицерскую революцию — без всякого участия солдат и народа. И в той офицерско-дворянской диктатуре, которую под именем Верховного Правления с такой горячностью защищает Пестель (по мнению Пестеля, диктаторские полномочия должны были продолжаться никак не менее десяти лет), ясно чувствуется самоуверенный голос сословия, считавшего себя единственным вершителем судеб России. Во всяком случае Пестелю и в голову не приходило активно привлечь к участию в перевороте солдатскую массу.

А между тем на той самой территории, где действовали родовитые и чиновные члены Южного общества, шла незаметно подпольная работа, которую вела среди солдат Черниговского полка группа невидных офицеров, давно об'единившихся в тайное «Общество Соединенных Славян». Это были стойкие, мужественные революционеры, впоследствии влившиеся в Южное общество под именем третьей управы и давшие из своей среды самых смелых и благородных мучеников-декабристов.

3.

Общество Соединенных Славян.

Это был в полном смысле слова рыцарский орден, своей пламенной восторженностью превосходивший все другие тайные общества дворян. Самое вступление в орден обставлялось известной революционной торжественностью, которая завершалась клятвою на мече:

«Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий, пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть сие оружие обратится острием в сердце мое».

Преданность делу революции члены «Общества Соединенных Славян» оправдали самым решительным образом. Все они доказали на деле, что умеют не только клясться и говорить, но и действовать со всей революционной последовательностью. С изумлением смотрим мы на этих «богатырей, кованных из чистой стали с головы до ног, воинов-подвижников, вышедших сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» [1]). Даже сейчас, отброшенные на столетие назад, их исполинские фигуры не утратили своего героического величия, но еще выросли сильнее.

Хотя основателями «Общества Соединённых Славян» были братья Борисовы и Горбачевский, положившие начало Обществу в 1823 г. в Новоград-Волынске, но их нельзя считать главарями. Главарей вообще не было. Все члены «Соединенных Славян» навербованы были из молодого пехотного офицерства, весьма незаметного по своему служебному рангу, но уже с некоторыми революционными заслугами в прошлом. Правда, об этом последнем обстоятельстве можно только догадываться. Но в пользу такого предположения говорит то обстоятельство, что почти все члены «Общества Соединенных Славян» служили раньше в Семеновском полку в Петербурге. Это тот самый полк, в котором в октябре 1820 года произошли первые солдатские беспорядки в России. Произведенным дознанием не было доказано участие офицеров в бунте семеновцев. Тем не менее весь полк был раскассирован: солдаты разосланы по армейским полкам Сибири и Кавказа, а офицеры — в полки Подольской, Волынской и Киевской губерний. И, кажется, не напрасно. Ибо через несколько дней после бунта семеновцев во дворе преображенских казарм были найдены прокламации, призывавшие к восстанию и к расправе с дворянами и царем. Вот дословное содержание одной из прокламаций:

«Дворяне давно уже изнуряют Россию через общее наше слепое к ним повиновение. Люди всякого сословия подавлены дворянами. Если рассмотрите дела своего царя, то совершенно не вытерпите, чтобы публично не наказать его. Бесчестно российскому войску содержать государя-тирана. Вы защищаете отечество от неприятелей, а когда неприятели нашлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то безотменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу. И вместо сих злодеев определить законоуправителя, который и должен отдавать ответ во всех делах избранным от войска депутатам».

Вряд ли можно допустить, что прокламация эта исходила из солдатской среды. К тому же нет ни малейшего сомнения, что неизвестному автору этой прокламации были хорошо знакомы все те взгляды, которые впоследствии были положены в основу политической программы Славян.

---

[1]) Герцен.

В отличие от Южного общества последние горячо и убежденно подчеркивали свое стремление опереться на массы. В сущности ни Северяне, ни Южане не отказывались от пропаганды своих воззрений; но они вербовали союзников только в своей дворянской среде. Тогда как Обществом Соединенных Славян был брошен категорический лозунг:

«Никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации».

Отсюда резкое различие в тактике Южан и Славян. Для первых вся их политическая оппозиция и весь их энтузиазм не простирались дальше великосветских салонов. Революция понималась ими как заговор на верхах, как борьба с карманными пистолетами. В представлении огромного большинства декабристов все дело сводилось к тому, чтобы захватить врасплох Александра и воскликнуть патетическим голосом:

«Государь! вы — наш пленник. Мы пришли с сильной стражей и всякое сопротивление бесполезно».

Но романтический ореол революции мгновенно тускнел в их глазах, как только революции угрожала опасность превратиться в «буйство черни».

Славяне исходили из совершенно противоположных взглядов, выраженных в следующей форме Горбачевским:

«Хоть военные революции быстрее достигают цели, но следствия их опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются».

Само собой понятно, что это различие во взглядах и действиях теснейшим образом связано с различием классовых группировок, к которым принадлежали члены Южного общества и члены Общества Соединенных Славян. Эту связь классовых группировок с воззрениями и тактикой декабристов прекрасно устанавливает сам Горбачевский в своих записках:

«Члены Южного общества, — говорит он, — действовали большей частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием для вступления в общество; они думали произвести переворот одною военной силой без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом, а последних — или теми же средствами, или деньгами и угрозами. Сверх того, так как члены Южного общества были большей частью люди зрелого возраста, занимавшие значущие места, имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равному себе, и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии. Славяне же были проникнуты обширностью своего плана и для приведения его в исполнение считали необходимым содействие всех сословий; в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно; собственным же положением своим убеждались, что частная воля, частное желание ничтожно без сего всемощного двигателя в политическом мире».

«Всемощное содействие масс» — вот политическая платформа Славян, которая проводилась ими с величайшим одушевлением и настойчивостью. Они вели беспрерывную агитацию среди солдат и офицеров Черниговского полка и, не прибегая к лукаво-лицемерным приемам муравьевского «катихизиса», в открытой форме говорили солдатам и о целях восстания и о тех практических выгодах, которые несет с собою переворот и армии и крестьянам. Ни народ, ни солдаты не были для них простыми статистами, которых вели на площадь для устрашения противника и расстрела. Они знали, что победы нельзя достигнуть без заинтересованности масс, и потому, прежде чем поднять восстание, решили выпустить манифест к народу об освобождении крестьян. Не дожидаясь, однако, революции и без ссылок на христианское милосердие, Славяне освободили своих крестьян от крепостной зависимости и предоставили им всю свою землю в полное и безвозмездное пользование. Так поступил Горбачевский, склонивший к тому же отца и брата. Все остальные Славяне, не имевшие крепостных, обложили себя добровольным налогом для выкупа крепостных от других владельцев. Но с наибольшей мощью развернулся их революционный стоицизм в той героической драме, которая называется возмущением Черниговского полка.

Кроме вышеупомянутых братьев Борисовых и Горбачевского в состав Общества Соединенных Славян входили офицеры: Кузьмин, Щепилло, Сухинов, Мозалевский, Веньямин Соловьев и некоторые другие. Почти все они служили в Черниговском полку под командой Сергея Муравьева-Апостола и пользовались огромным влиянием среди солдат. Солдаты знали от них, что готовится восстание, срок которого не был известен. В действительности предполагалось, по плану Пестеля, приурочить восстание к лету 1826 года. К этому времени ожидался приезд царя в Южную армию. Переворот должен был совершиться при участии Вятского полка, которым командовал Пестель. Но вскоре Пестелю сделалось известным, что царь предупрежден о готовящихся событиях и что главным зачинщикам грозит арест. За день до восстания в Петербурге Пестель был арестован, и это заставило Южан ускорить развязку. 23 декабря они получили сведения о разгроме Северного общества, и в то же самое время командир Черниговского полка Гебель получил предписание из Петербурга об аресте Сергея Муравьева-Апостола и его брата Матвея. Но братья Муравьевы находились случайно в Киеве, и появление у них на квартире в Василькове полковника Гебеля с жандармами всполошило Южан. Немедленно несколько офицеров помчались с предупреждением к Муравьеву, который, впрочем, знал уже о разгроме восстания в Петербурге и о готовящемся аресте. Желая спасти положение, он решил поднять немедленное восстание на юге и с этой целью бросился в местечко Трилесы, где был расквартирован Черниговский полк. Но в Трилесах его уже дожидался полковник Гебель с жандармами и засадил его под домашний арест. В ту же ночь по вызову С. Муравьева в Трилесы прибыли четыре офицера из Общества Соединенных Славян — Щепилло, Кузьмин, Сухинов и Соловьев, которые избили до полусмерти полковника Гебеля и освободили обоих Муравьевых из-под ареста. Четыре роты под

командой вышеназванных четырех офицеров без колебаний исполнили приказание С. Муравьева двинуться к Василькову. Против мятежников были выставлены стрелковые части, которые все перешли на сторону Муравьева. В Василькове к мятежникам присоединилось еще несколько частей. Утром 31 декабря 1825 г. С. Муравьев-Апостол собрал все свои войска на площади в Василькове и заставил полкового священника Кейзера прочитать восставшим войскам свой «Православный катехизис». Потом сам об'яснил солдатам цель восстания и предложил колеблющимся уйти. Но желающих покинуть ряды не нашлось. Огромное впечатление произвело на восставшие войска появление младшего брата Муравьева, Ипполита, который в это утро приехал из Петербурга и передал войскам просьбу северных декабристов оказать им поддержку. Тут же на площади перед войсками 19-летний Ипполит Муравьев об'явил о своем вступлении в Общество Соединенных Славян, и, обменявшись оружием с Кузьминым, произнес вместе с ним торжественную клятву на мечах.

Подобно северным декабристам, С. Муравьев-Апостол, начиная восстание, не имел определенного плана действий. Это сейчас же и сказалось при выступлении из Василькова. Не теряя надежду на поддержку других полков, Муравьев сперва решил итти по направлению к Житомиру для соединения с 8-й артиллерийской бригадой , в составе которой находилось много Южан. Но по дороге почему-то изменил свой маршрут и приказал итти в дер. Мотовиловку, где и остановился на дневку в виду нового года. Ободренный сочувственным отношением крестьян, Муравьев на следующее утро двинулся к Белой-Церкви. По дороге выяснилось, что против восставших двинуты огромные силы. Недалеко от дер. Устимовки отряд Муравьева настигли царские войска и начали осыпать восставших картечью. В распоряжении С. Муравьева было 970 солдат с кучкой отважных офицеров. Видя всю безнадежность положения, Муравьев выступил вперед и замахал белым платком, давая знать артиллерии, что отряд сдается. В это мгновенье Муравьева задело осколком в голову. Юный Ипполит Муравьев, видя, что брат упал, обливаясь кровью, пустил себе пулю в лоб. Вслед за этим пуля сразила офицера Щепилло. Отряд был немедленно окружен и обезоружен. Офицеров отвезли в Трилесы и заперли в корчме. Здесь раненый в плечо Кузьмин подполз к братьям Муравьевым — Сергею и Матвею, простился с ними рукопожатием «тайных друзей» и, произнеся вслух клятву «Свобода или смерть», застрелился из пистолета.

4.

Судьба декабристов.

Всех арестованных Южан отвезли в Петербург и судили вместе с членами Северного общества. По требованию Николая был составлен «Алфавит лицам, прикосновенным к делу о тайных злоумышленных обществах». В перечень привлеченных к делу включено было 579 человек. Вышедших

из процесса совершенно чистыми от всяких подозрений оказалось 290, т. е. ровно половина (50%). Из остальных 289 человек были признаны виновными и осуждены в той или иной степени 131 человек (46%), 124 человека (или 43%) переведены в другие полки, отданы под надзор полиции или для дальнейшего следствия, 4 человека высланы за границу, судьба 9 человек осталась неопределенной, а 21 человек умерли до или во время следствия. Из упомянутых 131 человек, признанных виновными, 5 (Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол и Пестель) присуждены к четвертованию, но по милости монарха «избавлены от кровопролития» и повешены в ночь на 13 июля 1826 года; к такому же наказанию присуждены три мертвых декабриста — члены Общества Соединенных Славян — Кузьмин, Щепилло и Ипполит Муравьев-Апостол; а чтобы и мертвецам не уйти от карающей десницы царского правосудия, постановлено было: по оглашению приговора, поставя на могиле их вместо крестов виселицы, — прибить на оных имена их к посрамлению вечному»; 31 человек — казни отсечением головы, что заменено было вечной каторгой, 49 человек — сослано на каторгу, 18 — на поселение, 1 — на житье в Сибирь, 1 — в крепостные работы и 15 разжалованию в солдаты[1]). Что касается солдат, принимавших участие в восстании на Сенатской площади и в возмущении Черниговского полка, то огромное большинство их были «пропущены сквозь строй» и затем отправлены в сибирские и кавказские полки... Рядовой Поветкин, унтер-офицер Луцкий, унтер-офицер Шутов и несколько других присуждены были к смертной казни, замененной тысячью шпицрутенов и ссылкой в каторжную работу.

На допросе следственной комиссии Южане проявили гораздо больше достоинства и революционного мужества, нежели члены Северного общества, которые сами духовно разоружили себя своими покаянными заявлениями. Но особенно много самопожертвования и героической стойкости выказали члены Общества Соединенных Славян. С нескрываемой свирепостью обрушилась на них вся злоба и ненависть царского суда. Некоторых из них, а именно офицеров Черниговского полка — Быстрицкого, Сухинова, Мозалевского и Веньямина Соловьева, судили военным судом при первой армии в Могилеве. По лишении чинов и преломлении шпаги над головой они были поставлены под виселицу и приговорены в каторжную работу вечно. Самый отважный из этой группы, сын мелкого чиновника Ив. Ив. Сухинов, человек с редкою силою воли умудрился бежать из-под стражи, но был пойман в Кишиневе и вместе с тремя остальными закован в кандалы и отправлен по этапу в Сибирь. По дороге Быстрицкий заболел, а Мозалевский, Сухинов и Соловьев, измученные, разбитые, страдая от жестоких морозов и метелей, продолжали свой путь до Нерчинска. 16 февраля

---

[1]) Приведенные здесь цифры и некоторые сведения о деятельности членов Общества Соединенных Славян взяты мною из подготовляемых к печати материалов Центрархива, выпускаемых под редакцией М. Покровского, Б. Модзалевского и А. Сиверса.

1828 года они прибыли в Зерентуйские рудники. Все их этапное путешествие продолжалось 1 год 6 месяцев и 11 дней. В мае того же 1828 года неукротимый Сухинов организовал бунт ссыльно-каторжных с целью освобождения и бегства. В заговор были втянуты караульные солдаты и некоторые местные жители. Затея была раскрыта. Вместе с 24 уголовными, участвовавшими в заговоре, Сухинов был присужден военным судом к расстрелу, но 1 декабря 1828 года повесился в камере до приведения в исполнение судебного приговора.

Сухинов — единственный из всех декабристов, в котором дух мятежа не затихал до последней минуты. Этого нельзя сказать о других, которые довольно скоро покорились своей участи и настолько освоились с положением ссыльно-каторжных, что впоследствии не без умиления вспоминали о своем пребывании в тюрьме. Вот что рассказывает, напр., о времени своего заключения на Петровском заводе декабрист А. П. Беляев:

«Здесь были собраны люди действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения, и тут было так много пищи для ума и сердца, что можно сказать, что заключение это было не только отрадно, но и служило истинной школой мудрости и добра. Сколько прекрасных, чистых сердец билось там самой нежной и симпатической дружбой, сколько любви и высоких чувств хранилось в этих стенах острога, чувств, так редко встречавшихся в обществе счастливцев!.. В нашей тюрьме всегда и все были заняты чем-либо полезным, так что эта ссылка наша целым обществом, в среде которого были образованнейшие люди своего времени, при больших средствах, которыми располагали очень многие и которые давали возможность предаваться исключительно умственной жизни, была, так сказать, чудесной школой как в нравственном и умственном, так и в религиозном, философском отношениях. Если бы мне теперь предложили вместо этой ссылки какое-нибудь блестящее в то время положение, то я бы предпочел эту ссылку» [1]).

В этих любопытных и ценных мемуарах А. П. Беляева есть, однако, один существенный недостаток: они носят чересчур формальный характер. Как и записки другого декабриста, Д. И. Завалишина, они сообщают нам, что среди обитателей Петровской тюрьмы было много поэтов, художников, музыкантов, были люди высоко-образованные, искусные спорщики и энтузиасты, жившие напряженной умственной жизнью. Но ни воспоминания Беляева, ни воспоминания Завалишина не дают почти никакого представления о самом образе мыслей декабристов. Мы хорошо теперь понимаем, что в основе декабрьского восстания лежала попытка реорганизации политической власти соответственно новой организации производства, вызвавшей передвижку социальных пластов. В то время по всей крепостной России уже стучали десятки тысяч ткацких станков, перерабатывались сотни тысяч фунтов шерсти и льна. В наемном труде нуждались обширные шелковые и шерстяные мануфактуры, горные шахты и рудники. «Освобо-

[1]) П. М. Голованчев, Декабристы, стр. 67—68.

дение крестьян» подсказывалось помещичьему хозяйству невыгодностью репостного труда и острой потребностью в дешевой наемной силе. Свободолюбие и гуманность оппозиционного дворянина непосредственно вытекали из потребностей новой хозяйственной системы. И хотя члены обоих бществ — Северного и Южного — втайне мечтали по-прежнему оставаться равящим классом и самым построением государственного аппарата (диктатура дворянства) стремились обеспечить за собою господствующую роль, но о существу они прокладывали себе дорогу к созданию капиталистического озяйства.

Восстание 14 декабря и возмущение Черниговского полка это — тот сторический перекресток, на котором сошлись родоначальники всей буржуазно-дворянской интеллигенции. Отсюда ведут свою родословную и будущие славянофилы (Северяне), и поколение Герцена (Южане), и будущие оратники Белинского, Чернышевского и других революционных разночинцев (О-во Соединенных Славян). Здесь на Сенатской площади, на перерестке трех исторических дорог устами Рылеева, Пестеля и других поднявших знамя бунта дворян было во всеуслышание заявлено о крушении феодализма, о замене дворянской идеологии буржуазной. Понимали ли декабристы те идеологические задачи, которые возложила на них история? Проявился ли в чем-нибудь буржуазно-капиталистический дух декабристов ли, очутившись в Сибири, они впали в духовное оцепенение, угасили в себе се предпринимательские (в широком смысле этого слова) наклонности отвернулись от жизни?

К сожалению, ни «Записки» Беляева, ни воспоминания других декабристов не дают на этот счет достаточных указаний. Но существуют другие факты, свидетельствующие о том, что декабристы не только не отстали от жизни, а всюду являлись полезной живой экономической силой и культурными двигателями тех мест, куда их забросила рука Николая, не останавливаясь в некоторых отдельных случаях и перед спекуляциями крупного калибра. Это не должно удивлять. Не только автор «Женитьбы Фигаро», Бомарше, вел рискованную торговлю контрабандным оружием и пускался в опасные денежные авантюры: дух буржуазной революции состоит в очень близких родственных отношениях с духом капиталистической авантюры. Достаточно в данном случае отметить ту коммерческую инициативу и промышленную оборотливость, которую проявили очень многие декабристы по отбытии каторги и с переходом на вольное поселение в Сибири.

Тот самый А. П. Беляев, который на всю жизнь сохранил такие трогательно-светлые воспоминания о Петровской тюрьме и с таким умилением рассказывает о религиозно-философских увлечениях декабристов, по выходе из острога оказался весьма оборотливым купцом. Поселившись в Минусинске, он завел там обширное хозяйство, купил большой дом с постоялым двором для проезжающих, арендовал много земли по 5 копеек с десятины, устроил большую молочную ферму на двести коров, ввел посев гречи, гималайского жита, голландского ячменя и, занявшись доставкой на минусин-

1828 года они прибыли в Зерентуйские рудники. Все их этапное путешествие продолжалось 1 год 6 месяцев и 11 дней. В мае того же 1828 года неукротимый Сухинов организовал бунт ссыльно-каторжных с целью освобождения и бегства. В заговор были втянуты караульные солдаты и некоторые местные жители. Затея была раскрыта. Вместе с 24 уголовными, участвовавшими в заговоре, Сухинов был присужден военным судом к расстрелу, но 1 декабря 1828 года повесился в камере до приведения в исполнение судебного приговора.

Сухинов — единственный из всех декабристов, в котором дух мятежа не затихал до последней минуты. Этого нельзя сказать о других, которые довольно скоро покорились своей участи и настолько освоились с положением ссыльно-каторжных, что впоследствии не без умиления вспоминали о своем пребывании в тюрьме. Вот что рассказывает, напр., о времени своего заключения на Петровском заводе декабрист А. П. Беляев:

«Здесь были собраны люди действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения, и тут было так много пищи для ума и сердца, что можно сказать, что заключение это было не только отрадно, но и служило истинной школой мудрости и добра. Сколько прекрасных, чистых сердец билось там самой нежной и симпатической дружбой, сколько любви и высоких чувств хранилось в этих стенах острога, чувств, так редко встречавшихся в обществе счастливцев!.. В нашей тюрьме всегда и все были заняты чем-либо полезным, так что эта ссылка наша целым обществом, в среде которого были образованнейшие люди своего времени, при больших средствах, которыми располагали очень многие и которые давали возможность предаваться исключительно умственной жизни, была, так сказать, чудесной школой как в нравственном и умственном, так и в религиозном, философском отношениях. Если бы мне теперь предложили вместо этой ссылки какое-нибудь блестящее в то время положение, то я бы предпочел эту ссылку» [1]).

В этих любопытных и ценных мемуарах А. П. Беляева есть, однако, один существенный недостаток: они носят чересчур формальный характер. Как и записки другого декабриста, Д. И. Завалишина, они сообщают нам, что среди обитателей Петровской тюрьмы было много поэтов, художников, музыкантов, были люди высоко-образованные, искусные спорщики и энтузиасты, жившие напряженной умственной жизнью. Но ни воспоминания Беляева, ни воспоминания Завалишина не дают почти никакого представления о самом образе мыслей декабристов. Мы хорошо теперь понимаем, что в основе декабрьского восстания лежала попытка реорганизации политической власти соответственно новой организации производства, вызвавшей передвижку социальных пластов. В то время по всей крепостной России уже стучали десятки тысяч ткацких станков, перерабатывались сотни тысяч фунтов шерсти и льна. В наемном труде нуждались обширные шелковые и шерстяные мануфактуры, горные шахты и рудники. «Освобо-

---

[1]) П. М. Головачев, Декабристы, стр. 67 68.

ждение крестьян» подсказывалось помещичьему хозяйству невыгодностью крепостного труда и острой потребностью в дешевой наемной силе. Свободолюбие и гуманность оппозиционного дворянина непосредственно вытекали из потребностей новой хозяйственной системы. И хотя члены обоих обществ — Северного и Южного — втайне мечтали по-прежнему оставаться правящим классом и самым построением государственного аппарата (диктатура дворянства) стремились обеспечить за собою господствующую роль, но по существу они прокладывали себе дорогу к созданию капиталистического хозяйства.

Восстание 14 декабря и возмущение Черниговского полка это — тот исторический перекресток, на котором сошлись родоначальники всей буржуазно-дворянской интеллигенции. Отсюда ведут свою родословную и будущие славянофилы (Северяне), и поколение Герцена (Южане), и будущие соратники Белинского, Чернышевского и других революционных разночинцев (О-во Соединенных Славян). Здесь на Сенатской площади, на перекрестке трех исторических дорог устами Рылеева, Пестеля и других поднявших знамя бунта дворян было во всеуслышание заявлено о крушении феодализма, о замене дворянской идеологии буржуазной. Понимали ли декабристы те идеологические задачи, которые возложила на них история? Проявился ли в чем-нибудь буржуазно-капиталистический дух декабристов или, очутившись в Сибири, они впали в духовное оцепенение, угасили в себе все предпринимательские (в широком смысле этого слова) наклонности и отвернулись от жизни?

К сожалению, ни «Записки» Беляева, ни воспоминания других декабристов не дают на этот счет достаточных указаний. Но существуют другие факты, свидетельствующие о том, что декабристы не только не отстали от жизни, а всюду являлись полезной живой экономической силой и культурными двигателями тех мест, куда их забросила рука Николая, не останавливаясь в некоторых отдельных случаях и перед спекуляциями крупного калибра. Это не должно удивлять. Не только автор «Женитьбы Фигаро», Бомарше, вел рискованную торговлю контрабандным оружием и пускался в опасные денежные авантюры: дух буржуазной революции состоит в очень близких родственных отношениях с духом капиталистической авантюры. Достаточно в данном случае отметить ту коммерческую инициативу и промышленную оборотливость, которую проявили очень многие декабристы по отбытии каторги и с переходом на вольное поселение в Сибири.

Тот самый А. П. Беляев, который на всю жизнь сохранил такие трогательно-светлые воспоминания о Петровской тюрьме и с таким умилением рассказывает о религиозно-философских увлечениях декабристов, по выходе из острога оказался весьма оборотливым купцом. Поселившись в Минусинске, он завел там обширное хозяйство, купил большой дом с постоялым двором для проезжающих, арендовал много земли по 5 копеек с десятины, устроил большую молочную ферму на двести коров, ввел посев гречи, гималайского жита, голландского ячменя и, занявшись доставкой на минусин-

ские прииски крупы, муки и мяса, скоро сильно разбогател. По возвращении из ссылки в Россию поступил управляющим к Нарышкину и получал 30.000 рублей ежегодного содержания.

М. М. Нарышкин устроил в Кургане конский завод и занимался разведением в Сибири рысистых лошадей.

Матвей Муравьев-Апостол, брат повешенного Сергея Муравьева-Апостола, уже в 1829 году завел на чужое имя мельницу в Бухтарминске, впоследствии купил себе дом, завел обширную пасеку и жил на доходы с мельницы.

А. Крюков переселился в Брюссель, сделался крупным денежным спекулянтом и разорился.

Фон-дер-Бригген — обладатель значительных капиталов, которые он держал в банкирском доме Либно в Гамбурге, а сам выгодно занимался скотоводством в Пелыме.

Член Северного общества М. Глебов, бывший крупный помещик, завел мелочную лавку в Кабанске.

А. И. Якубович, «умышлявший на цареубийство с вызовом на лишение жизни государя», один из трех «обреченных», бреттер и дуэлянт, проведший 5 лет службы на Кавказе в постоянных и отчаянных боевых набегах и подвигах, о которых вспоминали еще в конце 30-х годов, — выйдя на поселение, открыл мыловаренный завод в Малой-Раздольной близ Иркутска и так удачно повел свои дела, что очень скоро разбогател. Своими деловыми способностями обратил на себя внимание енисейских золотопромышленников и был приглашен управляющим за большое жалованье на прииски Мальвинского и Базилевского.

И. И. Горбачевский, знаменитый основатель «Общества Соединенных Славян», друг Мозалевского и Сухинова, автор присяги на мече и пламенных революционных лозунгов, занимался небезвыгодными подрядами в Иркутском округе и исполнением некоторых комиссий по поручению тамошних золотопромышленников.

Фалленберг развел обширные табачные плантации и впоследствии был управляющим у Голенищева-Кутузова.

Поджио проявил необыкновенную предприимчивость в самых различных областях. Начал с разведения арбузов и дынь под Иркутском и кончил участием в золотопромышленной компании. В конце концов понес большие убытки и разорился.

Барон А. Е. Розен, автор обстоятельных записок и ценных воспоминаний, поставил чрезвычайно рациональное хозяйство с усовершенствованными орудиями, мыловаренным заводом, зольным удобрением и пр. и был основателем крестьянского банка.

Декабристами были построены в Сибири заводы сахарные (А. Н. Муравьев), винокуренные (Давыдов), маслобойные (Бесчаснов). Многие сделались превосходными фермерами и вели образцовые, показательные хозяйства (Ник. Крюков, Лунин, Загорецкий, Завалишин, Тизенгаузен и другие). Незначительная часть занялась ремеслом: Громницкий стал слесарем, Мо-

ш — отличным портным, Оболенский — закройщиком и Фролов — золотых ел мастером [1]).

Чисто купеческие наклонности, тяга к промышленной деятельности торговая предприимчивость декабристов проявились также в их теоре-ических работах. Большой интерес в этом смысле представляют проекты екабриста А. О. Корниловича, члены Южного общества, прибывшего в Пе-ербург за несколько дней до восстания на Сенатской площади. Помещик Подольской губернии и автор многих трудов. Любимой темой Корниловича является вопрос о развитии русской промышленности и расширении нашего торгового влияния в Азии. В первую очередь, по его проекту русские то-ары должны наводнять южные и северные области Малой Азии.

«По младенчеству наших мануфактур, — писал Корнилович, — нельзя ожидать этого вдруг; но судя по исполинским успехам нашей промышленности в небольшое число лет и по духу предприимчивости, начинающему оживлять наше купечество, можно почти утвердительно сказать, что благодетельные сии последствия при постоянном поощрении правительства не замедлят появиться».

Ставя усиление нашей промышленности в прямую зависимость от развития торговли, Корнилович предостерегает от поисков рынков на Западе, «ибо, если предположить, что изделия наших фабрик выдержат соперничество с иностранными, то политика европейских держав... будет препятствовать выгодному их сбыту». Поэтому Корнилович настаивает на установлении прямых сообщений между нашими черноморскими гаванями и анатолийским берегом.

«Обладание восточным берегом Черного моря, — поясняет он, — распространение нашей азиатской границы подают нам возможность принять деятельное участие в Левантском торге, который уже три века обогащает западных европейцев, тем более, что главные предметы его, как-то: сукна, шелковые и льняные ткани, металлические изделия и огнестрельное оружие могут производиться у нас в одинаковой доброте и с меньшими издержками, — по изобилию грубых материалов и дешевизне наших работников» [2]).

С неменьшей энергией отстаивает Корнилович необходимость торгового завоевания Хивы, Бухары и Туркестана, при чем развиваемые им планы указывают не только на смелую предприимчивость автора, но и на подчеркнутое развитие капиталистического мышления.

Все рассмотренные нами факты дают нам право расценивать декабрьское восстание дворянства, как неизбежное проявление капиталистического перерождения России.

Декабристы — представители новой исторической полосы, связанной с заменой дворянской идеологии идеологией буржуазной.

---

[1]) Все справки о хозяйственной деятельности декабристов добыты мною из биографических материалов о декабристах, опубликованных М. М. Зензиновым в Москве в 1906 году под общим заглавием «86 портретов».

[2]) Цитир. по работе П. Е. Щеголева «Благоразумные советы из крепости»

Революционные планы и замыслы декабристов представляют собою сочетание отважного предпринимательства с купеческой осторожностью.

Поскольку Россия становилась страной капиталистической, крепостничество мешало помещикам. Отсюда их воинственное свободолюбие.

Декабристы хотели освободить Россию сверху, не разрушая власти помещиков и побуждая их только к «уступкам». Они сами боялись революции, боялись широкого движения масс, грозившего полным свержением помещичьей власти. И это заставило их мечтать о превращении революции в военный взрыв офицерства, заставило их стремиться к завоеванию власти одним ударом.

Такая постановка вопроса выдвинула из среды декабристов кучку могучих энтузиастов, наделенных всеми чертами революционной воинственности, самоотверженного бесстрашия и предпринимательского авантюризма.

Элементы капиталистического духа, заложенные в декабристах, не были сломлены каторгой и определили собою дальнейшее развитие всей их культурно-хозяйственной работы в Сибири.

Нающийся декабрист.

(К биографии основателя Союза Спасения А. Н. Муравьева. По неизданным письмам).

С. Штрайх.

1.

В истории русской культуры училище для колонно-вожатых, основане после Отечественной войны генералом Н. Н. Муравьевым, занимает дное место. В этом училище получили образование и общественную залку многие будущие декабристы, отсюда вышли крупные русские государвенные и общественные деятели. Хотя сам ген. Муравьев был очень далек каких-либо революционных устремлений, хотя весь строй преподавания его школе был строго-официальный и весьма благонамеренный, хотя, накоц, в училище преподавались науки математические и военные, — школа товила офицеров так называемого генерального штаба и в конце концов ла преобразована в академию генерального штаба, — но дух в ней был кой-то особенный, необычный для военных школ того времени. Значее Муравьевской школы в истории руской общественности можно сравнить значением знаменитого пушкинского царскосельского лицея. И в последм был какой-то свой особенный, «лицейский», дух, и в школе колонноожатых был свой, «муравьевский», дух. В обоих определениях ясно обозналось нечто протестующее против казенщины, против схоластики, против ормализма, нечто подрывающее затхлый авторитет властей предержащих.

И даже оппозиционное влияние исходило из военной муравьевской колы в большей степени, чем из лицея, быть может, потому, что самая кола была основана по частному почину, а строй ее складывался в уклоне бщественном. Наконец, преподавала в ней исключительно военная молоежь, та самая молодежь, которая в эпоху наполеоновских войн набралась еволюционных идей и привезла в Россию стремление к преобразованию сударственного строя, к народоправству. Среди преподавателей школы ыли старшие сыновья ее основателя, офицеры и участники наполеоновских ойн, члены возникших после 1812 года тайных обществ, из которых разлся заговор декабристов.

Н. Н. Муравьев имел четырех сыновей. Все они известны в истори русского общества. Самый младший — Андрей Николаевич был религиозе в синодском смысле. Это был ханжа, фарисей и лицемер, это был церко ник-карьерист. Старший его брат — Николай Николаевич Муравьев бы в Отечественную войну офицером, участвовал в разных тайных обществах замышлял даже основать какую-то утопическую республику, но рано отошел от заговора, отдавшись всецело военной деятельности, приобрел впосле ствии репутацию талантливого военноначальника и прославлен в истори русского военного искусства взятием Карса, за что назван Муравьевым Карсским. Старше его был Михаил Николаевич, один из образованнейши и умнейших людей Александровской эпохи, основатель знаменитого матем тического общества при Московском университете, участник тайных общест после Отечественной войны и один из составителей устава Союза Благоде ствия. В начале 20-х годов М. Н. Муравьев отстал от революционного дв жения, но при раскрытии заговора декабристов был привлечен к следстви во время которого проявил большую сдержанность. Он принадлежит к то небольшой группе заговорщиков, которые никого не запутали в дело и дер жали себя перед следствием с большим достоинством. Умудрившись вый сухим из воды, М. Н. Муравьев после нескольких месяцев опалы стал быстр наверстывать упущенное им в служебной карьере, делал ее успешно, ст несколько нечист на руку, за что даже Николай первый не долюбливал ег а при Александре втором заслужил прозвище Муравьева-Вешателя — бесчеловечно жестокое усмирение польского восстания 1863 года.

Старший сын Н. Н. Муравьева — Александр Николаевич был одним и наиболее интересных представителей этой семьи. Это — личность замеча тельная. Большой знаток русской истории XVIII и XIX веков П. И. Бартене считал его натурой сложной и любопытной. В. Г Короленко отметил кру ные человеческие недостатки в его богатой и сложной натуре. А. Н. Му равьев был вместе с П. И. Пестелем учредителем первого тайного обществ в котором развилась идея политического преобразования России, — Союз Спасения. Давнишний масон, он прикрывал масонством собрания тайно общества, был одним из деятельнейших руководителей последнего, участво вал в его совещаниях, устраивал их у себя на дому — между прочим, у нег обсуждался вопрос о цареубийстве, — привлекал в общество новых члено Но — масонский мистицизм разрастался и вытеснил из его головы рево ционные замыслы: задолго до раскрытия заговора А. Н. Муравьев вышел состава тайного общества, отрекся от его идей. К декабрю 1825 года он неслужащим отставным полковником.

Привлеченный к следствию, А. Н. Муравьев представлял императо записки, наполненные самым резким осуждением заговорщиков и их рев люционных замыслов, высказывал в очень сильных выражениях раская в былом своем заблуждении, и дальнейшая участь его была отличной судьбы других членов тайных обществ. В приговоре Верховного Уголовн Суда сказано: «Полковник Александр Муравьев. Участвовал в умысле цар убийства согласием, в 1817 году из'явленным, равно как участвовал и в учр

дении тайного общества, хотя потом от оного совершенно удалился, но шели его правительству не донес». Вследствие этого, суд отнес Муравьева «государственным преступникам 6 разряда, осуждаемым к временной ссылке в каторжную работу на шесть лет, а потом на поселение». Но указом 0 июля 1826 года Николай Павлович повелел «отставного полковника Александра Муравьева, по уважению совершенного и искреннего раскаяния, сослать на житье в Сибирь, не лишая чинов и дворянства».

Вот один из образчиков покаяния А. Н. Муравьева перед следственной комиссией, судившей декабристов: «Луч горней благодати коснулся моей души омраченной; я вдруг увидел бездну, над которой стоял с несчастными сообщниками, и долго, в слезах раскаяния, молил небо простить мне их и мои преступления. Бог услышал грешника; он в течение шести лет испытывал меня тяжкими крестами, смертию детей, страданиями жены, расстройством имущества, наконец, праведным гневом государя и карою закона».

Каялся А. Н. Муравьев усердно и при всяком случае старался показать свои верноподданнические чувства.

2.

Итак, вместо каторги, А. Н. Муравьев был сослан в Сибирь на поселение. Местом для этого ему был назначен Якутск. 10 июля 1826 г. помечен указ об этой ссылке, а 28 августа уже был в Ялуторовске, откуда его отправляли дальше в сопровождении фельд'егеря Махотина. Но до Якутска он не доехал и был возвращен с пути. Это было новое значительное облегчение участи Муравьева, вызванное ходатайством его тещи перед великим князем Михаилом Павловичем. Дело пошло по секретной части главного штаба, начальник которого И. И. Дибич сделал на прошении кн. Шаховской надпись о том, что Муравьеву назначен Верхнеудинск вместо Якутска, если он пожелает.

Муравьев пожелал и, задержавшись в Иркутске, вследствие непроходимости Байкала, послал оттуда 4 декабря 1826 г. письмо Николаю Павловичу с благодарностью за новое благодеяние. Излияния свои он послал через начальника жандармов А. Х. Бенкендорфа, которому писал, что увлечен «чувством глубочайшей всеподданнейшей благодарности», которую он «не в силах далее отлагать», и повергается «к освященным стопам августейшего монарха», а в прилагаемом письме усиливается выразить, сколько он чувствует «незаслуженные и неизреченные благодеяния» государя. Уже тогда Муравьев делает первые шаги к возвращению на службу и просит Бенкендорфа передать письмо Николаю «в собственные руки» как из'явление благодарности, «единственное, к которому дерзаю еще прибегнуть, не имея средства из'явить оную прилежною службою, в которой единой подданный может доказать свою верность, благодарность и любовь к августейшему своему монарху».

Николай Павлович любил такие из'явления верноподданнических чувств; на этом строилась его система государственного управления. Понра-

вилось ему и письмо А. Н. Муравьева, которому Бенкендорф сообщал об этом официальным порядком. Повидимому, под непосредственным впечатлением Николай велел ответить Муравьеву в очень теплых выражениях, но начальник жандармов счел нужным охладить пыл своего повелителя и в письме Муравьеву сообщал, что государю приятно согласовать монаршие обязанности с чувствами своего сердца. При этом Бенкендорф вычеркнул слова об «особом удовольствии императора», о том, что он «весьма доволен, что нашел случай», и т. п.

А Муравьев продолжал долбить царя и его жандармов по самому их чувствительному месту; и прямо, и косвенно, и в письмах к царю или его генералам, и в переписке с родными, которая заведомо для него вскрывалась жандармами.

Наконец, жандармское ведомство умилилось чувствами Муравьева и в октябре 1827 года представило царю доклад о том, что сам Муравьев и его семья в переписке своей прославляют правительство, хотя «сие несчастное семейство» сначала будто бы не знало, что правительство распечатывает его письма, а сам Муравьев умоляет позволить ему служить. Но Николай, повидимому, не был еще достаточно смягчен: на докладе имеется пометка представлявших его о том, что вопрос «повелено оставить впредь до удобного случая». Пламенные чувства Муравьева размягчали сердца всех представителей власти, и «удобный случай» скоро представился.

В пользу Муравьева высказался генерал-губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский, знавший его еще с 1816 года, когда Муравьев служил вместе с Лавинским в Крыму, и согласившийся принять его на службу с обязательством иметь за ним личный надзор. Уже в ноябре 1827 года Лавинский мог об'явить Муравьеву от имени царя «всемилостивейшее снисхождение к раскаянию его и дозволение войти в гражданскую службу в Восточной Сибири, не выезжая из оной». Вместе с тем генерал-губернатор официальной бумагой требовал от А. Н. Муравьева «честного его слова, что он отказывается впредь от всяких сношений и суждений с людьми вредно мыслящими и решительно отдалит от себя все случаи, могущие родить самомалейшую тень сомнения».

Муравьеву это было сообщено 30 ноября 1827 года, и он поспешил все выполнить: дал честное слово, отказался от сношений с вредномыслящими людьми, отдалил от себя «все случаи», а свои бурнопламенные чувства и беспредельный восторг излил в целом ряде писем от 2 декабря 1827 года Из них одно адресовано Николаю Павловичу, а другие Бенкендорфу, представителям правительства, родным и друзьям. Последние — в расчете на прочтение их правительством. Отцу, например, он писал:

«Благодетельные и мудрые поступки августейшего монарха нашего уже и здесь слышны; они должны возбудить всякого верноподданного и сына отечества к деятельному содействию благодетельным намерениям монарха, которые, как видно, с одной стороны, стремятся к искоренению злоупотреблений, распутства и лихоимства. Желательно, чтобы тот свет, который начал освещать столицу, разлился и по всем отдаленным местам великой импе-

и; тогда гнусные лихоимники скоро укроются и сойдут с поприща службы уступят места свои честным и верным подданным государя, горящим пламенным желанием показать всю свою ревность и усердие».

3.

От царя вышло повеление назначить А. Н. Муравьева городничим или правником, и Лавинский предоставил ему на первый случай место городничего в Иркутске, чтобы иметь раскаявшегося заговорщика «под своим личным наблюдением и в деятельных занятиях». Во второй половине апреля 1829 года Муравьев был уже в Иркутске и 21 сообщил теще, что через два дня вступит в должность городничего — «то же самое, что у нас в России называется полицеймейстер». При этом он выражал надежду, что скоро получит лучшее место. В таком же роде писал он и брату жены — князю Вал. М. Шаховскому, добавляя: «усердие мое и прилежание к службе не обратят ли на меня высочайшего внимания?».

И обратили. Но не так скоро, как хотелось Муравьеву. Правительство пристально присматривалось к его деятельности, изучало его образ мыслей, прислушивалось к его суждениям, не только официальным, но и частным, самым затаенным. Посылало к нему своих соглядатаев.

Приставило к нему, наконец, специального шпиона в лице матерого пройдохи и афериста Романа Медокса. Этот последний примазался к декабристам еще в 1826 году, когда их после суда привезли в Шлиссельбургскую крепость. Медокс сидел в крепости с 1813 года, посаженный туда Александром первым за свои мошеннические похождения на Кавказе 17-летним юношей, где он в 1812 году дурачил местные власти и обирал государственное казначейство, якобы ради создания ополчения для борьбы с Наполеоном. В Шлиссельбургской крепости Медокс познакомился с декабристами, и это знакомство дало толчок его дурно настроенному воображению в сторону новой авантюры. Каким-то невыясненным образом Медокс, отправленный по повелению Николая первого в ссылку в Омск, в Западной Сибири, проживал в 1829 году в Иркутске, в Восточной Сибири. Это — при наличии высочайшего повеления сурового Николая первого. А тут поднадзорный аферист, да еще сосланный в солдаты, свободно раз'езжал по обширной Сибири!

Но дело-то в том, что в Иркутске был градоначальником А. Н. Муравьев, хоть и помилованный царем, хоть и принятый в службу, а все-таки подозрительный правительству по всему своему прошлому и даже по настоящему. Неприятным для правительства образом в доме иркутского городничего как-то сходились нити сношений сосланных заговорщиков с Москвою и Петербургом. И открыл эти нити Медокс, и он же установил, что это нити нового заговора декабристов, на этот раз для окончательного ниспровержения существующего строя. Медокс посылал донос за доносом, то местным сибирским властям, то жандармскому генералу Бенкендорфу, а то и самому царю, указывая, что в центре заговора стоит семья Муравьевых — в Иркут-

ске в лице сестры жены А. Н. Муравьева, княжны Варвары Шаховской которая для того и приехала, чтобы быть посредницей между сосланными государственными преступниками и их столичными соумышленниками а в Москве — в лице матери осужденных декабристов А. М. и Н. М. Муравьевых — Екатерины Федоровны.

Медокс заявлял, что уверен в существовании новых козней против престола, Бенкендорф проникся его уверенностью, а Николай I так хотел верить в новый заговор. Ведь это оправдывало его постоянный страх перед призраком заговора, ведь это давало законное об'яснение его постоянной трусости при воспоминании о декабристах.

Подробности всей этой истории в отношении декабристов вообще опущу, они изложены в моей книге о Медоксовой авантюре [1]). Остановлюсь только на той части бывших в моем распоряжении неизданных материалов (из разных государственных и частных архивов), которые не использованы в указанной работе и очень любопытны для характеристики А. Н. Муравьева в период усердного делания им новой служебной карьеры.

Итак, красноречивые заверения А. Н. Муравьева в любви и преданности правительству достигали цели: положение его постепенно облегчалось. Но полностью недоверие жандармов не могло рассеяться. Чуткая настороженность их улавливала малейшие иносказания, отмечала всякую нарочитую черточку в письмах поднадзорных.

Бенкендорф советовал главноначальствующему над почтовым ведомством кн. Голицыным продолжать вскрытие писем Муравьева, несмотря на то, что он принят в административную службу, так как наблюдение за перепискою Муравьева «может послужить к новым и ближайшим открытиям по обстоятельствам, заслуживающим особого внимания правительства». Был составлен перечень лиц, с которыми переписывался А. Н. Муравьев, чтобы надзор за его перепискою мог быть всесторонним, и этот перечень разослали по всей России. В списке значатся братья А. Н. Муравьева, сестра декабристов Муравьевых-Апостолов — Ек. Ив. Бибикова — жена нижегородского губернатора, костромской губернатор — старый масон и будущий министр внутренних дел при Александре II С. С. Ланской и др. лица.

Муравьев был очень осторожен, и уловить его в чем-нибудь крамольном нельзя было. К тому же он пользовался каждым поводом, чтобы повергать к «освященным стопам монарха» свои верноподданнические чувства. Зная, как Николай любит из'явления верноподданнических чувств, он обстреливал царя и его министров прямо пачками.

Вот еще один образчик таких излияний А. Н. Муравьева — его письма от 16 октября 1831 года к шефу жандармов и к самому царю по поводу назначения его председателем иркутского губернского правления. Бенкендорфу он писал: «Возведенный неизреченною милостью его императорского

---

[1]) Провокация среди декабристов. Самозванец Медокс в Петровском заводе. По неизданным материалам составил С. Я. Штрайх. «Московский Рабочий». Москва 1925 г.

...чества на степень председателя иркутского губернского правления, с чи... статского советника, я осмеливаюсь всепокорнейше просить ваше высо...превосходительство оказать мне еще величайший знак милостивого распо...жения вашего поднесением приложенного всеподданнейшего письма его ...честву. Слово не может выразить живейших ощущений моего сердца; на ... только могу я сделаться достойным оказанного мне доверия монар... и несколько открыть ту глубочайшую благодарность, ту беспредель...ю верность и ревность к службе государя императора, которые меня оду...ляют... Не менее того, я не мог удержать полноты сердца моего, и в при...женном на высочайшее имя письме, с коего копию у сего представить ...ь имею, старался выразить благодарность невыразимую. Беру смелость ...е раз просить ваше высокопревосходительство, повергая всеподданнейшее ...сьмо мое к подножию престола, дополнить словом вашим то, что самая ...лнота чувств моих изложить помешала. Позвольте мне надеяться, что вы ...е откажете усерднейшей, покорнейшей моей просьбе».

Но как ни повергался Муравьев к стопам царя и его жандармов, а пол... доверия к нему не могло быть — слишком много он натрешил в моло...сти. Да и теперь в Сибири так выходило, что Муравьев по должности ...зко соприкасался со своими бывшими товарищами по заговору, содер...жащимися в Петровской каторжной тюрьме (близ Иркутска), и всегда ока...зывал им внимание, всегда отстаивал их интересы. Кроме того, власти не раз ...поисках нового заговора, натыкались на связь между Петровской каторж...ной тюрьме и домом иркутского городничего. То он сам ждал каких-то ...щиков с табаком, а в этих ящиках, между двойным дном власти находили ...ереписку декабристов, — правда, невинного свойства, — то в переплетах ...уховных книг, пересылавшихся через дом Муравьева в Петровское, нахо...дились такие же письма и т. д.

Правительство решило, что сколько Муравьева ни милуй, а близость ...государственным преступникам действует на него плохо. С другой сто...роны, нельзя же было и наказывать человека, так усердно повергающего ...себя к «освященным стопам» монарха. Ведь это такой хороший пример для ...других заблудших верноподданных. Правда, Муравьев указывал выход из ...положения,—просил перевести его в Европейскую Россию, хотя бы просто на ...безвыездное жительство в деревне. Но это не соответствовало видам прави...тельства, главным образом, потому, что Николай считал нужным подержать ...кающегося преступника в холодном сибирском климате, чтобы совершенно ...остыл его былой революционный пыл.

Перевели Муравьева из Восточной Сибири в Западную, назначили ...1833 году тобольским гражданским губернатором. Этим отдалили его от ...главных заговорщиков, собранных в Петровском, лишили его поддержки ...генерал-губернатора Восточной Сибири, давнишнего его друга Лавинского ...и, оставляя по ту сторону Урала, вводили под начало строгого генерал-губер...натора Западной Сибири Вельяминова. При этом и Муравьева поощряли — ...повысили по службе, перевели ближе к Европейской России, дали надежду, ...при усердии и преданности, быть переведенным в Россию.

4.

В. Г. Короленко написал очерк личности и деятельности А. Н. Муравьева на закате его жизни — в бытность старого заговорщика нижегородским генерал-губернатором. У Короленко Муравьев обрисован как настойчивый и упорный боец с нижегородскими крепостниками и как ревностный поборник освободительных идей, одушевлявших за полвека до того основателя первого тайного общества. Вместе с тем в очерке В. Г. Короленко ярко выявлены такие черты в характере А. Н. Муравьева, как скрытность и лукавство, умение прикидываться слабым и ничтожным, чтобы понизить бдительность противника и добиться осуществления своей цели...

Все эти качества характеризовали Муравьева еще в первой половине 30-х годов, в бытность его тобольским губернатором. Особенно упорно и жестоко преследовал Муравьев сибирскую чиновничью мелкоту за всякие служебные упущения, за притеснение трудового народа. Это был враг дореформенного чиновничества, враг настойчивый, боровшийся с злоупотреблениями всеми приемами и мерами. А чиновники сибирские еще со времен знаменитого генерал-губернатора И. Б. Пестеля (отца руководителя заговора декабристов) привыкли водить высшую местную власть за нос и чувствовали себя царьками своего уезда или участка. И высшая местная власть привыкла поддерживать своего чиновника, не умалять его прав, не ограничивать его размаха ни в чем, — ни в области административного усмотрения, ни в области вольного обращения с казенным сундуком. Ведь вся система управления была тогда построена на круговой поруке, на взаимной поддержке, на семейной келейности.

А. Н. Муравьев был человек властный — при всей своей униженности после 1826 года, резкий — при всей своей мягкости и елейности в письмах к царю и жандармам, высокомерный — по своему происхождению и всей предшествующей жизненной и служебной карьере. Он сразу стал в Тобольске в диктаторские отношения с ниже его стоящими по службе и был заносчив с равными ему по административному положению. Скоро у него образовались враги в местном чиновничьем мире и генерал-губернатор присоединился к ним. Пошла борьба. Кроме всех обычных приемов борьбы, противники Муравьева имели еще то преимущество, что могли ссылаться на его крамольное прошлое и даже на подозрительные его взаимоотношения с государственными преступниками в Сибири. И сам Муравьев давал им такое оружие в руки, ибо при всей преданности петербургскому правительству не мог отрешиться от свойственного ему чувства справедливости и старался оградить сосланных на поселение в Западную Сибирь второстепенных участников заговора декабристов и сосланных туда же польских повстанцев от мелочной придирчивости местного начальства. И в Иркутске и в Тобольске он старался облегчить их положение разными способами.

Однако Муравьев имел и огромное преимущество в этой борьбе. Он имел поддержку в самом Третьем отделении, в центре жандармского ведомства, делавшего тогда дождь и погоду для всех российских администраторов

..игом не ниже губернаторского. Главный помощник Бенкендорфа, началь-..ик Третьего отделения А. Н. Мордвинов был А. Н. Муравьеву двоюродный ..ат и ближайший друг: они росли и воспитывались вместе. Конечно, ..ордвинов имел возможность во-время отвести грозу от головы тобольс..ого губернатора, изменить направление удара, задуманного кем-либо по ..ресу Муравьева, наконец, он мог просто предупредить своего двоюродного ..рата о злоумышлениях и кознях его врагов. И, конечно, главные в ту пору ..евизоры действий провинциальных властей — местные либо специально ..сылавшиеся жандармские офицеры знали, как им смотреть на действия ..уравьева. Безотносительно к существу дела, они находили его правым, как ..уравьев, в свою очередь, всегда отмечал высокое беспристрастие бенкен..орфовых агентов.

Итак, борьба завязалась сразу по прибытии Муравьева в Тобольск. ..елюбопытны ее подробности, несущественны все взаимные обвинения ..торон, для нас интересны только связанные с этой историей не..зданные письма Муравьева, сохранившиеся в разных архивах. Только ..ля пояснения их содержания использованы здесь некоторые официальные ..окументы.

Когда Муравьева перевели в Тобольск, он в письмах к разным лицам ..злил поток благодарности к царю за эту милость. Письмо его к А. Н. Мор..винову по этому поводу (от 13 августа 1832 г. из Иркутска) привожу ..десь, опуская несущественные подробности: «Любезный друг и брат Але..ксандр. Получив с сею почтою письмо от Александра Христофоровича ..Бенкендорфа) в ответ на мое, которым письмом его высокопревосходи..тельство столь милостиво на мой щет относится, уверяя, что я не потерял ..доброго его мнения и пощряя к продолжению службы, таким образом, как ..и доселе я провождал оную, — я не могу не известить тебя об успокоитель..ных и радостных чувствах, сим письмом в сердце моем порожденных. ..Я сам благодарил бы его письменно за столь выгодное ко мне расположе..ние, но, боясь обременить своим письмом, решился просить тебя, любезный ..друг, засвидетельствовать ему мою живейшую и чувствительнейшую благо..дарность и уверить его, что и на новом поприще, мне ныне открытом, ибо ..я переведен в Тобольск председателем, буду стараться оправдать доброе его ..мнение. 3.000 верст ближе к родине есть великое для меня благодеяние ..монаршее. Но оно сопровождено с большими издержками. Я думаю отпра..виться в начале сентября со всем своим семейством к новому своему назна..чению и прошу тебя адресовать свои письма ко мне, если ты рассудишь ..за благо ко мне писать.

Я буду стараться и на сем новом месте доказать всю мою ревность ..и усердие к службе государя императора и подобно, как я здесь преобразо..вал губернское правление и приблизил его к сибирскому учреждению, так, ..надеюсь, и в Тобольске буду столько щастлив, что при покровительстве ..начальства удастся мне с честью и пользою для службы исполнить возло..женное на меня звание августейшим монархом, столько раз уже излившим ..на меня лучи своего милосердия.

В ожидании ответа на некоторые мои письма к тебе, любезный друг, остаюсь много любящий тебя брат Александр Муравьев».

Любопытно в этом письме упоминание о больших издержках, с которыми связан переезд в Тобольск. Все время своего пребывания в Сибири Муравьев нуждался в деньгах: в связи со ссылкою, он не имел возможности устраивать свои хозяйственные дела, а имение в отсутствие хозяев не давало дохода. Семья не могла помогать ему, так как сыновья Н. Н. Муравьева испытывали недостаток в деньгах, а родные по жене — Шаховские — сами жили небогато.

Еще будучи иркутским городничим, А. Н. Муравьев писал в марте 1830 года Николаю: «Утрата всего имения, которое должно перейти в руки заимодавцев; малолетние дети, не знающие об угрожающей им нищете; тайные слезы жены, падающие на меня как на виновника их бедствий; невозможность в таком положении и отдалении привесть домашние дела в порядок, — вот бездна, над которой стою я».

А так как только от «величия и благости души» Николая бывший масон и основатель заговора против императора ждал теперь спасения, он умолял дать ему повышение по службе, чтобы «привести семейство в безбедное состояние».

Материальное положение иркутского городничего было, действительно, незавидное, и он прибегал к займам, от имени жены своей, у богатых иркутских купцов, которые вообще относились к сосланным заговорщикам очень сочувственно. Занимала П. М. Муравьева деньги и у содержателя иркутского винного откупа князя А. Б. Голицына. Как бы сочувственно ни относились к А. Н. Муравьеву иркутские купцы и откупщики, все же это были люди, дела которых в известной степени зависели от иркутского городничего. А суммы, которые его жена занимала у них в 1830 году, были немалые: у купца Д. О. Портнова — 50 тысяч рублей, у князя А. Б. Голицына — 39 тысяч. К займу у Портнова имел какое-то отношение родственник последнего, известный иркутский купец В. Н. Баснин. Об этих денежных операциях было доведено до сведения правительства, и вскоре А. Н. Муравьев стал получать денежные пособия от казны, при чем такие выдачи производились неоднократно и проводились негласно.

5.

Наконец Муравьевы отправились из Иркутска в Тобольск, но не скоро туда прибыли. Дорогою они остановились из-за болезни детей в Томске.

В Тобольске всполошились, когда узнали, что туда едет Муравьев. Чиновничье болото зашевелилось. Но как-то так случилось, что одновременно с новым губернатором туда прибыл специально посланный третьим отделением в Сибирь по делу о новом заговоре декабристов жандармский полковник Кельчевский. Правда, в те самые дни, что Муравьев выезжал из Иркутска, шпион и провокатор Медокс писал Бенкендорфу, что Кельчевский ненадежен как следователь по заговору, ибо живет в Иркутске «на

оте с певчими, с шампанским», но доверие к жандармскому полковнику и этого в Третьем отделении не уменьшилось. А в Тобольске Кельчевский старался в пользу Муравьева. Вот письмо последнего к Мордвинову от 11 ноября 1832 года из Тобольска:

«Еще раз, не дождавшись ответа твоего, любезный брат Александр, решился я писать к тебе. Г полковник Кельчевский, доставивший мне письмо твое, вручит тебе и сие. В Тобольске, где готовились меня принять очень ...ю, — он напротив старался расположить генерал-губернатора в мою пользу, за что я ему очень благодарен и прошу и тебя его поблагодарить. Известие, которое с сею почтою я получил от брата моего, любезного Николая, и которое мне сообщено им по высочайшей воле, меня чрезвычайно радует. Тебе оно, конечно, уже известно. Я разумею разговор государя обо мне с Николаем. Итак, я, может быть, буду скоро в России. Какая восхитительная мысль! Доброе мнение императора и нежное отеческое его попечение о том даже, чтобы сие мне было об'явлено, повергают меня к стопам августейшего государя и исторгают из меня слезы благодарности невыразимой. О, как счастливы подданные, имеющие такого государя. С новою ревностью, с новою бодростью стану продолжать предстоящий трудный путь, и надеюсь оправдать милостивое мнение и доверенность государя.

Прошу тебя, доведи о сем моем чувстве до сведения его высокопревосходительства Александра Христофоровича Бенкендорфа и попроси его, ...ли можно, повергнуть мою верноподданническую благодарность к подножию престола. Я бы и сам письмом просил бы его об этом, но боюсь обременить его оным.

Любезный брат, обнимаю тебя всем сердцем А. Муравьев».

И хотя Муравьев не сомневался, что брат его Николай немедленно передал Мордвинову свой разговор с царем, но он приводит в этом письме соответственную выдержку из письма к нему Н. Муравьева. Надо же было довести и до сведения Бенкендорфа «милостивое мнение» царя.

«Для сведения твоего, если тебе брат не сказывал о том, выписываю тебе из письма его ко мне слова государя обо мне, когда он имел счастие быть представленным 1 октября в Петербурге: «Я весьма доволен братом твоим, вот человек, который ведет себя отлично, служит хорошо, идет прямою стезею, ни с кем не знается и занимается одною только своей должностью. Я перевел его в Тобольск с тем, чтобы отсюда его через несколько времени перевести в Россию; — надобно бы написать сие к нему — напиши ты к нему о сем».

Какое счастие для подданного, если государь его такого о нем мнения. Какое счастие иметь надежду возвратиться в отечество».

Ссылая заговорщиков по делу 14 декабря в Сибирь, Николай разрешил их женам выйти замуж вторично без расторжения прежнего брака. Этим царь хотел, с одной стороны, порвать связь государственных преступников с семьями, с другой стороны, еще больнее ударить своих поверженных противников. Известно, что жены самых видных декабристов, вопреки всем стараниям царя и его пресмыкающихся министров, поехали за своими мужьями

в Сибирь (Трубецкая, Муравьева, Волконская, Фонвизина). Их примеру последовали и другие (Нарышкина, Розен, Анненкова, Ентальцева, Давыдова). Лишь некоторые из жен, после долгой борьбы с окружающими влияниями, под напором и даже провокацией своих родных, вышли в России вторично замуж при живых мужьях в Сибири. Было несколько таких драм в семьях декабристов (И. В. Поджио, В. Н. Лихарев, П. Н. Фаленберг и др.).

Так же поступил Николай Павлович и с участниками польского восстания 1831 года. Сослав заговорщиков в Сибирь, русский царь разрешил женам своих противников-поляков выйти замуж вторично при живых мужьях. Один из виднейших польских деятелей, волынский губернский предводитель дворянства, крупный магнат граф П. Мошинский был сослан в Тобольск. Здесь он получил от жены письмо с извещением о том, что она выходит замуж за другого. Мошинский всполошился и в заботах о судьбе дочери, которая жила при матери, просил царя о разрешении вернуться на родину.

А. Н. Муравьев, как хороший семьянин, принял участие в деле сосланного государственного преступника. 10 декабря 1832 он писал А. Н. Мордвинову из Тобольска: «Известный тебе бывший граф Петр Мошинский, сосланный на поселение в Тобольск, ведущий здесь жизнь отлично нравственную, скромную и уединенную, с прошедшею почтою получил самый ужаснейший удар, который отец семейства и супруг получить может. Жена его пишет к нему, что она его оставляет и хочет выйти за другого замуж. Ты можешь вообразить, в каком он от этого положении находится при претерпеваемом уже несчастии. Ты сам супруг, ты сам отец, и не нужно более, чтобы постигнуть всю силу сего бедствия. У Мошинского дочь, живущая с матерью, которая, выходя за другого, не может и не должна держать при себе невинное дитя сие. У него осталось богатое имение в Волынской губернии, дочь его должна наследовать оным, но оное, вероятно, расхищено будет при теперешних отношениях жены его и новой связи ее. Петр Мошинский, как отец, обязан пещись о благосостоянии дитяти своего. Сей священный долг побуждает его повергнуться к подножию престола, просить о помиловании, о позволении устроить дела свои на месте. Любезный брат, будь милостив, будь человеколюбив, прими живейшее участие в деле сем, проси почтеннейшего и добродетельного твоего начальника, чтобы он принял на себя ходатайство по просьбе Мошинского. Государь милосерд, он страждущим помогает».

Николай не был милосердым и не любил помогать страждущим, особенно из государственных преступников. Мошинский еще долго оставался в Тобольске.

Дальше мы еще встретимся с отношением Муравьева к сосланным в Сибирь полякам. Надо остановиться на его борьбе с злоупотреблениями тобольских чиновников.

6.

Генерал-губернатор Западной Сибири — Вельяминов был человек старый и слабовольный. Два-три ловких местных чиновника сумели втереться к нему в полное доверие и организовали сложную систему поборов с населения, торгуя должностями и установив таксу на всякий случай в жизни обывателя. Муравьев сразу по приезде в Тобольск взялся за чистку местных чиновничьих конюшен... через Третье отделение. Письмо его к А. Н. Мордвинову от 3 июня 1833 года характерно для определения приемов, которыми бывший заговорщик боролся с беспорядками в местном управлении. Достается в нем и чиновникам и самому генерал-губернатору. «Любезный брат и друг Александр. Хотя ты мне и не пишешь и не отвечаешь, но я сим нимало не оскорбляюсь, зная, что ты не имеешь много времени свободного; однако я не могу не писать к тебе иной раз, особенно, когда служба к тому понуждает; итак, выслушай терпеливо.

Мною раскрыты важные беспорядки в счетоводстве денег и душ по здешней казенной палате. Беспорядки сии велики. Шесть раз казенная палата представляла мне ошибочные ведомости. Сие уже известно формально и г. министру внутренних дел. И если обращено будет внимание в Петербурге, то здешней казенной палате будет очень, очень худо. Предчувствуя сие, из тобольской казенной палаты отправился в Петербург, под предлогом отпуска, один советник оной, Захаров, как уверяют, с деньгами, чтобы там все переработать и дать худому их делу выгодный оборот. О сем советнике Захарове я нужным счел тебя уведомить и просить тебя обратить на него внимание, какое должно; ибо он всеми средствами будет затмевать истину, поелику сам участвует в беспорядках и всячески будет и меня поносить и клеветать на меня.

Если вы меня поддерживать станете, то ручаюсь вам, что я исправлю эту хаотическую Тобольскую губернию. Если же вы будете принимать с равнодушием мои представления, то я при всей доброй воле не в состоянии буду много сделать. Ибо здесь зло крепко укоренилось везде и во всем и крепко поддержано. Но я уверен, что ты, любезный брат и друг, меня не оставишь и мне будешь помогать во всем, что относится к пользе службы его императорского величества...».

Муравьев не стыдился прибегать к худшим приемам в своей административной политике. Еще в Иркутске он принял деятельнейшее участие в распре между местным архиереем, знаменитым Иринеем Нестеровичем, и генерал-губернатором Лавинским, которому был так обязан. А. Н. Муравьев интересовался религиозными вопросами еще со времен своего масонства. Конечно, у него были связи в высших церковно-бюрократических кругах, и он их использовал для поддержки Лавинского в его борьбе с Иринеем. Так, он послал несколько писем исправляющему должность синодального обер-прокурора С. Д. Нечаеву, своему старому столичному приятелю. Прося Нечаева не рассматривать его письма как донос, а как проявление любви к церкви, А. Н. Муравьев сообщал, что Ириней в стараниях исправить

иркутскую «паству» «употребляет средства, неприличные архиерею: брань шум во время богослужения, что соблазняет жителей города».

В обрисовке А. Н. МуравьеваИриней «есть гонитель внутреннего истинного христианства; если он долго останется здесь, то истребит самое семя истинной религии». В другом письме об Иринее он сообщает, что архиерей «навлек на себя всеобщий ропот, неудовольствие, негодование и даже пренебрежение», а если бы Муравьев «не боялся преступить заповеди о любви, то должен бы по справедливости много написать» о мятежном архиерее.

Наконец, в заключительном письме по поводу этой распри, излагая историю отрешения Иринея от иркутской кафедры, А. Н. Муравьев, не без дипломатической хитрости, пишет: «Хотя ныне по всей Европе много беспокойства, но, кажется, России под мудрым скипетром своего государя назначено отдохновение. Слава богу, слава великому мужу-царю, правящему Россией. С таким государем Россия спасена от многих бед». Но вот в отдаленной азиатской окраине едва не возник бунт. «Если бы не мудрые распоряжения нашего генерал-губернатора, если бы не твердость, неустрашимость и мужество его, то Иркутск, без сомнения, увидел бы черные дни, и многие жертвы принесены были бы злонамеренному бешенству Иринея».

Красочно описывая, как архиерей обращался к народу с речами, «к возмущению, бунту и кровопролитию возбуждающими, — еще немного и толпа была бы готова к ужасам», — А. Н. Муравьев славословит Лавинского: «Но вдруг является сам генерал-губернатор, тут опять глубокая тишина в народе. Исступленный архиепископ продолжает свою речь к народу, опять призывает его к мятежу и насилиям. Генерал-губернатор с кротостью и твердостью при всех обращается к архиепископу, уговаривает его... Видя, что народ замолчал, что присутствие и твердость генерал-губернатора расстроили все его замыслы и надежды, он усугубил мятежническое свое красноречие... Но все было тщетно: присутствие генерал-губернатора и обращение его уничтожило все его замыслы... Что было бы, если бы не твердость и присутствие духа начальника нашего. Чернь уже начинала роптать и войско также... И так господь избавил нас от ужасного кровопролития, ибо вы знаете, что составляет чернь в Сибири».

Меж тем Ириней вовсе не был столь «зверским, лютым, корыстолюбивым и соблазнительным» архиереем, каким его изображал Муравьев. А Лавинский был очень далек от того идеального «мудрого, твердого, неустрашимого и мужественного» администратора, каким его представлял подчиненный ему иркутский городничий. Архиепископ Ириней выделялся среди тогдашней русской духовной бюрократии резким самостоятельным характером и стремлением освободить церковное управление от зависимости по отношению к светской власти. Был он также чужд искательства перед прихожанами и требовал от подчиненного духовенства обличительных проповедей во время богослужения, при чем сам в этом отношении подавал пример. С Лавинским у него сразу установились остро-враждебные отношения и помимо своей обычной борьбы с гражданской властью по вопросу

церковно-бюрократической независимости Ириней выступал в иркутском соборе в присутствии Лавинского с обличениями по его адресу и с довольно прозрачными намеками на какие-то ненормальности в семейной жизни генерал-губернатора.

Но Лавинский для Муравьева — одно, Вельяминов — другое. Не будучи обязанным генерал-губернатору Западной Сибири, Муравьев в отношения свои к нему внес всю присущую ему строптивость и неуживчивость, сразу увидел все недостатки Вельяминова и круто принялся за исправление своего непосредственного начальства. Он ревностно стал бороться с злоупотреблениями приближенных к Вельяминову и вертевших им по-своему чиновников главного управления Западной Сибири, действуя через своего двоюродного брата А. Н. Мордвинова. 4 ноября 1833 года Муравьев писал начальнику Третьего отделения: «Любезный брат и друг Александр. Нужным считаю довести до сведения твоего, что бывший чиновник особых поручений при главном управлении Западной Сибири Кованько, переведенный по высочайшему повелению на службу в Петербург, продолжает отправлять при ген.-губернаторе прежнюю свою должность, несмотря на то, что о переводе его получено здесь тому уже три недели; сверх того, он при отправлении должности сей носит публично свой мундир главного управления и более, нежели прежде, участвует в управлении, находясь безотлучно при генерал-губернаторе по-прежнему. Об этом я мог бы умолчать, если бы действия его не были в высшей степени вредны для губернии, особенно ныне, ибо таковым неисполнением высочайшего повеления производит самое невыгодное впечатление на многих жителей, потому что показывает, что Кованько так могущественен, что он ничего не боится. Перемещения чиновников, законом противные, ни с чем не сообразные, а для губернии вредные, делаются как бы на смех ныне, более, чем когда-нибудь, и уверяют даже, что Кованько, дабы закрыть свои маневры, оставил ген.-губернатору записку о тех перемещениях, которые он непременно после от'езда его сделать должен.

Все таковые бесстрашные и законопротивные действия Кованьки приводили в уныние многих лучших чиновников и вообще производили неудовольствие во всех. Сообщаю тебе сие, дабы ты не оставил обстоятельство столь важное без внимания; я бы написал о том же его высокопревосходительству Дмитрию Николаевичу Блудову, но не смею беспокоить его, боясь, чтобы письма мои не были ему в тягость. И потому прошу тебя довести о сем единственно до сведения его; он, как прямой начальник Кованько, конечно, примет меры к скорейшему удалению его отсюда. Говорят, будто он едет около 12 ноября отсюда, но это еще не верно. Он велел одному своему знакомому Блинову приехать из Малороссии в Москву к половине ноября; предполагать должно, что это для передачи ему денег; впрочем, за верное не выдаю сего предположения.

Много любящий тебя брат А. Муравьев».

Кованько, действительно, был чиновник очень плохой, своей близостью к генерал-губернатору он, действительно, злоупотреблял в масштабе тогдаш-

них русских административных, особенно сибирских, нравов. Но приведенное письмо Муравьева так ярко характеризует приемы борьбы со злом этого виднейшего русского масона. Все в этом письме красиво: и осведомленность Муравьева о том, кого и куда вызывает Кованько, почерпнутая, конечно, из перлюстрации переписки этого чиновника, и догадки о том, для чего Кованько вызывает в Москву своего приятеля, и, наконец, фарисейская скромность бывшего заговорщика в отношении к своему главному начальнику — министру внутренних дел Д. Н. Блудову. Это был тот самый Блудов, который из карьерных соображений допустил так много подтасовок в составленном им донесении Верховной Следственной Комиссии по делу декабристов, среди которых имел многих друзей, что ухудшило их положение, и вызвал презрение всех участников процесса 1826 года. Конечно, Мордвинов знал, для кого предназначал Муравьев свое письмо, и переслал его Блудову для сведения. А Муравьев, имевший плохой почерк, специально на этот раз писал особенно разборчиво.

7

Муравьев был очень настойчив в достижении своих целей. Об этой черте характера основателя первого тайного общества писал В. Г. Короленко в своем очерке нижегородской деятельности А. Н. Муравьева как главного борца с крепостниками. Это упорство вместе с неразборчивостью в средствах, характеризует Муравьева и в сибирский период его жизни. Доведя до сведения Блудова о преступных действиях Кованьки, Муравьев скоро снова напомнил Третьему отделению об этом злонамеренном чиновнике министерства внутренних дел, не упустив случая подчеркнуть благородство и добропорядочность чиновника жандармского ведомства полковника А. П. Маслова, присланного в Тобольск для расследования дела Кованьки. Представители власти, действовавшие по линии А. Н. Муравьева, наделены в его изображении сверхчеловеческими достоинствами. Таков генерал-губернатор Лавинский, таков и скромный полковник Маслов. Правда, полковник жандармский.

«Пребывание здесь полковника Маслова, — читаем в письме Муравьева к Мордвинову от 2 декабря 1833 г. из Тобольска, — произвело уже великую пользу для края сего. По самому городу Тобольску уже видны благодетельные плоды его распоряжений и по всей губернии они уже весьма ощутительны. Рекрутский набор, производившийся обыкновенно с величайшими для крестьян притеснениями и лихоимством, ныне под надзором Александра Петровича, открывшего уже многие злоупотребления оного, производится очень хорошо. Арестанты в остроге не терпят уже тех нужд, какие до него терпели и на которые я должен был целый год смотреть без всяких способов исправления, потому что острог находится под надзором тобольского полицеймейстера, который есть друг Кованьки и самый близкий генерал-губернатору. На сего полицеймейстера, для меня, не предстояло способов

скания по вышеизложенным связям его. Цены на с'естные припасы, под надзором здешней полиции возвышавшиеся по допущенным ею беспорядкам стачке с перекупщиками, ныне, по распоряжению Маслова, упадают ко всеобщему удовольствию всех сословий города. И многие еще другие великие выгоды делаются по всей губернии ощутительными по действиям его почтенного и благороднейшего чиновника. Сердце радуется, смотря на его распоряжения.

При сем не излишним почитаю еще уведомить тебя, что Ковалько здесь, все действует по-прежнему и даже хуже и злее прежнего и при же самой должности, несмотря на высочайшее повеление. Такое явное уважение к воле государя многим кажется весьма удивительно и заставляет роптать многих. Ужели подобные действия будут терпимы? Ковалько распускает слухи, что Маслов ничего не может и ничего не значит; что се пойдет по-прежнему и что он сам (Ковалько) ничего не боится и что когда он приедет в Петербург, то все переменит».

Мордвинов передал это письмо шефу жандармов Бенкендорфу, тот прочитал его Николаю Павловичу и участь Ковальки была решена. Получил афронт и сам Блудов. На копии письма Муравьева Бенкендорф сделал пометку: «Государь приказал написать министру внутренних дел, дабы Ковалько был бы немедленно выслан из Тобольска».

Так действовал старый масон и заговорщик в стремлении доказать правительству Николая первого свою преданность и свое право на перевод в Россию. И он сумел убедить николаевских жандармов в своей благонамеренности, хотя чуть было снова не разразилась гроза над его поседевшею головою... из-за тайных сношений с сосланными декабристами — жены тобольского губернатора и ее сестры. Вызывал эту грозу и генерал Вельяминов.

Вот что писал А. Н. Муравьеву 5 июня 1833 года шеф жандармов граф Бенкендорф: «Милостивый государь Александр Николаевич, получив от генерал-губернатора Восточной Сибири письма супруги и невестки вашей, писанные к государственному преступнику Муханову и отправленные ими тайным образом в ящике с семенами, имевшем двойное дно, я не излишним считаю препроводить оные при сем в подлиннике к Вам. Обстоятельство сие должно служить Вам убеждением, сколь необходимо Вам иметь бдительное наблюдение и в самом доме Вашем. Письма сии, конечно, не заключают в себе ничего преступного, но случай сей ведет к заключению о расположении и возможности вести скрытно от правительства переписку с государственными преступниками; и когда уже таковая переписка проистекает из среды семейства и из самого дома начальника губернии, то какую же уверенность можно иметь, что подобные скрытные переписки не ведутся и другими государственными преступниками, в управляемой Вами губернии поселенными?

Положение, в котором сами вы находитесь, и неоднократные милости, оказанные Вам всемилостивейшим государем нашим, возлагают на Вас священную обязанность более всякого другого стараться о предупреждении

недозволенных действий государственных преступников для отклонения и самой тени какого-либо насчет Вас подозрения.

При сем случае не излишним считаю поставить Вам на вид неуместность представления Вашего генерал-губернатору Вельяминову о перемещении Бригина из Пелыми в южную часть Тобольской губернии, ибо Вам известно, сколько государь император, снисходя и к самым жесточайшим преступникам, по собственному милосердному побуждению своему непрестанно оказывает им облегчение их участи, даже свыше меры ими заслуженного, не ожидая ни представлений, ни домогательств о сем».

Жутко было читать Муравьеву это письмо Бенкендорфа. Так старательно возводимое здание собственного освобождения из Сибири готово было рухнуть. Хотя по существу все ставившееся ему в вину не имело и тени злонамеренности по отношению к правительству Николая Павловича, но, как верно указывал Бенкендорф, положение самого Муравьева обязывало его к чрезвычайной осторожности. Столько раз и так усердно припадать к «освященным стопам обожаемого монарха» и услышать грозный окрик начальника Третьего отделения! Было отчего притти в отчаяние! Когда А. Н. Радищеву в начале царствования Александра первого напомнили, что за повторное увлечение либеральными идеями он может снова попасть в тайную канцелярию, автор «Путешествия» предпочел отравиться. А. Н. Муравьев еще усерднее, чем прежде, припал к стопам... Бенкендорфа и получил облегчение своей участи.

Что касается обвинений, выдвинутых в письме Бенкендорфа, то по поводу писем к Муханову он и сам заявил, что содержание их не преступно. Но, конечно, глава жандармского ведомства, напоминая Муравьеву об осторожности, имел в виду новый заговор декабристов, который по доносу Медокса затевался при посредстве той же В. М. Шаховской. А в это время для правительства и для самого царя еще не было ясно, что Медокс их дурачит. Но Бенкендорф знал, что декабрист П. А. Муханов близок семье А. Н. Муравьева: сестра Муханова была замужем за братом жены Муравьева, а сам Муханов был женихом В. М. Шаховской, которая и приехала-то в Сибирь в надежде получить разрешение на брак с ним. Несколько позже Николай решительно отклонил ходатайства Муханова и Шаховской об этом браке.

Что касается истории с декабристом А. Ф. Бриггеном, то он был сверстником А. Н. Муравьева, был также старым масоном, вместе с ним принадлежал к Северному обществу и, как он, был малодеятельным участником заговора. Но в то время как Муравьев вместо каторги был сослан в Сибирь городничим, Бригген прошел через Читинскую каторжную тюрьму на поселение в пагубный по климату Пелым, Тобольской губ. Еще с 1831 г., задолго до перевода Муравьева в Тобольск, Бриггеи стал просить перевести его ближе к югу, ссылаясь на болезнь. Но так как его просьба попала к Николаю после целого ряда других, то царь написал на докладе: «Начали все проситься; надобно быть осторожнее в согласии на это, в особенности ныне». Бриггеи несколько раз повторял свою просьбу, и, конечно, Муравьев

ахотел облегчить его участь, как старался помочь и другим бывшим товарищам по заговору. Бенкендорф врал, когда писал, что царь по собственному побуждению оказывает облегчение «преступникам». Лучше всех он нал, как долго надо было умолять Николая, чтобы вырвать у него облегчение для тех из декабристов, которые не припадали к «освященным стопам» монарха и не каялись, как Муравьев.

А вот и самое письмо А. Н. Муравьева к Бенкендорфу по поводу этой истории: «Ваше сиятельство, милостивый государь Александр Христофорович. Предписанием от 5 июня ваше сиятельство изволили уведомить меня о случившемся столь скорбном для меня происшествии в доме моем и препровождаете письма жены моей и сестры ее. После сего ужасного для меня урока — убедительнейше и покорнейше прошу великодушного прощения вашего.

Я тем менее мог усмотреть сие, что никогда не ожидал от лиц, столько ко мне близких, такого поступка. Оправдываться я не желаю и не имею духа; но осмеливаюсь усерднейше просить ваше сиятельство не сделать по сему непростительному увлечению жены моей чувством сострадания к родственнику худого заключения о расположениях ее в отношении к чувствам верноподданной; осмеливаюсь покорнейше просить не заключать по нещастному для меня происшествию сему о степени бдительности моей по надзору за государственными преступниками. Смею уверить ваше сиятельство, что, имея, по милости божией, с давнего уже времени в сердце своем самое основательное, самое сильное отвращение к правилам, образу мыслей и заблуждениям их, я никогда не подам повода к какому-либо подозрению послаблении им, и, чувствуя во глубине души все неизреченные ко мне великие милости и благодеяния августейшего государя нашего, я и делом и жизнью готов доказать верноподданнические мои чувства его императорскому величеству.

Я смею надеяться, что службою моею и поступками заслужу доброе мнение вашего сиятельства, потерять которое было бы для меня величайшим нещастием. Ваше сиятельство, будьте снисходительны, будьте милостивы к покорнейшей просьбе сим происшествием огорченного. Простите и жене моей, раскаивающейся в сделанном ею единственно по увлечению к состраданию». К этому письму Муравьев приложил письма жены и ее сестры к Бенкендорфу с извинениями за допущенное ими нарушение правил. Но, конечно, враги Муравьева старались использовать эту историю в своих видах.

8.

Николай решил, что Муравьева следует убрать из Тобольска и даже понижением должности. Его перевели в Вятку председателем уголовной палаты. При этом было оставлено в силе предписание, данное при назначении Муравьева в Тобольск, о секретном наблюдении за действиями и образом жизни бывшего заговорщика.

Но все же это был исход из Сибири, и Муравьев был счастлив. Однако как ни мало беспокоило его самое понижение по службе в смысле бюрократическом, оно было сопряжено с крупной неприятностью: должность председателя уголовной палаты оплачивалась меньше губернаторской. Муравьев разрешил и этот вопрос. Как губернатор, он был подчинен министру внутренних дел, как председатель уголовной палаты — министру юстиции, но ведь он был еще и двоюродный брат начальника Третьего отделения. И вот Мордвинов составляет такую докладную записку: «И. д. тобольского губернатора Муравьев перемещен ныне в Вятку председателем уголовной палаты. Таким образом он поступил на низшую против прежнего должность и с тем вместе значительно уменьшено его жалованье. В Тобольске он получал 9.000 рублей, по новому же месту будет получать только 2.500 р. Собственного состояния он никакого не имеет». В результате этого Бенкендорф сообщил 15 января 1834 года министру юстиции, что на его доклад государь отозвался, что не имел в виду определить Муравьева в низшую против прежнего должность и ему угодно, чтобы Муравьев в новом месте получал прежнее содержание. Насколько-де Бенкендорфу известно, это содержание было в 10.500 рублей. В феврале министр юстиции Дашков сообщил Бенкендорфу, что царь велел министру финансов производить Муравьеву жалованье в 2.500 р., добавив ему негласно по 6.500 р. в год.

Был новый случай припасть к стопам монарха, и Муравьев припал. Облобызав соответственным образом Бенкондорфа, он просил шефа жандармов передать царю письмо, в котором писал: «Государь всемилостивейший. Моя жизнь есть ваша собственность; я надеюсь с помощью всемогущего везде и всегда доказать сие на самом деле...».

И доказывал усердие. Будучи вятским судьей, заботился о порядке в Западной Сибири. Заботу проявлял в родственных письмах к начальнику Третьего отделения. Очень характерно в этом отношении письмо Муравьева к Мордвинову от 9 мая 1834 года. Оно интересно и для биографии самого Муравьева, для выяснения его политических симпатий даже в пору самого униженного пресмыкательства перед царем, и для характеристики приемов управления тогдашней провинциальной администрации, устраивавшей провокации, чтобы иметь возможность расправиться с политическими ссыльными. Конечно, заботился Муравьев и о Вельяминове с его присными.

«Любезный брат. Подполковник Бек, прибывший на сих днях в Вятку, вручил мне письмо твое от 9 марта, содержащее поручение графа Александра Христофоровича с приложением копии с донесением бывшего вятского губернатора Ренкевича к министру внутренних дел по закупу хлеба для южных областей. Я постараюсь со всею точностью выполнить сие поручение и оправдать лестное ко мне доверие и доброе мнение его сиятельства. О последствиях открытого мною я не премину прислать, в письме на имя твое, по предмету сему записку.

При сем необходимым почитаю уведомить тебя для доклада графу Бенкендорфу о том, что мне пишут из Тобольска некоторые лица, на коих праводушие и основательность положиться можно.

Что известный поляк Шклинский, наказанный два раза плетьми чрез ..ача и содержащийся в остроге, по научению к о г о-т о [1]) сделал злобный ..мет о намерении якобы поляков, в часы великой заутрени, вырезать ..выжечь город Тобольск. Что поляки не думают нарушать спокойствие, ..о их самая мелкая в Тобольске горсть; одним словом, что все это вымы..., сделанный с намерением, чтобы удержать Вельяминова в Тобольске, ..вероятно, чтобы подвергнув невинных величайшей ответственности, ..есте с тем доказать необходимость Вельяминова в Сибири и удовлетво..ть корыстолюбивым своим видам, ибо доноситель есть, кажется, тоболь..ий полицеймейстер Алексеев, которого я, управляя Тобольской губернией ..ишком год, узнал весьма хорошо и который соединяет в себе все самые ..обнейшие, коварнейшие, гнуснейшие свойства, которые в человеке соеди..ны быть могут.

Последствия сей злейшей ябеды суть усиление ночных караулов, ..з'ездов, рундов, приставление к каждому поляку по одному солдату, страх ..ужас в городе, и, без сомнения, донесение от Вельяминова о таком будто ..важном событии в самых черных красках, тогда как вовсе того не было ..когда сие есть один гнусный вымысел и клевета, происшедшая от того, ..о известный тебе Кованько пишет из Петербурга к Вельяминову и зовет ..о скорее приехать. Полицеймейстер Алексеев и Жданов, нач. отдела и со..етник главного правления, заступивший нравственное место Кованьки и со..ршенно владеющий Вельяминовым так же, как и Кованько, прежде ..го, — узнав сие, удерживают его, боясь своей погибели; и сверх того ..клоняют его, прежде чем отправиться в Петербург, об'ехать все свои ..бернии, — весьма понятно для чего.

Я непременным делом поставил уведомить тебя о сем как для того, ..тобы успокоить высшее правительство, в случае если Вельяминов своими ..умагами обеспокоит Вас, так и потому, чтобы невинность не пострадала, ..чтобы коварство, ложь и злоба открыты были Вам».

К письму, рассчитанному на просмотр царем, Муравьев счел нужным ..риложить еще небольшую записку о Кованьке: «В собственную твою ..редосторожность, любезный брат, непременно нужным почитаю тебя ..ного уведомить о следующем: мне пишут из Тобольска: «Кованько шны..ряет в Петербурге крепко, особенно за бумагами А. П. Маслова, и, как ..дно, ему служат в том верно. Сему не дивлюсь — и в древнем Риме при ..одворении роскоши было все продажное, а Кованько чего не в состоянии ..упить. Могу тебя уверить, что это истина, только не имею права сказать, ..от кого и как я сие знаю; и для того не спрашивай меня о сем, но прими ..меры, какие заблагорассудишь.

Далее пишут: «Кованько весьма часто бывает у сердечного друга ..воего Случевского, почему-то принимающего живое участие в здешних ..делах. Еще повторяю, что все это есть истина. Прошу уведомить о полу..чении сей записки».

[1]) Подчеркнуто автором письма.

Но и Вельяминов не дремал. Пошли доклады, рапорты, донесения и до носы. Стороны чернили одна другую как могли и как умели. Муравьева корили былыми крамольными делами и нынешними сношениями с государственными преступниками, Муравьев бил противников ссылками на их взяточничество, к тому же он имел поддержку в жандармах. Заключу описание всей сибирской передряги А. Н. Муравьева его собственным рассказом в письме к А. Н. Мордвинову от 23 мая 1834 года. Здесь кратко и точно резюмированы все упомянутые выше доклады и доносы.

«Любезный брат. Весьма нужным считаю уведомить тебя о следующем и усерднейше прошу не оставить сие письмо без внимания.

Мне пишут из Тобольска, что там сделалось известным из канцелярии генерал-губернатора, что когда корпуса жандармов подполковник Рощицкий подал пакет генералу Вельяминову о новом, по высочайшему повелению следствии по злоупотреблениям ялуторовского исправника Жулебина, то Вельяминов стал ругать полковника Маслова самыми площадными словами, говоря, что причиною всему тому он, г-н Маслов. После сего пошла, будто бы, от него генерала Вельяминова к графу Бенкендорфу по сему обстоятельству, бумага, краткое содержание коей состоит в следующем:

«Что исправник Жулебин самый достойнейший человек, что я (Муравьев) напал на него, Кованьку и полицеймейстера Алексеева за то, что они, в точности исполняя поручение генерал-губернатора, доносили ему о сношениях моих и семейства моего с государственными преступниками хотя ничего в себе не заключавших; что по связям моим с людьми, окружающими графа Бенкендорфа, пристал ко мне (Муравьеву) и подкрепил Маслов.

Видишь, любезный брат, как Вельяминов меня преследует даже за очно, — видишь, какое ужасное, какое острое оружие он против меня употребляет; — могу ли я молчать после сего? Не должен ли я теперь же приступить к раскрытию всей гнусности сей клеветы? Не должен ли я не медля приступить к своему оправданию, чтобы сохранить доброе мнение графа Александра Христофоровича? Итак, если действительно правда, что генерал Вельяминов послал к графу бумагу вышеозначенного содержания то вот что я долгом поставляю об'яснить против оной.

1-е. Против того, «что исправник Жулебин самый достойнейший человек». По произведенному, по распоряжению моему, следствию, он оказался самым последним человеком и самым корыстолюбивым чиновником, но сие определение качеств его, на открытиях о его злоупотреблениях основанное, пускай останется в сомнении, впредь до времени окончания дела о нем Рощицким, которому неимоверно трудно будет открывать теперь истину, закрытую уже распоряжениями генерал-губернатора Вельяминова ласками и угрозами Жулебина и деньгами и угодливостью откупщика Мясникова, родственника его, в Ялуторовске проживающего.

2-е. Против того: «что я (Муравьев) напал на него, Кованьку и тобольского полицеймейстера Алексеева за то, что они, в точности исполняя

поручение генерал-губернатора, доносили ему о сношениях моих и семейства моего с государственными преступниками, хотя ничего в себе не заключавших». Было ли когда поручено исправнику Жулебину, жительствующему в Ялуторовске, Кованьке и полицеймейстеру Алексееву наблюдать за мною и семейства моего будто бы сношениями с государственными преступниками, я до сего времени того не знал. Если было, то такое же поручение вероятно имели и прочие исправники и городничие, как-то: Курганский, Турийский, Ишимский и Березовский, но почему же не напал я и на их так же, как и на Жулебина и Алексеева? Но я преследовал равным образом и тобольскую казенную палату, и приказ о ссыльных, и управителей винокуренных заводов, комиссионеров, волостных голов и писарей, — словом, преследовал по долгу звания моего всех, кто обличался в злоупотреблениях. О сем есть формальные доказательства в канцелярии губернаторской в Тобольске. Для чего не упоминает о сем генерал Вельяминов? Ужели и все сии места и лица имели такое же на счет мой поручение, какое, по словам его, дано было Жулебину, Кованьке и Алексееву?

Я долгом поставляю об'яснить, что проживающих в Ялуторовске государственных преступников, Тизенгаузена, Ентальцева и Черкасова, я до времени об'езда моего по Тобольской губернии для обозрения оной, от роду моего никогда вовсе в глаза не видывал и не знавал. Ревизуя же присутственные места в Ялуторовске, они все трое приходили ко мне днем, на самое короткое время, с различными просьбами и надобностями, которые обязанность моя как управляющего губернею была выслушивать и по мере законной возможности удовлетворять. В Тобольске живет только один государственный преступник Петр Мошинский, который, предписаниями тобольскому гражданскому губернатору от графа Бенкендорфа и от графа Чернышева, по высочайшему повелению, поручен личному надзору самого губернатора. В истине сего можно удостовериться в С.-Петербурге. Не должен ли я был исполнять высочайшую волю государя императора во всей точности, особенно в такое время, когда вымышлена была Тарская история, в столь черных красках генерал-губернатором описанная и сопровожденная, со стороны его, такими мерами предосторожности, которые скорее могли произвесть действительное неудовольствие между поляками, нежели укротить их, если бы что-нибудь и было. И сие личное наблюдение мое за Петром Мошинским, вследствие коего, к похвале его, я мог и обязан был по долгу совести свидетельствовать, что он в самых лучших находится расположениях и что скромное и примерное поведение его совершенно удовлетворяет ожиданиям милосердного правительства; сие выслушание просьб ялуторовских государственных преступников, сии совершенно с законом и правилами согласные действия называются генералом Вельяминовым с н о ш е н и я м и! Поистине, начальник губернии не может не быть в таких сношениях с управляемою им губерниею, иначе он не оправдывал бы доверия монаршего.

Других же сношений у меня никаких не только с государственными преступниками, но даже и с прочими лицами не бывало.

Была ли открыта какая-либо секретная между государственными пре ступниками переписка? Нарушены ли в чем-либо правила строгого надзор в отношении к ним? Была ли по сему хотя тень подозрения насчет кого либо из них? Решительно должен сказать, что не было, и потому сношени мои и семейства моего с ними были не «ничего в себе не заклю чающие», как говорил генерал-губернатор, но заключающие постоян ное и законное исполнение долга моего; из чего само собою явствует, что генерал Вельяминов, не зная ни образа мыслей моих, ни со вершенной противоположности правил моих тем правилам, по коим госу дарственные преступники сделались известными, ни всей чистоты моих наме рений и действий по службе, вымыслил на меня, смею сказать, сию адскую клевету, дабы набросать на все мои поступки и всю мою служб мрачный покров подозрений, подвергнуть тяжелому для меня сомнени верноподданнические мои чувства и показать меня вероломным слугою моего государя

3-е. Против того, «что по связям моим (Муравьева) с людьми, окру жающими графа Бенкендорфа, пристал ко мне и подкрепил Маслов». Ты сам знаешь, любезный брат, что с лицами, при его сиятельстве графе Бен кендофе состоящими, я не только не имею никаких связей, но даже и зна комства, кроме корпуса жандармов капитана Алексеева, с которым я даже не в переписке. От тебя же, с которым я расстался с лишком 15 лет, едва во все сие пространство времени получил только два или три письма, да и то по делам и обстоятельствам семейным, а никогда не по службе, следо вательно ты сам судить можешь, до какой степени лжив такой отзыв Вельяминова. Что же касается до Маслова, то само собою спрашивается, что я за лицо, к которому приставать выгодно?

Вот, любезный брат, что я имел тебе сказать; письмо сие предаю совершенно в твое распоряжение и прошу тебя, уже не как брата, но как человека, христианина, обязанного оказывать правый суд всякому, защи тить меня пред его сиятельством графом Бенкендорфом, столь милостивым ко мне, и которого доброе мнение для меня неиз'яснимо дорого.

И потому прошу тебя, если ты заметишь что милостливый твой начальник, вследствие черной клеветы генерала Вельяминова, хотя несколько на мой счет усумнился, то проси его дать мне способ перед ним оправдаться».

Итак, Вельяминов задел самого Мордвинова. Участь его была решена. Начальник Третьего отделения особым докладом через Бенкендорфа испро сил ревизию всего делопроизводства о распре между Муравьевым и Вельями новым. Ревизором был назначен военный министр граф А. Н. Чернышев, который за всю свою долгую государственную службу не проявлял беспри страстия. Вельяминов был снят с поста генерал-губернатора, вся окружав шая его чиновничья свора была рассеяна, а Муравьев вскоре получил еще более значительное облегчение. Но он принес за это тяжелую жертву.

9.

Прибывшая вслед за Муравьевым немедленно по его доставлении Сибирь жена его сильно страдала от жестокого климата и к вятской поре жизни здоровье ее было значительно подорвано. А Муравьев был хороший семьянин и нежно любил свою жену. В конце января 1835 года он просил Бенкендорфа исходатайствовать ему перемещение на юг в виду болезни жены, но шеф жандармов пометил это письмо словами: «еще рано». Не дошел еще этот ответ до председателя вятской уголовной палаты, как пришлось просить царя разрешить Муравьеву выехать из Вятки для сопровождения тела умершей жены его, которую хотели похоронить под Москвой, в фамильном склепе. Николай разрешил Муравьеву четырехмесячный отпуск без права в'езда в Москву и Петербург.

Куда бы ни приехал А. Н. Муравьев, всюду были жандармские офицеры. Могли ли они пропустить случай сделать что-нибудь для двоюродного брата их начальника? Ведь Муравьев всегда отмечал их добродетели! В Москве был жандармским начальником полковник Шубинский. Вот что он «секретно» писал Бенкендорфу 3 апреля 1835 г.: «Сосланный в Сибирь по происшествию, бывшему в 1825 году, Александр Муравьев, находясь ныне на службе в Вятской губернии, как говорят, получил позволение проводить тело умершей жены своей и предать оное земле в Волоколамском уезде, с запрещением, однако, в'езда в Москву. При чем дознано было, что тело отпеваемо было в Симоновом монастыре (Москва), куда приезжал отец его генерал-майор Муравьев и две сестры покойной, Шаховские. Позволение остановиться было от г. военного генерал-губернатора во уважение глубокой горести мужу покойной—Муравьеву, но для наблюдения за сим командирован был полицеймейстер Верещагин. За всем тем в здешней публике, любящей всегда сделать на свой манер, родились толки: одни говорят, что если Александру Муравьеву запрещен приезд в Москву с тою целью, дабы лишить его средств видеть особ, бывших с ним близкими, то они, и за сим запрещением подобно отцу его, легко могли бы найти возможность ехать к нему для свидания. Другие же, напротив, и большая даже часть, превозносят особенную доброту души отца-монарха, забывающего все прежние деяния Муравьева, говоря: «он за зло платит добром; это царь сердобольный; отец детей своих».

Неудивительно, что меньше чем через месяц отец-монарх велел перевести Муравьева председателем таврической уголовной палаты с сохранением негласной прибавки в 6.500 руб. Через три года он был переведен губернатором в Архангельск, и министр внутренних дел Блудов спрашивал Бенкендорфа, нет ли препятствий к разрешению Муравьеву приехать в Петербург. Разрешение это новый губернатор испрашивал, будучи в Москве проездом из Симферополя в Архангельск, так как ему «по делам службы встречается необходимость получить лично от министра наставления при вступлении в управление вверенной ему губернией». Николай нашел, что в Петербург допустить Муравьева еще нельзя.

При всей своей готовности припадать к ногам высшей власти Муравьев никогда не мог вести себя так, как ему бы полагалось в его положении с точки зрения этой власти. В Архангельске у него произошло столкновение с военным губернатором вследствие различия их взглядов на способы усмирения крестьянских беспорядков, возникших в связи с земельным вопросом. Военный губернатор вызвал для усмирения крестьян военную силу, а Муравьев был против этого и еще до прибытия солдат успокоил волновавшихся «мерами кротости». Произошла в чиновничьем мире большая склока, в дело вмешались разные ведомства. Николай в июне 1839 г. велел уволить Муравьева без прошения с воспрещением ему в'езда в Архангельскую губернию.

Снова опала, и Муравьев поселился в уездном Волоколамске. Притаился он там на несколько лет и проживал остатки своего скудного состояния. Лишь в 1843 году друзьям удалось устроить его снова на службу — членом совета министра внутренних дел, а в 1846 году Муравьев опять стал добиваться «высокомонаршего, высокомилостливого благовоззрения» и писал шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «Находясь почти четыре года в отставке, оправданный, однако, комитетом министров, я лишился присвоенного той должности содержания, которое было мне тем необходимее, что после 11-летних переездов с большим семейством и перемещений из-за Байкала в Иркутск, в Тобольск, в Вятку, в Симферополь, в Архангельск, я утратил почти все мое состояние и доведен теперь до крайней необходимости просить пособия, без которого я содержать себя уже не в силах». При этом он просил Орлова устроить ему возвращение милости государя, так как отсутствие последней терзает его сердце.

Много и настойчиво напирали по этому поводу на Николая Павловича, и он велел выдать Муравьеву пособие, а в 1848 году произвел его в гражданский генеральский чин. При Николае это было, однако, по значению, ниже чина полковника, и Муравьев продолжал припадать к стопам. Наконец, в 1853 году А. Н. Муравьев был переименован в полковники генерального штаба, чин, который он так блестяще заслужил еще во время Отечественной войны, 23 лет от роду. В 1855 году Муравьев был уже генерал-майором и участвовал в Восточной войне.

При Александре втором он был нижегородским губернатором и являлся одним из самых упорных, самых страстных борцов за уничтожение крепостного права. Еще во время заговора декабристов Муравьев был ревностным сторонником освобождения крестьян с землею и гневно писал о царских милостях дворянам: «Чем жаловали дворян? Поместьями, дающими им законное право (законное право!) пользоваться землями и трудами своих крестьян и располагать их участью». В Нижнем-Новгороде Муравьеву пришлось выдержать сильную борьбу с нижегородскими крепостниками, которые имели поддержку в помещиках других губерний и постоянно ссылались на былые революционные грехи старого губернатора-масона. Однако хитрый и упорный, искушенный в долголетней житейской борьбе, Муравьев

обедил, пустив, впрочем, в ход свои обычные приемы закулисной борьбы противниками. Умер он в 1863 году в звании сенатора.

Так прошла долгая административная карьера основателя первого тайного общества, из которого вырос заговор декабристов: от масонских лож — к заговору против царя, от заговора — к мистицизму и отказу от былых увлечений, от уездного мирного бытия — в Петропавловскую крепость, из крепости — в Сибирь в качестве поднадзорного, но не лишенного чинов и привилегий, через должность городничего — к высшей административной карьере с упорной борьбой за существование, с припаданием к «стопам монарха», с унижениями и низкопоклонством, но все-таки и с упорной борьбой против самодурства и казнокрадства царских чиновников. А в условиях тогдашней русской действительности борьба с злоупотреблениями чиновников и с крепостничеством имела большое революционизирующее значение.

В общем А. Н. Муравьев — личность сложная и любопытная, и исследование, посвященное его жизни и деятельности в связи с его временем, может дать интересную картину русской жизни от эпохи Наполеоновских войн до шестидесятых годов XIX века. Здесь читателю показана небольшая подробность этой сложной и многообразной картины.

Товарный голод и перспективы промышленности.

Э. Квиринг.

Мы переживаем сильнейший голод на ряд промтоваров широкого потребления. Этот голод является показателем того, что в быстром росте всего нашего народного хозяйства промышленность не поспевает за ростом благосостояния крестьянства и широких потребительских масс. Таким образом товарный голод является следствием бурного хозяйственного роста страны.

Привожу ряд показателей нашего хозяйственного роста.

Прежде всего — таблица выработки продукции государственной промышленностью, учитываемой ЦОС'ом ВСНХ СССР:

(В тысячах довоенных рублей.)

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего.
1923—24 г.	353.830	385.772	388.558	425.208	1.553.368
1924—25 »	551.820	626.220	660.337	687.639	2.524.022

В 24—25 г. стоимость продукции государственной промышленности выражается сумоой в 2½ миллиарда довоенных руб., в то время как стоимость продукции той же промышленности за 23—24 г. составляла 1½ миллиарда. На протяжении двух лет этот рост шел непрерывно из квартала в квартал. Если мы возьмем рост продукции отдельных товаров, в которых сейчас на рынке ощущается наибольший голод — например, хлопчато-бумажные ткани, то мы имеем такие цифры: в октябре 24 г., следовательно в 1-м месяце хозяйственного 24—25 г., выработано 113 милл. метров хлоп.-бум. тканей, в сентябре 25 г., т.-е. в последнем месяце законченного хозяйственного года, мы имели уже 164 милл. метров. Если допустим, что в наступившем 25—26 г. наша текстильная промышленность совершенно не увеличит свое производство по отношению к сентябрю, то это дало бы около 2 миллиардов метров хлоп.-бум. тканей, тогда как в 1912 г. хл.-бум. промышленность дала 2.176 милл. метров. Таким образом, принимая сентябрьскую выработку 25 года за среднемесячную 25—26 г., мы будем иметь производство довоенного 1912 г. Но мы знаем, что 25—26 г. даст дальнейший рост, и мы подойдем к размерам производства 1913 г. И все же этот рост для нас далеко не достаточен, так как у нас нет необходимых запасов товаров для удовлетворения осеннего спроса.

Всем известно, что осень является периодом особенно усиленной реализации основных крестьянских товаров, а наша промышленность работает еще без достаточных товарных запасов, почему именно осенью обостряется товарный голод.

Другим показателем наших хозяйственных успехов является рост биржевых товарных оборотов по Московской и 70 пров. биржам. Биржевые обороты растут быстрее роста продукции промышленности. Этот рост выражается следующими цифрами:

Октябрь 1923 г.	Оборот.	—	161 милл.
1924 »		—	498
Сентябрь 1925			979

Итак, за год — с октября 23 г. по октябрь 24 г., биржевые месячные обороты выросли в 3 раза, а с октября 24 г. по сентябрь 25 г. месячный оборот бирж вырос еще в 2 раза.

Показателем роста всего хозяйства страны является также рост нашего грузооборота. Я вам приведу цифры погрузки на октябрь 1923 года, 1924 г. и 1925 года. В октябре 1923 года средняя дневная погрузка составляла 14.700 вагонов. В октябре 1924 года — 17.800, а последняя пятидневка октября 1925 года дает 29 тысяч вагонов в день.

О том же самом говорят итоговые цифры урожая 24 — 25 г. Совершенно точного подсчета стоимости урожая текущего года еще нет, но предварительные расчеты с некоторыми поправками на то, что урожай оказался не таким хорошим, как это имелось в виду в августе, дают такие цифры: в 24 г. вся стоимость хлебов составляла 3.934 миллиона довоенных рублей, в этом году мы имеем сумму, примерно, в 5.300 милл. (по данным Госплана с поправкой). Эта последняя цифра является весьма приближенной. Пересчеты урожая производятся ЦСУ и Госпланом, и работа эта не закончена. Во всяком случае у крестьянства в этом году гораздо больше денег, чем в прошлом году. К хорошему урожаю прибавляются еще высокие хлебные цены, которые за последние месяцы в наиболее хлебных районах (на Украине и Юго-Востоке) стоят выше хлебных цен прошлого года. Вот сравнительная таблица цен (в сентябре):

(В коп. за пуд.)

	Украина.		Юго-Восток.	
	Рожь.	Пшеница.	Рожь.	Пшеница.
1924 г.	64	1,15	68	90
1925 »	90	1,49	71	1,16

Таким образом, при более значительном урожае, цены этого года на хлеб выше цен прошлого года, что создает значительное увеличение крестьянского спроса.

Если дальше обратимся к заработной плате рабочих, которые также являются потребителями промышленных товаров, то мы увидим, что за текущий год заработок рабочих и общий фонд заработной платы также значительно выросли и дают следующие цифры: в 1-м квартале 24—25 г. средняя

месячная плата по всей промышленности составляла 39 р. 55 к., в 3-м квартале эта заработная плата была 41 рубль 24 коп., а в сентябре, последнем месяце этого хозяйственного года, заработная плата поднялась до 47,6 черв. руб. Весь фонд заработной платы из квартала в квартал также рос и если в 1-м квартале рабочим всей государственной промышленности выплачивалось в виде платы 166 милл. руб., то в последнем квартале, т.-е в июле — августе — сентябре месяцах, рабочие получили 229,8 милл. рублей.

Из всего этого ясно, что и крестьянин и рабочий значительно повысили свое благосостояние в настоящем году, а следовательно, повысили и свой платежеспособный спрос и тем самым пред'явили промышленности большие требования, чем промышленность в состоянии удовлетворить.

Я уже приводил общую цифру роста нашей промышленности. Детализирую несколько этот вопрос. Наша промышленность за последние годы растет очень быстро. Так, в 1923—24 году продукция промышленности увеличилась на 32% против предыдущего года. В 24—25 году рост государственной промышленности составлял 54%; в наступивший 25—26 г. (по предварительным планам, которые вырабатываются) этот рост будет около 35, возможно около 40%. В 24—25 г. наша промышленность достигла уже 70% довоенного производства. Если обратимся к отдельным отраслям промышленности, которые сейчас нас наиболее интересуют, то мы увидим, что эти отдельные отрасли уже достаточно близко подошли к довоенному уровню. Так, в 1925—26 г. текстильная промышленность дает 92% довоенной выработки, табачная — 100%, спичечная — 92% резиновая — 80%, кожевенная — 100%, сахарная — 70%.

Эти цифры говорят нам о быстроте роста нашей промышленности.

Надо сказать, что темп роста нашей промышленности за последние годы значительно выше темпа роста промышленности европейских государств, как это ни может показаться на первый взгляд странным. Мы растем быстрей, чем растет промышленность капиталистических государств Европы и даже Америки. Я возьму только рост продукции чугуна и текстильных товаров, как наиболее показательных. К тому же суммарных сведений о всей продукции капиталистических стран у нас нет. В 25 году темп роста выплавки чугуна Соединенных Штатов составляла 28%, т.-е. на 28% возросла выплавка чугуна в этом году по сравнению с 1924 г. В Англии выплавка чугуна за тот же год уменьшилась на 7%, во Франции увеличилась всего лишь на 6%; у нас же выплавка чугуна за этот год увеличилась на целых 100%.

Текстиль. В 24—25 году потребление хлопка увеличилось в Соединенных Штатах на 4%, в Англии на 15%, в Германии на 479%, во Франции осталось на уровне предшествующего года, у нас увеличилось на 93%, по сравнению с 1924 годом.

Подобные цифры можно было бы привести по целому ряду товаров. Они говорят о том, что хотя наша продукция сейчас еще значительно ниже размеров довоенной продукции, но мы растем очень быстро, и темп нашего роста значительно превышает темп роста капиталистических стран. Достаточно при этом сказать, что если взять все европейские страны вместе, то

эти страны, так же, как и мы, не достигли еще довоенного уровня своего производства. Они проводят тот же восстановительный процесс, что и мы.

Говорят, что нельзя сравнивать темп нашего роста с темпом капиталистических стран, ибо мы использовываем то, что нам осталось от старого строя, а там строят новые. В отношении Европы подобное мнение является совершенно неправильным, так как главные европейские страны так же восстанавливают свое довоенное хозяйство, так же переоборудывают его, как восстанавливаем и переоборудываем и мы свое.

К тому же надо добавить, что в последние годы частые кризисы дезорганизуют промышленность европейских стран. В частности 1925 г. является очередным годом экономической депрессии, в то время как советское хозяйство растет непрерывно все 4 года новой экономической политики.

Тот же результат мы получаем, сравнивая теперешний темп роста нашей промышленности с ее довоенным темпом роста. Приводим следующую таблицу (см. табл. 1). Выплавка чугуна за 10-летие 91 — 900 годов в среднем за год

Таблица № 1.

СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА ПРОДУКЦИИ ГЛАВНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ РУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (в %%).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ.	ПЕРИОДЫ.		
	1891—1900	1901—1910	1911—1913
Валовая добыча угля	—	+ 5,3	+ 11,9
» нефти	+ 10,2	+ 1,2	+ 0,5
Выплавка чугуна	+ 13,3	+ 1,6	+ 14,0
Выделка готов. продукт. (проката)	+ 13,2	+ 5,7	+ 10,5
Производство железн. и стальн. полупродуктов (мартен)	+ 12,7	+ 4,0	+ 12,0
Выработано:			
Пряжи	+ 6,0	+ 3,4	+ 5,7
Суровья	+ 5,3	+ 3,8	+ 4,5
Продукция белого сахара	+ 8,3	+ 3,3	— 20,8

дала темп роста 13%, 901—910—1,6%, в 1911—1913 г.—14%. Известно, что периодами расцвета русской промышленности были 90-е годы и 1911 — 1914 г.г., а десятилетие 1901 — 1910 г.г. было десятилетием застоя. И вот — в лучшие годы под'ема мы имеем темп роста в 13—14%, а годы депрессии— всего 1,6.

Говорят, что с довоенным ростом рост нашего теперешнего хозяйства сравнивать нельзя, так как тогда строились новые фабрики, а теперь мы

используем старое. Это правильно, но лишь отчасти, ибо нужно сказать, что те капитальные затраты, которые мы производим теперь в 25—26 г., производятся не только для 25—26 г. Я уже не говорю о том, что в текущем 25—26 г. закладывается постройка, примерно, 140 новых фабрик и заводов. Мы уже вступаем сейчас в полосу не только развертывания старых заводов, переоборудования их и перестройки, но подошли вплотную к их расширению и постройке новых производственных единиц.

Но, следовательно, помимо строительства этих новых заводов в 25—26 г будут произведены значительные капитальные затраты на уже существующих заводах и фабриках. Этим мы производство наше поднимем примерно к 95% довоенного и тем самым в текущем году закончим процесс восстановления.

Капитальными затратами 25—26 г. мы не только дадим возможность промышленности развернуться до 95% довоенной продукции, но мы создаем еще известный производственный резерв для 26—27 года.

В 26—27 году мы будем иметь процесс роста производства уже сверх 100% довоенного. Намеченные капитальные работы 25—26 г. дают производственный резерв для 26—27 г. по металлопромышленности на 30—35%, угольной промышленности на 16%, рудной на 60%, электротехнической на 40%, текстильной на 15%, химической на 30% и цементной на 35%.

Эти цифры показывают, что в отношении целого ряда отраслей, после того как общий восстановительный процесс уже закончится, мы будем иметь значительные производственные возможности для ближайших лет и возможный темп роста нашей промышленности будет значительно выше довоенного роста, составлявшего около 6% в год. Он может быть выше % роста довоенного даже в лучшие годы расцвета капитализма. Разумеется, такая возможность роста обусловливается целым рядом серьезных обстоятельств. Наиболее важным для ускорения темпа развития нашей промышленности является раскрепощение крестьянского хозяйства, что подводит новую базу под промышленность.

Уничтожение помещичьего хозяйства, передача всей земли крестьянству, особое внимание к развитию крестьянского хозяйства, механизация крестьянского хозяйства, использование широких производственных возможностей, которые имеются у крестьянства, — все это дает нам возможность быстро развертывать народное хозяйство страны и вместе с этим дает возможность быстрого разворота нашей промышленности. Наша промышленность больше, чем промышленность целого ряда капиталистических государств, зиждется именно на внутреннем рынке, а этот внутренний рынок у нас в значительной мере является рынком крестьянским. Новые условия, в которых находится наше сельское хозяйство, создают новые широчайшие хозяйственные перспективы. Помимо этого целый ряд других благоприятных обстоятельств содействует возможности более быстрого роста нашего хозяйства. Прежде всего — в советской стране весь прибавочный продукт, который дает промышленность, может получить производственное назначение, так как та доля, которая в капиталистическом обществе уходит на содержание пара-

ритического класса капиталистов, целиком может быть вложена в производство. Помимо этого плановая политика государства, дает возможность так направлять развитие отдельных частей народного хозяйства, что возможно в каждый данный момент учесть наиболее слабые места и в эти слабые места направлять внимание и средства. Этим мы получаем возможность в значительной мере избегнуть острых кризисов, и наше хозяйство имеет возможность более быстро развиваться. Если мы к этому еще прибавим работу по рационализации и стандартизации производства, концентрацию производств в технически наиболее совершенных предприятиях и, наконец, правильное экономическое районирование нашей промышленности, то мы получаем целый ряд плюсов, которые дают возможность более быстрого роста. Общий рост народного хозяйства, рост платежеспособного спроса как крестьянства, так и рабочего класса, — все это создает условия, требующие быстрого роста нашей промышленности, гораздо более быстрого, чем наш довоенный рост и чем рост продукции капиталистических стран.

Я уже говорил, что основной причиной товарного голода является несоответствие разворота промышленности громадному росту платежеспособного спроса как крестьянства, так и рабочих. Вычисление платежеспособного спроса крестьянства — дело темное, и нужно сказать, что пускаться в эти вычисления — достаточно рискованно. Могу указать, что в предварительных цифрах, которые были опубликованы ЦСУ в отношении товарного спроса крестьянства в 23—24 г., мы имели цифру в 1.200 милл. Теперь, когда ЦСУ разработало баланс народного хозяйства 23—24 г. и подсчитало более тщательно, оно установилю эту цифру в 1.800 милл. Следовательно, в предварительном расчете была допущена громадная ошибка — на целую треть, поэтому и вычисление платежеспособного спроса крестьянства в текущем году является делом также довольно темным. Можно с известной приближенностью принять вычисления НКВТорга, по которым крестьянство может потратить на продукты промышленного производства примерно около 3 миллиардов червонных рублей. Этому спросу противопоставляется предложение промышленных продуктов, примерно около 2.700 милл. руб. Таким образом примерно около 300 милл. руб. остается у крестьянства, и это составляет тот излишек, который давит на рынок. К этому нужно прибавить излишек, который давит на рынок со стороны рабочего спроса, и мы тем самым получаем примерно размеры товарного голода. Но помимо этого одной из серьезных причин обострения товарного голода именно теперь является сезонность спроса. Крестьянский спрос падает главным образом на осень. По примерным вычислениям Наркомвнуторга предполагается, что в 1-м квартале, т.-е. в октябре, ноябре и декабре, крестьянин покупает около 40% товаров своей годовой потребности. Если бы у нас к осени товарные запасы были более значительны, мы бы с делом снабжения рынка справились более легко. Достаточных запасов нет, и рынок начинает лихорадить. Как розничная торговля, так частично и оптовая, пытаются использовать благоприятную торговую кон'юнктуру для того, чтобы поднажиться. Мы все достаточно хорошо знаем, что капиталисты любой страны благодарили бы своего

бога, если бы у них был товарный голод, ибо товарный голод — это самое прекрасное средство для легкой спекулятивной наживы. Но так как мы живем в рабоче-крестьянской стране и на товарном голоде никому не желаем давать наживаться, перед нами стоит задача — побороть спекуляцию. Характеристику состояния наших цен дает следующая таблица:

Таблица №

Движение цен.

	Опт. инд. Госплана.	Розничн. Кон. Инст.
1 октября 23 г.	100	100
1 января 24 »	88	87
1 апреля »	75	88
1 июля	73	89
1 октября »	72	89
1 января 25	70	86
1 апреля	69	83
1 июля	68	80
1 октября »	70	87

Первая изображает движение оптовых и розничных цен на промтовары, начиная с октября 1923 года по октябрь 1925 года, т.-е. за два года.

Оптовые и розничные цены на октябрь 1923 года приняты за 100, затем высчитано, как двигались эти цены из месяца в месяц. Общеизвестно, что осень 1923 года была периодом жестокого кризиса сбыта. Конечно, никакого перепроизводства не было, товаров было достаточно мало. Но товары были слишком дороги для крестьянства, и поэтому мы имели сильный кризис сбыта. Тогда партией была намечена политика снижения цен, которая остается основой нашей торговой политики и в теперешний период. И вот, в результате политики снижения цен мы имеем для оптовой торговли непрерывно падающую линию, которая на 1 октября 1925 года по отношению к октябрю 1923 года составляет 70%. Это значит, что оптовые цены в течение этих 2 лет, понизились в среднем на 30%. Линия, которая обозначает движение розничных цен, как мы видим, идет зигзагообразно. Сначала она резко снижается к 1-му января 1924 года, затем опять выскакивает наверх, с 1 марта снова вниз, опять подымается, опять вниз и с августа 1925 года снова поднимается круто вверх. В результате такого неровного движения розничные цены за 2 года снижены всего на 13% против 30% снижения оптовых цен. Вот две основные цифры, которые определяют собой движение оптовых и розничных цен за последние два года.

Следующая таблица [1]) показывает высоту торговых накидок в розничной продаже по 9 промтоварам: спичкам, соли, махорке, галошам и т. д. Высчитана она с апреля 1924 года. Оптовые цены для каждого месяца приняты за 100, а розничные показывают высоту накидки. В апреле 1924 года мы имеем 33% накидок, затем с июля эта накидка начинает расти, давая

[1]) Табл. № 3, стр. 177.

Таблица № 3.

ДИНАМИКА

движения надбавок в наборе 9 промтоваров.

(В $^0/_0$ $^0/_0$ к оптовой цене).

1 апреля 24 г.	33,5	1 января 25 г.	40,3
1 мая » »	33,8	1 февраля	39,9
1 июня	33,5	1 марта	38,1
1 июля »	37,0	1 апреля	36,1
1 августа »	40,1	1 мая	34,2
1 сентября »	41,8	1 июня	35,3
1 октября »	41,5	1 июля	—
1 ноября » »	45,2	1 августа »	33,4
1 декабря » »	41,8	1 сентября »	36,6
		1 октября »	47,2

августе 41%, в октябре 45%, затем понижается вниз, доходит до 34% апреле и 33% в июле, выскакивает снова вверх и на 1 октября розничные акидки составляют 47%, т.-е. на 1 октября 1925 г. розничные накидки на оптовые цены поднялись выше, чем на то же время прошлого года, и это несмотря на громадный рост нашей продукции. В движении розничных накидок необходимо отметить основную закономерность, которая заключается в том, что розничные цены, начиная, примерно, с июля месяца или с августа, ежегодно довольно круто поднимаются и достигают, примерно, в октябре или ноябре своего наивысшего роста. Затем начинается падение, к весне кон'юнктура торговая ослабевает, и розничные торговцы вынуждены, чтобы быстрее продавать товар, сокращать накидки. Но как только наступает осенний спрос, немедленно, независимо от роста оптовых цен, начинается рост розничных накидок. В общем розничные цены ведут себя довольно неприлично. Можно выразиться так: оптовые цены ведут себя в общем по-советски, а лихорадящие розничные цены ведут себя не по-советски, совсем не по-советски. Розница использовывает полностью кон'юнктуру и сильно отрывается от оптовых цен. Для иллюстрации приведу весьма характерные цифры роста розничных цен в отношении ситца. Цифры, взятые по индексу Центр. Стат. Труда, сведения собраны по 52 городам. Один метр ситца на 1 сентября и октября 1924 года стоил 53 коп. На 1 октября 1925 года метр ситца стоил 49 коп., а на 1 октября—55 коп., т.-е. в этом году, несмотря на значительное понижение оптовых цен, метр ситца в городе, а не в селах, стоит дороже. Если бы мы могли взять сельский индекс, то мы увидели бы гораздо более значительную цифру накидок, которую вынуждены платить крестьяне сельским торговцам. В октябре этого года в городе 1 метр ситца стоит дороже, чем в прошлом году. Соответственно этому идет накидка. В прошлом году она составляла 43% на оптовые отпускные цены, в этом году — 62%. Вы видите — какой громадный рост накидок. Некоторые товарищи говорят, что нельзя обвинять розничные цены. Надо, говорят, обратить внимание на оптовые цены, ибо повышение розничных цен есть лишь следствие под'ема оптовых. Можно согласиться с этими товарищами, что и оптовые цены за

последние месяцы ведут себя не совсем прилично, но все-таки это непр... несколько иного характера, чем то, которым характеризуется движени... ничных цен. Если говорить о росте оптового индекса Госплана, то на... мнить, что этот оптовый индекс Госплана составляется из продаж в ... руки и перепродаж. Мы все прекрасно знаем, что за последнее время ... продажи на бирже имели значительное место и в этих перепродажах ... ствуют, главным образом, банки, местные торги, местная кооперация и ... торговец. Следующая таблица[1]) показывает участие разных контраг... в обороте товарных бирж. Здесь взяты обороты по МТБ и 70 провинц... ных бирж.

Из приведенной таблицы следует, что доля государственных ор... падает. Если в октябре 1923 года госорганы покупали около 68% всех ... ров, то теперь они покупают около 51—52%. Зато растут покупки ко... рации. В октябре 1923 года оборот кооперации составлял всего лишь ... затем эта линия идет значительно вверх, понижается, затем опять по... шается и дает к октябрю, примерно, 37%. Доля в оборотах бирж частно... капитала также падает. В октябре 1923 года это участие составляло око... 18%. На 1 сентября текущего года мы имеем всего около 7%. — Опто... индекс Госплана отражает сделки как госорганов, так и кооперации и част... ного капитала. Поэтому надо различать оптовые цены по индексу Госплана и оптовых отпускных цен трестов ВСНХ. Это особенно важно для послед... них месяцев, когда спекулятивный ажиотаж охватил оптовую торговлю.

ВСНХ ведет особый индекс отпускных цен трестов, и в то время, как за месяцы июль, август, сентябрь 1925 года оптовый индекс Госплана возро... на 2,4%, отпускной индекс трестов упал на 0,3%.

Из сопоставления всех этих индексов следует:

1) госпромышленность в общем и целом выполнила возложенные на нее государством задачи снижения оптовых цен и выдерживает эту линию даже в условиях сильнейшего товарного голода и рыночного ажиотажа;

2) оптовая торговля, поскольку она в главной массе находится в руках госорганов, за два года в общем выполнила задачу снижения цен, но оптовая торговля частично подвержена рыночному ажиотажу;

3) розничная торговля не выполнила задачу снижения цен и почти це... ликом во власти рыночного ажиотажа.

Последнее обстоятельство в значительной мере надо отнести за счет роли частного капитала. Участие частного капитала в общем товарном торго... вом обороте еще достаточно значительно. Если в оптовых покупках этот процент низок, примерно 7, то в общем торговом обороте за 1924—25 г. частный капитал имел 27% (по данным тов. Струмилина). К сожалени... сейчас нет цифр о доле частника в розничной торговле. Я думаю, что торг... вый частный капитал имеет еще около 50% розничного оборота, и он сильно повинен в том вздувании розничных цен, которое имеется сейчас. Нельзя, конечно, сказать, что виновен в этом деле один частный капитал, виновата

[1]) Таблица № 4, стр. 179.

Таблица № 4.

ОБОРОТЫ М Т Б и 70 ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ БИРЖ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ КОНТРАГЕНТОВ за 1923—24 и 1925 г.г. (в %%).

	ПРОДАЖА.					ПОКУПКА.				
	Госорг.	Кооп.	Частн.	Смеш.	Всего.	Госорг.	Кооп.	Частн.	Смеш.	Всего.
1923/24 год.										
Октябрь	74,5	9,8	12,9	2,8	100	69,9	9,9	18,6	1,6	100
Ноябрь .	79,0	7,0	11,2	2,8	100	64,0	10,8	22,1	3,1	100
Декабрь .	82,0	7,2	8,8	2,0	100	64,0	13,4	19,0	3,6	100
Январь .	82,4	6,3	8,8	2,5	100	48,1	15,3	23,2	3,4	100
Февраль .	83,6	5,2	8,9	2,3	100	56,4	18,8	21,5	3,3	100
Март .	85,1	5,1	7,4	2,4	100	56,5	21,9	17,3	4,3	160
Апрель .	84,2	4,7	7,0	4,1	100	53,6	26,6	16,3	3,5	100
Май . .	85,3	5,5	6,8	2,4	100	58,2	24,1	15,9	1,8	100
Июнь .	85,4	5,5	6,7	2,4	100	56,9	27,5	13,4	2,2	100
Июль .	85,1	6,5	5,7	2,7	100	56,9	29,9	10,3	2,9	100
Август .	82,6	9,2	6,2	2,0	100	54,2	32,5	10,0	3,0	100
Сентябрь .	83,2	9,1	5,1	3,6	100	58,6	32,2	7,0	2,2	100
Всего за год . .	83,1	6,8	7,6	2,5	100	58,4	23,3	15,4	2,9	100
1924/25 год.										
Октябрь .	85,4	7,9	4,1	2,6	100	59,2	31,5	6,3	3,0	100
Ноябрь .	83,7	9,3	4,7	2,3	100	57,0	30,7	7,6	4,7	100
Декабрь .	83,9	8,9	4,9	2,3	100	59,5	30,4	6,7	3,4	100
Январь .	85,0	7,1	5,1	2,8	100	59,0	28,7	9,7	2,6	100
Февраль .	85,1	8,0	4,6	2,3	100	65,5	24,5	8,0	3,0	100
Март .	86,0	7,6	4,3	2,1	100	65,0	25,0	7,4	2,6	100
Апрель .	87,5	6,1	4,3	2,1	100	59,0	27,5	9,8	3,7	100
Май . .	87,5	5,6	5,0	1,9	100	57,2	28,7	12,3	1,8	100
Июнь .	88,4	5,6	4,5	1,5	100	58,2	29,2	10,8	1,8	100
Июль .	89,0	5,1	3,8	2,1	100	61,7	27,2	8,9	2,2	100
Август .	86,4	6,9	4,9	1,8	100	56,1	31,5	9,7	2,7	100
Сентябрь .	88,2	5,6	4,2	2,0	100	51,2	38,2	7,5	3,1	100
Всего за год . .	86,8	6,6	4,6	2,1	100	57,8	30,4	8,9	2,9	100

в этом и госторговля, виновата в этом и кооперация. Я приведу несколь цифр, которые характеризуют кооперативные накидки за последний го По данным Центросоюза: на 1 октября 1924 г. по потребительным обществ городов накидка была 33%, а на 1 октября текущего года накидка предст вляет 39% (к отпускным ценам Центросоюза). Кооперация, как мы види также поднаживается на товарном голоде. Она недостаточно до сих пор в полняла те задания, которые возлагало на нее государство.

Какой же из всего этого следует вывод? Что нам необходимо сдела сейчас для того, чтобы улучшить положение? Я думаю, что на первом мес должны стоять мероприятия экономического порядка. Первое требовани которое мы пред'являем, это — требование увеличить количество товара, тр бование к нашей промышленности, особенно тех отраслей продукции, кот рых сейчас недостаточно на рынке.

Но вместе с тем мы должны прямо сказать, что даже при быстром рост промышленности в периоды усиления спроса может оказаться недостаточно то варов, так как рост благосостояния крестьянства и рост фонда зарплаты буду опережать рост промышленности. Этим стесненным положением всегда захо чет воспользоваться торговля, не находящаяся под руководством государства

Поэтому помимо мероприятий по расширению промышленности мы должны принять решительные меры в области государственного регулирова ния торговли. Я думаю, что постановление СТО, которое сводится к тому что госпромышленность и синдикаты должны быть привлечены к делу эконо мического регулирования цен, является важнейшим решением. Наши государ ственные синдикаты и тресты являются не только торговцами, они являются торговцами государственными, они заинтересованы не только в том, чтобы продать и как всякие капиталисты продать возможно дороже, они заинте ресованы и в том, чтобы продать по той цене, которая установлена государ ством как цена приемлемая и для промышленности и для страны, в том чтобы продвинуть этот товар с наименьшей накидкой к потребителю. По этому они не могут быть безразличны к тому, что делается с товаром, когд он попадает в товаропроводящую сеть. В этом основное различие между государственным торговцем и между торговцем частным. Отсюда госорганы должны ввести в практику своей работы установление в договорах как с кооперацией, так и с частным торговцем максимального % накидок, накидок на основные товары, которые этот торговец обязуется производить при продажах. В этом договоре должна быть включена соответствующая неустойка за превышение установленного % накидок.

Я думаю, что это мероприятие явится серьезнейшим экономическим мероприятием регулирования и правильной организации нашего рынка. Некоторые понимают дело так, что ВСНХ, в частности тов. Дзержинский, который очень решительно выступил за снижение розничных цен, необходимость чего подтверждена всеми нашими правительственными и партийными органами, имеет целью так или иначе задушить частный капитал. Это, конечно, совершенно неправильно. Выступление ВСНХ есть выступление против спекуляции, где бы эта спекуляция ни производилась.

Мы, к сожалению, должны признать, что ревизия, которая была произведена Комвнуторгом в Москве, показала, что в спекулятивном деле принимал очень широкое участие целый ряд кооперативных и государственных органов. В Москве сейчас выше сотни представительств сельских и местечковых кооперативов, которые приехали сюда якобы для снабжения своих районов товарами, а на самом деле они здесь занимались спекуляцией, перепродажами, вздували цены, срывали политику государства.

Есть такие кооперативы, которые после ревизии заявили: «мы, собственно, не кооператив, а акционерное общество». С этого надо было бы и начинать, а они додумались лишь после ревизии. Во всяком случае, с такого рода экономической деятельностью отдельных государственных и кооперативных органов мы должны самым решительным образом бороться. Мы думаем, что в торговом законодательстве нужно установить такое положение, чтобы для каждого госторга и кооператива был оговорен определенный круг его торговой деятельности: если ты, например, Турказторг или Азторг, то, пожалуйста, занимайся снабжением Туркестана и не торгуй в Москве, потому что в Москве есть, слава богу, кому торговать без Азербайджанторга и других торгов! Одним из серьезнейших недочетов нашей торговой работы является принудительный ассортимент, который является довольно значительной причиной вздувания розничных цен. С принудительным ассортиментом сейчас ведется серьезная борьба. В этом вопросе дело доходило до смешного. В последних газетах опубликован ряд случаев, когда при покупке мануфактуры заставляли покупать кавалерийские седла, револьверные кобуры, и некий талантливый торговец ухитрился мануфактуру нагрузить ночными горшками, а другие органы давали на придачу шкафы. Я думаю, что если бы такого торговца посадить в шкаф на порядочное время для того, чтобы он подумал о правильной торговой деятельности, он стал бы более талантливым торговцем. Надо признать, что в одних случаях принудительный ассортимент является следствием довольно серьезных финансовых причин. Наша государственная промышленность и кооперативная не имеет достаточных средств для накопления сезонных товаров и поэтому она всячески выкраивает средства. Не имея возможности подготовить необходимый товар к сезону, не имея средств, чтобы держать достаточные запасы, она пользуется товарным голодом для того, чтобы вместе с ходовыми товарами проталкивать в торговые каналы товары не ходовые. Но было бы весьма вредным, если бы вместо решительной борьбы с принудительным ассортиментом мы начали философствовать, что положение промышленности и кооперации тяжелое, что не имеем достаточных средств, поэтому приходится на принудительный ассортимент смотреть сквозь пальцы. Я думаю, что товарищ Дзержинский был совершенно прав, когда на одном собрании хозяйственников запретил всем хозяйственникам оправдывать принудительный ассортимент: *никаких оправданий нет тому, кто применит принудительный ассортимент*. Финансовое положение тяжелое — это так, но нужно находить из этого положения другие выходы, а не принудительный ассортимент. К тому же в значительной мере принуди-

тельный ассортимент основан на недостаточно умелой торговой де-тельности.

Часто наши торговцы закупают не то, что нужно, запасаются чог знает каким товаром и потом не знают, что с ним делать, и так как благодаря такому затовариванию находятся в тяжелом финансовом положении то и начинают выдумывать всякие фокусы насчет того, чтобы награждат своих покупателей шкапами, револьверными кобурами и всяким иным хламом В Ростове, например, к галошам обязательно отпускается флакон гуммиарабика. Это, очевидно, из тех соображений, что галоши могут порваться и их на чинить. Это, конечно, похвальная предусмотрительность, но тогда надо был бы дать еще в придачу и старую галошу, для того, чтобы было и чем чинит

С принудительным ассортиментом надо кончить, и уже это одно сам по себе поможет оздоровлению рынка.

Со стороны представителей частного капитала слышатся жалобы на то что политика государства в отношении частного капитала неровная, что эт нервирует частный капитал. Я допускаю, что многие частные торговцы нервничают, когда им напоминают, что в советском государстве нельзя спекулировать, но я думаю, что у крестьянина, который в этом году за мануфактуру должен платить дороже, чем в прошлом году, нервы тоже в очень плохом состоянии. И если при этом мы имеем такое обстоятельство, что розничные цены скачут вверх гораздо быстрее оптовых, если государственная промышленность выдерживает на протяжении нескольких лет снижение оптовых цен, а в это время торговый капитал, и, конечно, на первом месте частный капитал, увеличивает % накидки, увеличивает цену товара, пользуясь тем, что этих товаров недостаточно, то я думаю, что мы нервы этому торговому капиталу немножко попортим, а нервы крестьянина тем самым подлечим. Я думаю, что мы не проиграем на этом деле, и тем представителям частного капитала, которые этого не захотят понять, придется еще больше испортить нервы. Тут ничего не поделаешь.

Мы никогда не отказывались от административной борьбы со спекуляцией. Я уверен, что обследование, произведенное в Москве, не может окончиться без судебных процессов. Я уже подчеркивал, что дело не в административных мероприятиях. Эти мероприятия являются лишь сопутствующими для выявления правильной торговой линии, а правильная торговая линия должна заключаться в том, чтобы государственная оптовая торговля, используя свое положение на рынке, подчинила себе торговых контрагентов, и в первую очередь частный капитал, и пред'явила бы к ним определенное требование: «Мы вам продаем товар по такой цене, будьте добры провести его по своей проводящей сети с нормальной торговой накидкой!». Возражают, что для надзора за торговлей нужно много агентов и трудно уследить. У нас имеется НКВТ, который за этим должен смотреть. При установлении предельных торговых накидок надо, конечно, иметь в виду, чтобы эти накидки давали известную прибыль торговцу.

Если частный капитал хочет установить для себя возможность работать, если он хочет получить товар, он должен перед лицом нашей государ-

ной промышленности зарекомендовать себя как честного контрагента. Если эти условия не будут ими выполнены, то придется ему нервничать, потому что государственная власть со спекулятивными торговыми накидками мириться не может.

Для того, чтобы исчерпать вопрос о частном капитале, надо еще сказать об его участии в промышленности в целях расширения производства предметов широкого потребления.

Несомненно, что частные торговцы уже скопили известный капитал, который в интересах всей страны должен быть вложен в промышленность или строительство.

Частный капитал имеет к этому все пути, лишь бы у него были деньги. Но многие представители частного капитала считают, что на развитие частной промышленности государство должно организовать долгосрочный кредит по принципу: инициатива частная, деньги государственные.

По этому пути мы итти не можем. Средства государственные недостаточны для нужд государственной промышленности. Поэтому милости просим собственными средствами, без залезания в государственный сундук.

Наше законодательство ограничивает частный капитал мелким производством; но вместе с тем концессионная форма допускается не только для иностранных капиталистов, и накопленный «отечественный» частный капитал может таким образом быть вложен в промышленность в порядке концессионном.

Но возлагать большие надежды на вложение в промышленность частного капитала не приходится, и изживание кризиса надо искать по линии расширения государственной промышленности.

Проблема товарного голода до известной степени может быть разрешена дополнительным ввозом иностранных товаров широкого потребления. В последние месяцы уже поступили значительные партии заграничной мануфактуры и других товаров.

Но размер ввоза товаров широкого потребления тесно связан с размером нашего экспорта и размером необходимого ввоза сырья для нашей промышленности.

Советской стране гораздо выгоднее ввезти лишний миллион хлопка, чтобы переработать его на наших фабриках, чем купить на эту сумму готовую заграничную мануфактуру.

Из-за границы нам более выгодно ввозить недостающее у нас сырье и оборудование.

Ввоз же готовых товаров имеет лишь временное значение для удовлетворения наиболее острых потребностей.

Народное хозяйство Советского Союза за последние годы гигантски выросло. Этот рост влечет за собой диспропорцию отдельных отраслей народного хозяйства. В настоящее время отстает от общего роста промышленность, поэтому важнейшей хозяйственной задачей является разворачивание

Фрунзе.

Дм. Фурманов.

Первая встреча.

Помню я — Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, неисход безработицу, армию раздетых, голодных ткачей. А на-ряду с тем — кипу работа в фабзавкомах, закреп Советской власти, строительство нов красно-ткацкой Иваново-Вознесенской губернии: из кусочков Владимирск Ярославской и Костромской надо было сшить свою, текстильную. Фрунзе в дни работал председателем Шуйского совета. И его вызвали в Иваново на это новое, большое дело. В конце года были с'езды — на этих с'ез и решали вопросы организации губернии — в работах с'ездов первая принадлежала Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти с добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темно-русые волосы, кинутые назад густою волнистой шевелюрой. Движенья Фрунзе были у тельно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и женье тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в минуту: говорит спокойно — и движенья ровны, плавны и взгляд покоен существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспы огнями серые глаза, выскочит по лбу поперечная строгая морщинка, маются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро переметыва на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как де себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кип порыв. Прошли минуты, спало волненье — и вошли в берега передрожа страсти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны женья, только редко-редко вздрогнет в голосе струнка недавнего бур прилива. Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного первого засе в 17-м году, и сколько потом ни встречался с ним в работе, на фронтах я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органич цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара — и теперь ходил к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи, и крестьяне-лапотники, шли к своему старинному подпольному другу, к Мише, которого еще по давним-давним дням знали и помнили как ласкового, доброго сероглазого юношу.

Весть об его смерти.

В начале этого года погиб драматической смертью старый большевик, иваново-вознесенский ткач, Семен Балашов, «Странник», как звали его в подпольи. И мы тогда, иваново-вознесенцы, живущие в Москве, собирались, обсуждали, как отозваться на эту смерть, как хоронить. Прошло почти полгода — и снова собираемся за тем же столом, те же, что тогда, но обсуждаем иной вопрос: как отозваться на смерть дорогого земляка, Михаила Васильевича Фрунзе. Тот раз и сам Фрунзе ходил к Балашовскому гробу, теперь надо его хоронить.

У каждого так много-много есть что вспомнить и что сказать, но больше молчим, не вяжутся речи, обрывками слов толкуем про делегацию из Иваново-Вознесенска в 500 человек, про комиссию по увековеченью памяти, про сборник, что-то еще...

Вот сидит — поникшая, печальная — старая когорта подпольщиков. Они помнят мальчика Мишу, совсем безусого юнца, когда держал он пламенные речи на людных рабочих митингах, знают его по каторжным централам, где юный большевик «Арсений» воодушевлял, заражал товарищей своей бодростью, свежестью, непоборимой верой в победу, победу — победу великого дела борьбы.

Они его помнят по тюрьмам, по ссылке, знают, как он спокойно, мужественно ожидал виселицу... Летучие мысли, памятки, воспоминанья...

Потом пошли в Колонный зал.

Там траурной сетью обвиты стены, там в тысячах огней горит зал, но невесело его сиянье, тускл этот похоронный свет пустых, огромных комнат. Склонились знамена, в черных лентах замер портрет красного полководца. Тихи разговоры, задушены горечью, болью стиснуты речи — так тихо бывает только в комнате трудно-больного, когда близка смерть.

Уж полночь — скоро из больницы привезут гроб. Мы выстроились в ряды, ждем — скоро принесут. И вот — заплакал оркестр похоронным маршем, вздрогнули наши ряды, головы обернулись туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул, и новый, и новый — бессменные караулы у гроба полководца...

Вот Надежда Константиновна — скоро два года как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как

мучительно должно быть теперь ее состоянье: не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно много вобрало в себя страданья, что остыло в сосредоточенном недвижном выраженьи — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

Мы дежурим в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно-дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль. Но об этом не теперь, будет время— вспомним.

Проходят вереницы в почетные караулы — до утра не редеет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом, — идет Москва к праху славного воина.

Как собирался отряд.

Иваново-Вознесенск. Конец 1918 года. Заседает бюро губкома —обсуждают вопрос о необходимости создать спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский фронт. Говорит Фрунзе:

— Положение совершенно исключительное. Так трудно на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем порядке сделать армии впрыскиванье живой рабочей силы, надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, мобилизовать партийных ребят — ЦК проводит партийную мобилизацию...

А нам, иваново-вознесенцам, колчаковский фронт важен вдвойне — там пробьем дорогу в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса...

Я помню, — все мы, верно до последнего человека, заявили о готовности своей итти на фронт. Но нельзя же отпустить целый губком — стали делать отбор.

И какое было жадное соревнованье: вперебой каждый рвался, чтоб отпустили именно его, высказывал доводы, соображенья... В личной беседе, еще раньше — Фрунзе говорил мне, что берет с собой; он уже назначался командовать IV армией. И каков же был удар, когда я узнал, что вместо меня едет Валерьян Наумов. Я устроил сцену и Валерьяну, и Фрунзе.

— Ну, как-нибудь там устройте... может, и отпустят... — посоветовал Михаил Васильевич.

Переборол. Согласились. Уже много позже дали бумагу в том, что являюсь «...уполномоченным Иваново-Вознесенского Губернского Комитета Российской Коммунистической Партии по препровождению Отряда Особого Назначения при IV армии в район действий этой армии.

За председателя *А. Воронский*

Секретарь *Калашников*».

На этом же заседании постановили и про отряд. У меня сохранился й документ. Вот он:

«Выписка из журнала заседания.

›о Губернского Иваново-Вознесенского Комитета сийской Коммунистической Партии от 26 декабря 1918 года.

1. Ввиду особой важности для нашего промышленного текстильного на скорейшего завоевания Оренбург-Ташкентского направления;

2. В виду необходимости поднять настроение стоящих там красноар- ких частей и

3. Принимая во внимание от'езд на этот участок фронта — председа- Губернского Комитета партии товарища Фрунзе — постановляется:

Организовать отряд особого назначения из рабочих ново-Вознесенского текстильного района и отослать его в район действия армии.

За председателя *А. Воронский*

Секретарь *Калашников*».

№ 89.
25 января 1919 года.
Иваново-Вознесенск.

Мы горячо взялись за отряд — рабочие шли охотно, в короткий срок бралось как надо. Приодели из последнего, добыли с трудом оружие — ется, сносились с Москвой, свезли оттуда.

Натащили литературу, в Гарелинских казармах, где стояла часть от- а, вечерами занимались культработой, готовились к фронтовой борьбе, — имали, что придется действовать не только штыком, но и дельным, нуж- словом. Особенно помнится мне в эти дни близкий друг Фрунзе, — Павел панович Батурин. Он в те дни заведывал губернским отделом народного яйства. Но при организации отряда он все время возился с оружием, всюду собирал его, раздавал отряду.

Позже, в конце 1919 года, прислал его Фрунзе вместо меня, отозван- о на другую работу — комиссаром чапаевской дивизии. Но недолго про- отал он на этом посту — казацкий налет изрубил штаб, изрубил полити- кий отдел, погиб тогда в жестокой сече и славный комиссар Павел гурин.

Мне помнится, он все рассказывал про Фрунзе, как тот сидел во Вла- ирском централе, как ему Павел Степанович переправлял туда книги, рас- азывал диковинные вещи про смертника Фрунзе: в заключеньи он не поте- бодрость настроения, много занимался собою, изучал что было можно, товарищей являлся лучшим образцом, подбадривая их своим примером.

Отряд был готов. Погрузились. Проводили нас тысячные толпы рабочих, казывали не посрамить красную губернию ткачей, клялись не забывать ши семьи, помогать им в трудные дни.

Мы приехали в Самару, там ждал приказ Фрунзе, — направляться медленно в Уральск.

Так началась боевая история славного Иваново-Вознесенского пол... он бился с Колчаком, потом ходил на Польский фронт — в рядах героической Чапаевской дивизии.

И в самые тяжкие минуты помнили бойцы своего командира Фрунзе, воодушевлялись одною мыслью, что он где-то здесь, около них, что он руководит борьбою...

Последний вечер.

В конце восемнадцатого года, когда решен был вопрос об отправке на фронт из Иваново-Вознесенска рабочего отряда — мы, группа партийных тамошних работников, собрались на разлуку: многие из нас уезжали вместе с отрядом.

Собрались запросто посидеть, потолковать, обсудить обстановку, создавшуюся в губернии в связи с от'ездом такой массы ответственных партийцев. Были тут — Любимов, Андреев, Игнатий Волков, Калашников, Шорохов Дмитрий Иванович, Валерьян Наумов, всего что-то человек 20—25. Мы понимали, что собираемся может быть последний раз, что больше в таком составе не собраться уже никогда — открывалась перед нами новая полоса жизни. Вот мы рассыплемся по фронту, вот перекинемся на окраины, зацепимся на боевых, командных, на комиссарских постах, может быть застрянем где и по гражданской работе в прифронтовой полосе.

Так думали, так оно и случилось — мы уже потом, через годы, совсем неожиданно сталкивались друг с дружкой где-нибудь на Урале, в Сибири, в Поволжьи, даже в далекой окраине Туркестана, в Джетысуйской области. Иные уж и совсем не воротились назад: в первых же боях с уральскими казаками погиб старейший большевик Мякишев; потом зарубили казаки же под Лбищенском Павла Батурина, а где-то под Пугачевском, окружив и скрошив наш полк, озверевший враг надругался над трупом рассеченного в бою незабываемого бойца и комиссара Андреева.

Да, мы знали тогда в этот прощальный вечер, что собираемся в последний раз. С нами был и Фрунзе — он вскоре принимал командование армией, уезжал в Самару. Сколько там выхлеснуто было пламенных речей, сколько было пролито дружеских настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная уверенность в счастливом исходе боевой страды!

Помню, Фрунзе говорил все про свое, про заветное:

— Ну, что ж тяжело — может быть и тяжелее... Нам бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом — там прямая дорога к Туркестанскому хлопку...

Эх, хлопок-хлопок, как бы ты разом на ноги встряхнул наши притушенные корпуса...

И когда мы потом очутились на фронте—казалось: самая острая мысль, самое светлое желанье Фрунзе устремлены были именно к Туркестану.

Лишь только «откупорили Оренбургскую пробку» — Фрунзе сам помчал Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщал тогда всем новых хлопковых эшелонах, тронутых на север: видно, в этот момент осуществлялась лучшая, желаннейшая его мечта...

Сидели и толковали мы тогда, в Иванове, про разное, говорили много про голод рабочего района.

— Будем оттуда помогать, — сказал уверенно Фрунзе, — как только малейшая возможность, — глядишь, десяток-другой вагонов хлеба можно и дать!

И помню, уже с фронта — сколько раз отсылал он голодным ткачам хлебные составы, сколько положил он тут забот, сколько выдержал осад из Наркомпрода, сколько крови попортил на спорах, на уговорах, на всей этой сложнейшей возне с заготовками и самостоятельной переправкой эшелонов Иваново-Вознесенску: в те дни задача эта была исключительно трудна.

И вот о чем — о чем только ни говорили мы в тот памятный вечер — все зарубал Фрунзе в своей памяти, все осуществлял потом среди адской работы, несмотря ни на какую сложную обстановку.

Он свой Северный край, Иваново-Вознесенский край, любил какой-то особенной, нежной любовью. Даже и теперь, в эти вот дни перед смертью, перед операцией, он наказывал кому-то из ближайших друзей, не то Любимову, не то Воронскому:

— А помру — похоронить меня в Шуе... там, — знаешь, что на Осиновой горке...

И все-все припомнилось мне теперь из того незабываемого, прощального вечера.

Мы пели песни — запевал Любимов любимую свою:

Уж ты сад, ты мой сад.
Сад, зеленый мой...

Мы хором подхватывали, дружно вели мелодию прекрасной, печальной песни. Пел и Фрунзе. Он положил голову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые глаза были свежи и трезвы, видно было, что и за песней все работает-работает без перебоя его мысль, не оставляют его какие-то тревожные думы.

Уж давно и далеко вглубь ушел тот вечер, ему восемь диковинных и великих годов. Уж многих нет из тех, что пели тогда про зеленый сад, а теперь вот ушел и лучший, первый между нами, нет любимого Михаила Васильевича, нет прекрасного и редкостного человека с мудрой головой и с нежным, с детским сердцем.

Встреча в Уральске.

Иваново-вознесенский рабочий отряд временно задержали в Самаре. Нас четверых: Игнатия Волкова, Андреева, Шарапаева, меня, Фрунзе срочно вызывал в Уральск. Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта была под самым Уральском, что-то в верстах двадцати-тридцати. Мы

ехали степями, на перекладных и дивились на сытую жизнь степных бо[гатых] сел-деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не д[авали] хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а карт[офель] ели взасос и на закуску, нам после этого сурового голода степная ж[изнь] показалась сказочно-привольной, удивительной и непохожей ничуть-н[и]... на ту жизнь, которою жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей севе[рной]... близкое дыхание фронта. Степь была, как вооруженный лагерь — ... полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом—мобилизована... фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про каз[ачьи] сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то-и-[дело] раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что ... в новую жизнь.

Приехали в Уральск. Уральск—просторный степной город, в нем с[осре]доточилось в те дни огромное количество войск: отсюда уходили полки на п[ози]цию, сюда приходили со смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, не то учебная, не то случайная, на удаль, как здесь в то время говорили, — «огонь по богу!». По[мнится], встретились с одним из ближайших помощников Фрунзе, с Новицким Федор Федоровичем, он с ужасом заявил:

«Чорт знает чего палят. И поверите ли: за сутки больше двух мил[лионов] лионов патрон ухлопают... Не взять еще сразу нам в руки: ...ну да ос[мо]тримся, остепеним...».

И в самом деле — остепенили: пальбу и весь этот вольный разгул ути[ши]шили скоро, — особенно же когда влились сюда иваново-вознесенские тк[ач]и.

Мы, как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказыва[л] тот же Федор Федорович:

«Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все время выскакивает вперед...

Мы уже спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все придерживали около себя... да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в ка[пу]ну не попали...».

Мы входили в комнату Фрунзе, он сидел, склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки... Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты, обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидыва[ли] мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда окончится совещание. И потом, когда спецы ушли и мы остались одни — он подсел к нам на диван, обернувшись из командующего — старым милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроение в степи, как мы сами тут устроились

Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать... Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

А под глазами-то кружки... осунулся.

— Прожелтел...

— Мы не видели его всего-на-всего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого доставалась ему боевая работа.

Скоро мы все раз'ехались к действующим частям, утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.

Примиритель.

Близкие друзья когда поспорят, так крепко: наотмашь, сплеча, не жалея самого дорогого, — свою дружбу.

Как-то злые и нервные до предела ехали мы в степи с Чапаевым. Он слово — я слово, он два — я четыре. Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано — одумались, смолкли. И ни слова не говорили весь путь — до штаба Кутяковской бригады. Отношенья переменились как-то вдруг, и мы ничего не могли поделать с собой. Экспансивный и решительный, мало думая над тем, что делает — Чапаев написал рапорт об отставке. Дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. А я знал, о чем будет этот доклад — Чапаев вгорячах может наделать всяких бед. И я послал Фрунзе поперечную телеграмму: не разрешайте, мол, Чапаеву выезжать на доклад, скоро приедем вместе, тогда выясним дело.

Фрунзе Чапаеву воспретил приезд. Прошли дни горячих боев — мы собрались, поехали в Самару.

Звоним из штаба на квартиру:

— Михаил Васильич дома?

У телефона жена Фрунзе, Софья Алексеевна:

— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только пожалуйста недолго, не утомляйте его...

Приехали. Входим. Михаил Васильич бледный, замученный лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать. Говорит о положеньи на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, справляется о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит-говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то-и-дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказывал, что хотел, выговорился до дна — кинул нам, улыбаясь:

— А вы еще тут скандалить собрались? Да разве время, ну-ка, подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались — мы чувствовали оба себя, словно прибитые дети, а он еще шутил — напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!

Мы с Чапаевым уходили опять друзьями — мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух.

Десять минут.

Иной летучий, крошечный фактик так врезается в память, что не забыть его во всю жизнь. Это значит, что фактик этот по существу своему был не мелочью, что действие его было глубокое, что смысл его был серьезен и только внешняя форма — летучесть, краткость, внезапность — отпечатлели его как мелочь.

Как-то в 1919 году, в апреле—мае, полки Кутяковской бригады расколотили Колчаковскую часть, уж не помню насколько значительна и важна была эта победа, не помню, были ли какие трофеи, выигрывалось ли особо серьезно положение. Но после удручающих весенних неудач и этот выигранный бой был на виду. Штаб бригады стоял в какой-то татарской деревушке Маленькая закуренная комнатка, телефоны, аппараты на столе, склоненные чирикающие телеграфисты, Кутяков сидит в углу, шепчется с начштабригом. То-и-дело взвизгивает дверь в избу — командиры ли, вестовые входят, иной раз в латанной шапке, в ватном балахоне прорвется житель-татарин с жалобой за теленка, за хлеб, за утащенную неведомо кем и когда лопату, бадью, оглоблю...

В штабе шум и гул, в штабе чирикающий, беспрерывный говор аппарата... И вдруг тихо:

— Фрунзе приехал...

— Как Фрунзе, где?

— Сюда не смог — машина стала в грязи... Подходит пешком... С ним какой-то усатый... Ну уж, конечно, усатый этот — верный его боевой соратник, Федор Федорович Новицкий.

И в штабе вмиг все подтянулось, встало и село на свои места — словно и комната стала просторней, и аппарат заработал отчетливей, и взгляды у всех посвежели, забодрились, засветились.

Короткой и крепкой походью, как всегда, чеканно отстукивая каблуками — Фрунзе вошел в штаб. Ему было хотели рассказать про удачу, а он уже все знал; ему хотели рассказать про общее положенье, настроенье татар-сельчан, про трудности с перевозкой артиллерии по этакой глинистой вязкой дороге, про медленный подвоз патрон, про нехватку, а он сам, прежде чем ему скажут, — подсказывает то же самое: видно, сводки и отчеты не соскальзывали у него с памяти, а зацеплялись там какими-то крючечками и цепко держались до нужной минуты. Он пробыл недолго. Тут же, за этим штабным столом, наметил благодарственный приказ и передал его Кутякову:

— Распространить... Прочесть... Молодцы, ребята...

Он пробыл всего, может быть, десяток минут—заглянул только по пути, торопился в другое место.

И после этого короткого визита — отчего же стало всем так легко, словно набрали полной грудью свежего воздуху и дышат — не могут надышаться.

Простые, нужные слова, этот освежающий, бодрящий приказ, эта весть по полкам, что Фрунзе тут, около и сказал спасибо ребятам за удачу — все это освежающей волной прокатилось по полкам, и полки помолодели, повеселели. Кажется, и крошечный фактик, а, видимо, важен, нужен был он в те дни и часы. Только весть о приезде и только дружеское слово любимого командира, а сколько от этого жизни, сколько заново уверенности в себе, какой под'ем!

Фрунзе под Уфой.

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей повис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугуруслан — в панике Красные части россыпью катились на Волжские берега. У Бузулука, под Самарой, у Кинеля взад и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, упавшие духом полки.

Казалось — ничто уж не может теперь вдунуть дух живой этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые раз'езды Колчака рыскали в сорока верстах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили наши части. Близились дни драматической развязки.

Накругло сутки — в кабинете Фрунзе, в оперативном отделе, в штабе наших войск — кипела страстная работа. Быстро снимались и сгонялись в глубокий тыл те Красные полки, у которых наглухо схлопнулись боевые крылья туда, где теплилась чуточная надежда—вливали здоровые, свежие роты, ставили новых, крепких командиров, гнали из тыла в строй отряды большевиков, целительным бальзамом оздоровляли недужный организм армии; с других участков, с других фронтов перекидывали ядреные, испытанные части, лоб Колчаку поставили стальную дивизию Чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские резервы, гнали ящики патрон, винтовки, пулеметы, динамит, гнали продовольствие хозяйственным частям: тыл в эти дни фронту служил как никогда. «Все для фронта» — и железной рукой проводили жизнь этот мужественный и страшный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанья, Фрунзе в штабе диктует приказы, Фрунзе в бессонные ночи никнет над прямыми проводами, Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цветниках узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек, перекидывается по горному горошку, идет шоссейными путями, тонкой палочкой скачет по селам-деревням, задержится на мгновенье над черным пятном большого города и снова стучит-стучит-стучит по широкому простору красочной, причудливой, многоцветной карты...

Около — Куйбышев, чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решенья, гонят по фронту, по тылу, в Москву — гонят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними — неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал и знал и любил Фрунзе: — Федор Федорович Новицкий, Каратыгин... Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история: это они ночи насквозь корпели над мучительно-вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупицы правды, отметали паническую или восторженную ложь, из этих крупиц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду, это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, Баранову, Элиаве, чтоб из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов свивали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел неугомонной, пламенной работой штаб.

Все понимали какой момент, какая ответственность: здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая была дорога, здесь ставилась на карту сама Советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через края творческая энергия этих удивительных людей: Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал — тот помнит и знает, с какой мукой и с какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего отдавал — и мысль, и чувство, энергию в такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку чугунный кулак Красной армии.

Фронт почувствовал дыханье свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в неожиданной радости. Вдруг и неведомо как перестроились смятенные мысли, — полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки в наступленье...

Как, неужели вперед? Неужели конец позорному бегству, неужто Красная армия кинулась к новым победам?!

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к врагу — вдохновенные, строгие, выросшие на целую голову и не узнавшие себя — бурной лавиной тронули вперед наши войска...

Вот сошлись с передовыми отрядами врага — легко и уверенно сбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот снова ударилась с грудью грудь—и снова отшибли вспять. Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, первые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприятельский полк, что дрогнул враг по всему фронту...

Вот они первые вестники побед. О, какой радостью прокатились по красным полкам эти громовые раскаты первых победных дней! Все настойчивей, стремительней мчит вперед неудержимая красная лава. Уже за нами Бугуруслан, за нами Белебей, Чишма — мы выходим на берег бурной Белой, перед нами высоко по горе раскинулась красавица Уфа. Вот он, ключ к си-

...рским просторам, вот он город, который открывает широкую дорогу новым ...обедам:

— Уфа должна быть во что бы ни стало взята!

Колчак ушел за реку, он на нашем пути взорвал переправы, сжег за...асы хлебов, фуражу, изуродовал селенья — красные полки неслись пепели...ами, голой ровенью Уфимских просторов. Враг ощетинился на высоком ...фимском берегу жерлами английских батарей, офицерскими полками, сталь...ой изгородью крепких, надежных войск.

Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву в'ехать в Москву: две ...сторические клятвы скрестились на Уфимской горе. Уфу стремительно надо ...ырвать из цепких лап врага. Но как перейти эту бурную Белую, когда нет ...и баржей, ни плотов, ни пароходов? Что эти лодочки, что эти бревнышки, ...тащенные нами к берегам, против Уфимского моста. Нет, — главным ударом ...адо бить не здесь!

Где-то у Красного Яра, верстах в двадцати повыше Уфы, наша кава...ерия остановила в пути два пароходишка, груженых офицерами: пароходы ...зяли, офицеров утопили в Белой. Эти пароходишки и должны были сыграть ...евиданную роль. Живо построили плоты, стянули к Яру дивизии: — первой ...ойдет Чапаевская, первым полком из Чапаевской пойдет на тот берег Ива...ово-Вознесенский.

Вечером в Красном Яру совещанье всех командиров-комиссаров из стя...утых к берегу частей. На совещании Фрунзе. Он тщательно взвешивает ка...дую мелочь, высчитать, сколько часов в короткой июньской ночи, когда ...адет в вечернем сумраке и снова займется заря, сколько можно бойцов ...бить битком на пароходы и плоты, во сколько минут перебросят они на тот ...ерег один, другой, третий полк... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как ...а ладони весь план, как на ладони наши силы, наши возможности, выверены ...онко и точно силы врага, предусмотрены жуткие случайности.

— Ну, ребята: разговорам конец, час пришел решительному делу!

И ночью, в напряженной, сердитой тишине, когда белесым оловом отли...али рокотные волны Белой — погрузили первую роту иваново-вознесенских ...качей... По берегу, в нервном молчаньи, шныряли смутные тени бойцов, ...олпились грудными черными массами у зыбких, скользких плотов, у взды...ающих мерно и задушенно пароходов, таяли и пропадали в мглистую муть ...еки и снова грудились к берегу и снова медленно, жутко исчезали во тьму...

Отошла полночь — тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. ...олк уж был на том берегу.

Полк перебрался неслышим врагом — торопливо бойцы полегли цепями: ...первой дрожью сизого мутного рассвета, они, нежданные, грохнут на вражьи ...коны.

Здесь, по берегу, всю команду вел Чапаев, — командовать полками за ...екой услал Чапаев любимого комбрига, Ивана Кутякова. За ивановцами ...след должны были плыть пугачевцы, разинцы, Дамашкинский полк...

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу — они по Чапаевской ...оманде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям

расчистят путь... Время сжало свой ход, каждый миг долог, как час. Ра[illegible]тались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в [illegible]мрудной росе. По заре холодок. По заре тишина. Редеющий сумрак [illegible] ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжко гигантские жерла, взвизгнула с[illegible]ным визгом предзорная тишина: над рекой и звеня, и свистя, и стоная [illegible]хались в бешеном лете смертоносные чудища, рвалась в глубокой небе[illegible] тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпа[illegible] в жидкую тьму.

— О-х... Ох... х... Ох... х — били орудия.

— У... у... з... з... и... и... и... — взбешенным звериным табуном р[illegible] снаряды.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.

Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом заколыхал впере[illegible] Артиллерия перенесла огонь — била дальнюю линию, куда отступали Колча[illegible]ковские войска. Потом смолкла — орудия снимали к переправе, тор[illegible] на тот берег.

Переправляли Пугачевский полк — он берегом шел по реке, огибал кр[illegible]той дугой неприятельский фланг. Иваново-вознесенцы стремительно, бе[illegible] останову гнали перед собою вражью цепь и ворвались слалету в побере[illegible] поселок Новые Турбаслы. И здесь встали, — безоглядно зарваться вглубь [illegible] опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уж переправили [illegible]тыре громады-броневика — запыхтели тяжко, зарычали, грузно поползли [illegible] вверх, — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рыхлом пес[illegible] побережья сразу три кувырнулись, — лежали бессильные, вздернув вверх [illegible]гунные лапы. Отброшенный вверх неприятель пришел в себя, осмотре[illegible] зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны и — сверкая [illegible]ками, дрожа пулеметами — пошел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас па[illegible] новых не было, с берега свозили туго: пароходики грузили туши броневико[illegible] артиллерию, перекидывали другие полки.

Иван Кутяков отдал приказ:

— Ни шагу назад. Помнить бойцам: надеяться не на што — сзади рек[illegible] в резерве только... штык!

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Ту[illegible]баслы от пулеметной дроби — не выдержали цепи, сдали, попятились наза[illegible] Скачут с фланга на фланг на взмыленных конях командир — комисса[illegible] гневно и хрипло мечут команду:

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет пере[illegible] через реку! Ложись до команды! Жди патрон!!.

Видит враг растерянность в наших рядах — вот он мчится, бли[illegible] и страшный, — цепями к цепям... Вот нахлынет, затопит в огне, сгубит в [illegible]ковой расправе...

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в це[illegible]

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ур-ра!!

И близкие узнали и кликнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись слепо, дико вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в атаке Тронин, начальник Поарма. И первая пуля сразу пробила смелому воину грудь: теперь в том месте, где черная ранка — золотой звездой горит на груди у него Орден Красного Знамени.

Иван Кутяков Фрунзе вослед послал гонцов, наказал под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патрон — их, ползком волоча в траве, разносили к цепям, как только полегли они за Турбаслами. И когда осмелели, окрепли наши роты—скакал возвратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли сговорить-совладать, чтоб справить к пароходу — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя — пуля пробила голову. Взял командованье Иван Кутяков. Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага Каппелевский полк. Утром грозно вступали в Уфу.

Из двух клятв, что скрестились на Уфимских холмах — сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настежь.

Много ли вас осталось, бойцы Уфимских боев? Я знаю — в страшном тифу, на безводьи, в кольце казацких войск, — вы долго бились на Урале, ходили вы и на панскую шляхту.

Не раз освежали заново ваши боевые ряды — сотни ткачей и пахарей полегли по степным просторам, полегли под губительным польским огнем.

Но те, что остались, — над свежей могилой помяните теперь прощальным словом своего боевого командира.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Дело о трупе.

(Из документов народного следователя).

Глеб Алексеев.

Акт о найденном трупе.

Народный следователь 2-го участка Збруевского уезда, рассмотрев дело о неизвестном трупе, найденном сего 12 июля 1925 года, нашел:

12 июля близ посада Стрешнево, под городом Збруевым, в кустах, недалеко от берега Оки пастухом Серегиным был случайно обнаружен совершенно разложившийся труп неизвестной женщины. По заключению судебного врача, производившего осмотр трупа, определить причину смерти женщины ввиду крайне сильного разложения трупа не представляется возможным. Живот оказался сильно вздутым, нижняя челюсть, кишевшая червями, отвалилась, глаза поклеваны птицей, и, кроме того, левая нога, подвернутая в ненормальном для мертвеца положении, обкусана зверком, имеющим мелкий зуб. Судя по степени разложения, можно заключить, что труп находился в кустах не менее трех недель. По останкам платья и белья — гражданки города Збруева Анна Феоктистовна Голубева и ученица фабзавуча Евдокия Павловна Маршева признали, что найденный труп принадлежит дочери первой—Александре Петровне Голубевой, пропавшей несколько дней тому назад без вести. По показанию гражданки Маршевой, с которой покойная жила последнее время, Голубева похитила золотое кольцо и платье Маршевой. Будучи задержана по заявлению Маршевой милицией, Голубева была отпущена под подписку, но затем скрылась. По показанию Маршевой же, Голубева все время тяготилась жизнью и намеревалась покончить с собой: отравиться или утопиться. Такое же намерение покончить с собой Голубева выражала комсомольцу Наседкину, Евгению Ивановичу, которому показывала револьвер «наган», что и видно из показаний Наседкина. Мысли о самоубийстве находятся также в оставленном ею дневнике.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в настоящее время судить о причине смерти Голубевой нет достаточных данных, но является большая вероятность предполагать, что Голубева покончила жизнь самоубийством — народный следователь 2-го участка

Збруевского уезда согласно ст. ст. 202—203 Уголовно-Процессуального Кодекса постановил:

Настоящее следственное производство препроводить в Яловинский губернский суд для прекращения в установленном порядке за неустановлением наличности преступления в данном деле.

Народный следователь 2-го участка Збруевского уезда

С. Борисов.

Дневник.

Обыкновенная клеенчатая тетрадь ученического типа. На первой странице нарисованы плохими фиолетовыми чернилами: роза, копье и подобие голубя, несущего в несоразмерно большом клюве конверт с именем: Шура Голубева, 17 лет.

Ниже три записи, все на одной странице:

Начало дневника.

Подарок в день моего рождения от Дины. Мне исполнилось 17 лет. Начинаю писать все свои приключения. Сегодня я подстригла волосы до уха.

* *

Альбом сей прекрасен,
Я с этим согласна,
Но лучше всего
Хозяйка его — я, Шура Голубева.

Мы сидели дома в 9 час. вечера: я, Дина, Люба, Коля Ложкин. Я думала, что приехала жить в общежитие дома имени Ленина от мамы, из дома Тешкина, на самое короткое время, а вот уже декабрь, и я еще живу с девочками — Диной и Любой. Когда-то я расстанусь с общежитием? Тогда напишу на память...

Шура Голубева, 17 лет.
декабря 1924 г.

СОЧИНЕНИЯ А. П. ГОЛУБЕВОЙ.

По фабричной улице
В Ленинском доме
Есть три барышни у нас
С фабрики Калинина.

Много звездочек на небе,
Половина месяца —
В доме Ленина девченки
От любви бесятся.

С утра и до ночи у них
Песни, пляски слышишь...
Люба с Диной сподтишка,
Одна Шурка с горлышка...

* *

С сегодняшнего дня 6 декабря я начала работать на банкоброшах. Все может быть! В скором времени буду я банкоброшница.

На память Шуре Голубевой от Коли Ложкина.

Не трудно влюбиться,
Но трудно любить,
Но трудно расстаться,
Любовь позабыть.

Ты хочешь знать, кого люблю я
Его не трудно отгадать.
Будь повнимательней читая,
Я не могу тебе сказать.

7 декабря 1924 года. Коля Ложкин.

* *

Вечером, 9 декабря 1924 года.

Сегодня я сходила на фабрику, пришла с фабрики в 10 час. утра, разулась и легла на диван читать книжку о половой жизни молодежи, да и затем уснуть до 3 часов дня, покамест придет с фабрики Дина. Ну, я легла на диван и наверное читала с полчаса, а Динке оставила записку, чтобы меня разбудила. Ну, сплю. Пришла с фабрики Динка, будит меня: «Шура, Шура, вставай!» — а я не захотела, и еще уснула. Проснулась я, и захотелось мне напиться чаю. Вдруг стук в комнату, я отвечаю: «Войдите!». Пришел к нам Ложкин Коля и говорит: «Я хотел лечь дома спать, но боюсь просплю на партдень к семи часам». Я сходила за кипятком, напились мы с Динкой чаю, а Колька лег на мою кровать и говорит: «Ох, если бы было возможно, то я уснул бы здесь... Да боюсь, что вы меня не разбудите!». Кончили мы пить чай, Динка стала возиться с Колькой, вдруг стук. «Войдите!». Пришел Женя Наседкин за Динкой на собрание, а она говорит: «Сегодня—не комсомольский день, я не пойду на партдень, я лягу спать». Потом Дина мне говорит: «Шура, пойдем на собрание (вот гудит гудок на ситцево-набивной — 9 часов вечера) в дом советов, а?» — «Нет, нет!» — «Идем, ну, что мы будем сидеть дома, — мы выспались, идем, Шур!» — «Нет, Дина, если хочешь — идем гулять, а не на собрание». Она говорит: «Ну, идем!». Идем, так идем. Мы оделись, обулись, — я, как всегда, в своем пиджаке песочного цвета, в красной повязке, в туфлях и в галошах. Коля говорит: «Девочки, идемте со мною, вы меня кстати проводите для прогулки». На улице так хорошо: не особенно ветрено, не особенно

кро. Шли мы по фабричной улице, — конечно, Коля взял нас под руки, и дошли до самого дома советов. Дошли до театра, вдруг два пьяных парня окнули (сейчас поем хлебца с маслом, буду еще писать) Кольку. Ну, тут, как и всегда пьяные, стали придираться, — мы с Динкой скорей, скорей, да отошли ото всех: и от пьяных и от Кольки с Женькой. Идем тихонечко, дошли до больницы Семашки — вдруг там в садочке сидят мужчины на лавочке, а оказывается там один был в припадке. Мы зашли в ограду, посмотрели на припадочного, — он лежал на земле с разбитой головой и пеной у рта. Ну, посмотрели и пошли дальше по Сталинской улице, дошли до магазинов, поинтересовались на выставке материалами и пошли дальше. Вдруг навстречу Серко с товарищем. Подошли к нам. Серко и говорит: «Пойдемте, девчата, пройдемся!». Мы согласились, Серко взял нас под руки, и пошли мы по Сталинской улице с большими разговорами. Дошли до дома, попрощались и разошлись мы домой, а наши ребята, — уж и не знаю: куда пошли? Пришла домой, я прямо разделась и скорей давай записывать на память нашу прогулку. А теперь нужно спать! Ну, остаюсь жива и здорова до следующего дня. Динка уже лежит в постели. Закончила писать в 10 часов вечера. Писала волна — узнайте: кто она?

* *

Никогда я не забуду
Твое милое лицо,
И вечно помнить буду, —
Приятно время так текло.

В правом углу страницы написано большими буквами:

ШУРА-ДУРА.

Один лишь поцелуй,
Одно лишь необдуманное слово,
И мир уже не тот,
И счастье не вернется вновь.

10 декабря, вечером, когда не хотелось спать.

Без числа, на отдельном листке:

Когда-то я видела в свою жизнь раз затмение луны, это мне пало на память. Я тогда жила у мамы. В ту ночь я гуляла с Серко, а теперь о Серко и о тех вечерах мне остались одни слезы. Остаюсь жива и здорова, Шура Голубева, 17 лет.

* * *

Дана душа, чтобы молиться,
Дано сердце, чтобы любить,
Но надо знать кому молиться,
И нужно знать кого любить...

Сейчас сижу и думаю: зачем я живу и для кого я жила? Для него. И то вдруг случилось, что он не со мной. Ну, что ж делать — остаюсь жить.

Шура Голубева, 17 лет.

НА ЦЕРКОВНЫЙ МОТИВ.

Во время оно
Ехал поп из Иерихона.
За ним отец Макарий
На кляче карей.
Взбесишася кляча каряя
И понисоша отца Макария.
Возопияше Макарий гласом велиим:
О, господи, господи,
Услышь молитву мою,
Останови клячу сию!
И бысть услышан голос с неба:
Тп-п-пру!

* * *

Ведь комсомольцы мы,
Союз наш крепко выстроим,
Шестьсот тысяч ребят таких
Об'единяем мы!
Ведь боевые парни мы,
Отрядами ударными
Пойдем бороться с властью мы
Насилья и тюрьмы.

* *

Опадают осенние розы в саду,
Не поет соловей, только ты,
Моя дорогая, все сидишь
У постели моей.

12 декабря, в 11 часов вечера.

Пометка рукой Шуры Голубевой: Все писано в один вечер.

13 декабря.

Только что пришла с фабрики, — 8 часов вечера. Вот сегодня я купила себе куколку, да мама еще подарила мне вчера куколку с ванной. Значит у меня теперь одна маленькая куколка в ванне, а другая побольше. Ну, я их сейчас положила на кровать, а сама сижу пишу. А ведь там около ворот ждет уже Колька Ложкин! Ну его к чорту! Не хочу я с ним проводить время. И не то, чтобы он мне не вравился — нет, он парень ничего себе, но другой раз любить не могу и не хочу. Пусть гуляет Динка, но не я. Вот как рассудила я сегодняшний вечер. Как вспомнила я сейчас, что мне итти гулять — так и представляется Серко. Вот бы с ним я поговорила, расска-

зала бы ему все, но это, конечно, теперь уже поздновато. Ну, что делать— жду лета, а там видно будет. Еще раз пишу, что лучше сидеть дома, а Колькой Ложкиным быть не хочу.

Вот на-днях я поссорилась с Диной. Она говорит, что никаких мужчин на свете не нужно, что без них гораздо лучше. Теперь Дина ушла в клуб, а я одна. Ну, что я сейчас? Если я с ней на-днях не помирюсь — уйду жить опять к маме, — скорей, скорей от этой скуки! Сейчас ухожу в дом крестьянина за булкой и колбасой. Остаюсь жива и здорова, Шура Голубева, 17 лет.

*

Вот сейчас я вышла на улицу, хотела итти в дом крестьянина, а напротив наших ворот стоит Колька, — я вернулась обратно в комнату. Лучше до завтра не поем, а гулять с ним не пойду. Скорей бы он ушел. Не хочу, не хочу! Жду, что будет? Не успевши написать слова дальше — стук в дверь. Я притаилась. Стучит еще. Во мне вся душа ушла в пятки, — ох, этот момент я буду помнить всегда! Постучал он еще раз, я молчу— и пошел. Я закрыла электричество и тихонько к окошку подошла, села на диван и смотрю в окно, но ничего, покамест тихо, — что будет дальше? Иду за булками. Еще раз пошла — все стоит. Ну и чорт! Не хочу. К чорту!

* * *

15 декабря, 4 часа дня.

Сегодня воскресенье. Я встала сегодня в 10 часов утра, убрала кровать и пошла к маме. У мамы и пробыла до 3 часов дня. Провела время очень хорошо, собрала маленьких ребятишек и девочек со всего дома и начала играть с ними в мяч. Потом разорвался мяч, я стала обедать. Пообедала, немного посидела с мамой, она говорит: «Почему ты, Шура, живешь в общежитии, а не у нас, дома?». Я говорю: «Мама, я работаю на фабрике иногда и ночью, и мне надо заниматься в школе, я вас буду очень стеснять. Нет, так будет удобнее». А к маме с фабрики очень далеко, и потом у нее в комнате очень много икон, и она старых взглядов, не понимает роли современной молодежи... Ну, пообедала я и пошла на улицу. Пригласила я Марусю: «Пойдем ко мне!» — она согласилась. Мы пошли, идем тихонько, дошли до Каменного моста, немного отходим от него — вдруг громкий залп выстрела. Мы с Марусей перепугались, я говорю: «Это — выстрел, но не из ружья и не из револьвера, очень что-то громко» — и опять идем преспокойно. (Немного пропустила.) Когда мы услышали выстрел, то я тотчас же увидела большой столб дыма со старого моста. Мы постояли, подивились и опять идем преспокойно. Но все-таки заглядываем и в ту сторону, где много черного дыма. Это место на реке, возле ситце-набивной фабрики. Вдруг видим: один бежит, за ним другой — видно, дело плохо. Прибегаем туда, там оказывается вот что было: ловили рыбу в проруби пять мальчиков, каждому не больше пятнадцати лет. Ну, ловили рыбу, жгли костер и нашли в навозе бомбу. Они наверное не-

подумали, что она может им грозить опасностью, положили ее в костер. Видят, что она не взрывается. Один из мальчиков взял палку и пошел поковырять в костре. Подложил бомбу подальше в угли, а сам бросился бежать. Не успел отбежать шагов десять — взорвалась бомба и убила мальчика, который упал и умер с палкой в руке. Его во многих местах ранило. Мальчику приблизительно около 11 лет. Вот я сегодня видела большое несчастье, пришла домой и села писать. А теперь сейчас буду дожидаться 8 час. вечера, может быть пойду гулять. Остаюсь жива и здорова, Шура Голубева, 17 лет.

Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила!
Я сама себе не рада,
Что я в девках родила...
Писала волна! Узнайте, кто она?

Любовь — солома,
Сердце — жар.
Одна минута —
И пожар!!!

Шура собой некрасива,
Улыбка у меня хороша,
Но зато всем на диво,
Какие у Шуры глаза!

Я люблю тебя, ты мне нравишься,
Пойдем в совет — обвенчаемся...

Все четыре отрывка записаны в один день, число не указано.

НА ПАМЯТЬ ШУРЕ ОТ ДИНЫ.

Быть может, волны света меня умчат куда-нибудь!
Ты вспомнишь, что была у тебе подруга, на которую
Ты не надеелась, но это была напрасно!!! Помни
Меня, никогда не забуду тебе.

Твоя верная Дина.

А вот говорят:
Кто возьметь дневник бесспроса,
Тот останется без носа,
А вот я взяла бесспроса
И осталась с носом.

Дина.

18 декабря, 8 час. вечера.

Вот сейчас только что ушли девочки в клуб на занятия, за ними зашли Колька и Женя. Ну, и что же! Вот все ушли, а я дома. Мне очень и очень скучно, вечная политграмота мне надоела, развлечения никакого нет, с мальчишками я не занимаюсь, писать в дневник мне не хочется. Ведь люди не знают, с какого вечера у меня всегда плохое настроение. Что делать не знаю и потому бросаю карандаш и ложусь спать. А завтра мне работать утреннюю смену.

Остаюсь жива и здорова, хотя и скучно мне, скучно очень, но что делать: насильно мил не будешь...

Шура Голубева, 17 лет.

24 декабря 1924 года.

Пришла я от мамы в 6 часов вечера. Дина приготовила чаю, сели мы чай пить, а Дина и говорит: «Я сейчас иду в клуб, завтра наше рождество. Пойдем, ты стала очень редко ходить в клуб, это могут заметить». «Нет,—говорю,—я не пойду, я лягу спать». Ну, Дина вышла из дома, видит пламя пожара, бежит обратно в комнату и говорит: «Шура, одевайся, смотри пожар-то какой горит!». Я вылезаю из-за стола, одеваю пальто на плечи и в одних галошах алё! Прибежала, посмотрела, постояла несколько минут, озябла, потому что было морозно, а я без перчаток и в одних галошах, думаю: — что ж, надо бежать домой, пожар меня не интересует, — горела мельница. Прибежала домой и села писать для памяти. Сидела я долго одна и сейчас думаю ложиться баиньки, завтра-то рождество.

* *

Эта жизнь мне надоела,
Этой жизни мне не жаль,
Сердце просит жизни новой,
Сердце рвется, рвется в даль.

Это я писала потому, что мне спать не хотелось. За окном падает снег. Серко ушел от меня навсегда. Сегодня, на улице увидев меня, перешел на другую сторону, чтобы не поздороваться.

Пой, ласточка, пой...
Эту ты песню еще повтори
О счастьи любви.

24 декабря.

ЧАСТУШКА.

Мы с миленком живем-улыбаемся,
И коммуну создать собираемся.
Не ходили в церковь с ней к долгогривому,
Мы по-красному венчались, по-новому.

Причащаться не пойду, не хочется,
Там заразу подцеплю — не расплотишься.
Я в коммунию вступил, дело Ленина,
И Машуху прихватил, нету лени в нас.
Женоотделом делегаткой я назначена,
Запою я песню звонче солнца красного.

Это мы выступали дуэтом с Колькой Ложкиным на рождественском вечере в посаде в клубе имени Буденного. На вечере была мама, после моей песни она ушла, так что я ее не видела, а думала, что она меня позовет к себе.

27 декабря, 10 часов вечера.

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТИХИРА.

Рождество твое упраздняется,
Наше, новое рождается.
Ныне звездою служащие
Астрономы и учащие;
Интернационалом и Чон'ами.
В землю вгоним старое, смердящее.
Днесь новь преосуществленную рождаем
И комсомол мировой славословим.
Шар земной от края и до края
Звезда осветила новая —
Радуйтеся и веселитеся,
Все народы и нации.
Слава в вышних солнцу,
А на земле электрификации.

28 декабря 1924 года я сбрила брови. Это для того, чтобы я могла помнить, когда и с какого времени я сбрила себе брови.

Шура Голубева, 17 лет.

29 декабря 1924 года.

Я сидела совсем одевши и ждала, когда проснется Дина, чтобы вместе итти на фабрику. Остаюсь жива и здорова.

* * *

Довольно, довольно,
Зачем издеваться?
Меня ты не любишь, я знаю, давно!
Зачем же над чувством другого смеяться:
Чувство от бога дано!

Шура и Серко.

30 декабря 1924 года.

Я работала на зачин, меня Дина разбудила в час ночи, и я побежала на фабрику. Дошла до аптеки и спросила: сколько времени? Мне сказали: час ночи. Делать нечего, спать я не хочу, так даешь писать!

Эту неделю я всю ходила на фабрику бешено. То в час, то в два ночи. А в пятницу проснулась, думала, что час, а оказалось, что второй гудок, но все-таки поспела.

Шура Голубева, 17 лет.

Я верила ласкам твоим как святыне,
Мечтала в них правду найти.
И все поняла. Не верю отныне.
Не нужно об'ятий твоих.

Откуда произошел этот дневник? Да вот откуда! В день моего рождения, когда мне исполнилось 17 лет, подарила мне клеенчатую книгу Дина Маршева. Я так и наметила, что книга эта будет у меня дневником. Потом я от глупости стала вырывать листья, но теперь я никогда не буду вырывать.

Да, есть у меня двоюродный брат Толя Кобяков. Ему сейчас 15-й год, а я люблю его лучше, чем родного брата Петю: он для меня уважителен. Я тоже всегда желаю ему наилучшего счастья, как он мне сегодня пожелал в новом году.

Александра Петровна Голубева, 17 лет.
Я девчонка, а?

ЛИСТОК ТАЙНЫ.

7 сентября 1924 года.

В праздник юношеского дня (????).

Я должна справить годовщину 7 сентября 1925 года. Во-первых, никуда не ходить, несмотря на то, что по всему СССР будут развеваться красные знамена, несмотря на то, что будут играть оркестры музыки... Мне нужно хоть годовщину справить, т.-е. вспомнить сколько я, да?.. перенесла страданий и мук. И вот теперь наступает 1925 год, я днем и ночью страдаю и никто не видит, никто не знает...

О-о-о, рассвет моей жизни, вернись обратно!

Невинная жертва, как дорого ты
За сладостный миг уплатила,
За то, что не знала мирской суеты
И так горячо полюбила.

Как тихо, спокойно в семье я жила,
В родительском доме с мамашей.
Как райская роза тогда я цвела.
С невинною чистой душою.

А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать поддельной женой,
Но игра вышла слишком опасной.

Достигнувши цели, угасла любовь,
Девица ему надоела,
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает ее он так смело.

7 января 1925 года.

Я купила себе обновки: галоши (3 руб. 30 коп.), туфли (3 руб.), кофточку (2 руб. 50 коп.). Остаюсь жива и здорова.

Подарил мне брат на память свою фотографическую карточку сегодня, 7 января.

Сегодня к нам приходили мальчишки Колька Ложкин и Женя Наседкин. Они сидели у нас до 8 час. вечера.

НА ПАМЯТЬ ШУРЕ ОТ КОЛИ ЛОЖКИНА.

Зечно, вечно ты пробудешь,
Шура, в сердце у меня.
Ты совсем меня забудешь,
Но я Шуру никогда.

Писать решился я невольно,
Любовь заставила меня,
Она мне сердце давит больно,
Прошу вас выслушать меня.

Коля Ложкин.

7 января 1925 года.

НА ПАМЯТЬ ШУРЕ ГОЛУБЕВОЙ.

Писать красиво не умею,
Письма украсить не могу,
Но извиняюсь, милая Шура,
Что я вас крепко так люблю.

Евгений Наседкин.

Хороший мальчик Евгений, а Шура Голубева — не скажу!

РОМАНС.

Любить, но кого же?
На время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно...

К чорту вас, сказал Тарас...

15 января 1925 года.

Сегодня я проснулась рано, в 9 час. утра, спала я на диване для того, что у меня кроватка была хорошо убрана, и мне не хотелось ее разбирать. Ну, встала я, разбудила Динку, а сама тем временем стала прибираться в комнате потому, что думала зайдет Женя Наседкин. Но мне его видеть не пришлось... Что делать! Напились мы с Диной чаю, она стала собираться в клуб на занятия физкульта, а я решила подождать дома до 4 часов дня. Может быть, придет? Но вот миновало и четыре часа, я в комнате одна и думаю: дай-ка я пойду к маме от скуки. Пришла к маме, мама мне предложила пообедать, поставила самовар, напились мы чаю, я пошла навестить дядю Мишу, просидела у них до семи часов вечера, попрощалась и ушла опять к маме, взяла у мамы пироги и пошла домой. Шла я домой, так хорошо и приятно было итти: не очень холодно, а ласково свежо. Домой не хочется, гулять итти тоже и не с кем. Пришла домой, разделась и села писать на память. А теперь думаю: неужели я весь 1925 год буду жить так скучно, как я нахожусь сейчас? Неужели прошли те дни расцвета моей жизни? Ой, как скучно!.. Скоро уж придет весна, эта — как называется — пора любви, а мне пора слез. Позабыть бы!

Уж видно придется ждать лета, может быть, я тогда буду ходить гулять в бор, в сад, на кладбище, — мои любимые места.

* * *

На окраине возле города
Я в рабочей семье родилась.
Мне пятнадцать лет. Горе мы-мы-мы...

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ.

Так светло, уютно в землянке,
Тихо в печке поленья горят,
Вьются, прыгают искры-былинки
И о чем-то со мной говорят.
Вы горите, дрова, веселее,
Грей меня, огонек золотой.
Пусть в душе моей станет светлее,
И не буду я так одинока.
Не согрела меня горе-доля,
Много сил и огня отняла,
Познакомила с горькой неволей,
А взамен ничего не дала.
Не видала я от мальчиков ласки,
Дней счастливых я в них не нашла,
Не свивала меня ночь светлой сказкой.
На заре поцелуй не звучал.

20 января 1925 г.

С	Т	О	Л	О	Ш	А	Д	Е	Й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Нужно поставить сто лошадей в десяти стойлах, чтобы в каждом стойле была одна лошадь???

3 февраля 1925 года.

Вот сейчас семь часов вечера, я сижу дома одна и думаю: когда то будет лето... февраль, март, апрель, май, июнь, июль... Если я дождусь, то я должна написать в те месяцы что-нибудь. Буду ждать! Остаюсь жива и здорова.

Шура Голубева.

Ох, вы звери, мои звери, звери лютые мои,
Растерзайте мое тело, тело белое мое,
Выньте сердце, отнесите другу милому мому,
Милый взглянет, усмехнется,
Все может вспомнит про меня...

1925 г., 10 февраля, я писала на постели, лежала и писала в 9 час. утра.

ПРИБАУТКА.

И туда-сюда дорожка,
И туда-сюда межа.
Кто мого С — у полюбит
Тот покушает ножа.

Бабы — дуры, бабы — дуры,
Бабы — бешеный народ,
Увидали девку с парнем
И стоят разинув рот.

Не скажу, кого люблю,
Не скажу которого,
У него четыре брата,
Люблю чернобрового.

Я хожу, хожу-гуляю,
Гуляю у сада,
Милый не был три недели,
Какая досада!

Я страдала, страдать буду,
И собой не дорожу,
Мать мне голову отрубит,
Я бараньюо привяжу.

Вот мы сейчас сидели с Женей на лавочке, а я даже не знаю на какой это улице. Шура-Дура, чорт!

24 февраля 1925 года.

Сижу дома и никак не могу ни с чем сообразиться. Уж так мне скучно! Я одна, тихо в комнате. Дина ушла на репетицию, а мне не захотелось, и я осталась дома. Не знаю, что и делать? Итти никуда не хочется, подруг иметь не хочется, любви тоже. Все через Серку! Ах, зачем я так

не любила? Неужели я не знала, что это — ложь, обман? Неужели я не знала, что это не надолго, и думала, что это легко, но теперь... О, где же да 1923 и 1924? Теперь только слезы и слезы...

Голубева Шура, 17 лет.

Я когда с тобой гуляла,
Всегда был тебе почет!
Всегда милым называла.
А теперь паршивый чорт.

Наша дружба с Женей Наседкиным.

Наша дружба с Женей началась 28 февраля 1925 года.
Это я записываю себе на память.

Голубева Шура, 17 лет.

Бери от жизни,
Все, что хочешь.
Бери хоть крохи от нее.
Ведь жизнь на жизнь
Ты не помножишь,
А дважды жить не суждено.

НА ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ ШУРЕ ОТ КОЛИ ЛОЖКИНА.

Вы хороши и авантюрны,
Прекрасны, милы и добры,
Но для меня ничуть не важны,
По мне хоть чорт вас побери!

Николай Ложкин.

Это написано рукой Ложкина на вырванном листе. Ниже стихотворения рукой Шуры Голубевой запись:

Колька Ложкин — дурак, это он вырвал лист небрежно и написал такую гадость.

Я гулять не нагуляла,
Только начудесила,
У мамаши на крылечко
Люлечку повесила.

Вот сегодня 18 марта 1925 года, в праздник Парижской Коммуны мы с Динкой ходили гулять в бор и на кладбище, пришли на могилу дяди Васи, Динка стала меня щекотать, как иногда щекочет в кровати. Я ей сказала,

чтоб она больше никогда так со мной не поступала на могиле у дяди Ва... потому что я любила дядю Васю больше всех родных. С кладбища п... мы в клуб имени Ленина, в клубе народа никакого не было, потом... было еще рано, только 6 часов. В бору мы насобирали шишек, при... их домой и теперь опять идем в клуб, Динка и я.

19 марта.

Вчера после спектакля в клубе ходили гулять с Женей, отт... проспала на занятия, хоть и не я одна, а и Люба и Дина. Ну, да ни... 1 руб. 50 коп. из кармана. Зато я сегодня наметила план итти встр... Женьку с фабрики. Сейчас кончу писать, уберусь в комнате и пойду... таться к дому советов, встречусь и пойдем прямо к станции.

Любовь и охота за погодой не гоняются!

Ах, Шура — баловница я!

30 марта 1925 года.

* *

Я любила чернобровых,
Белых ненавидела,
У подруги я отбила,
Бедную обидела.

В бабах плохо, в бабах плохо,
В девках более того!
Повернешься с боку на бок —
Рядом нету никого.

Не отбивай, подруга, друга,
Не отбивай, красавица,
Он с тобой гулять не станет,
Со мной не расстанется.

12 мая 1925 года.

О, боже мой, что со мною делается? Я без него жить не могу!

Баловница — я, баловница...
В тот же день вечером:
Ведь люблю, люблю тебя.

Голубева Шура-дура.
Как уже 17 лет.

19 мая 1925 года, в семь часов вечера.

Делать было нечего, я ждала Женю, он должен был притти в полови... восьмого. Я сегодня не работала, самовольно ходила в амбулаторию име... Семашко, меня признали больной, но это доктора брешут: я совершен... чувствую себя прекрасно...

Стук в дверь.

Нету года без апреля,
И апреля без цветов.
Нет любви без поцелуя,
Без поцелуя не любовь.

НА ПАМЯТЬ СЕБЕ.

Коль бояться поцелуев,
Так старайся не любить.
Но любовь без поцелуев
Никогда не может быть.

22 мая, вечером.

26 мая 1925 года.

Вот сейчас я сижу на маминых именинах, с дядей Федей и братом Петей. Напилась я вина, выпила четыре рюмки: две рябиновой и две портвейна, но я не очень пьяная, но почувствовала вдруг большую скуку. Мне так сейчас скучно! О, скорей бы вечер воскресенья, я пойду гулять с Женей Наседкиным. Сейчас лягу спать, подумаю что-нибудь и, может-быть, усну.

27 мая.

Я сейчас нахожусь в саду — городском — с Наденькой и Воликом. Погода не очень хорошая. Это на память мне: Наденьке — 10 лет, Волику — 3. А мне-то 17 лет???!!! Наденька была одета так: платьице шотландка, с красной отделочкой, а Волик в сером костюмчике. Ну, а я в блястрющем платьи и с чалдоном на голове.

А сейчас мы находимся в центре сада, наверное скоро пойдем домой: накрапывает дождь.

Клятва.

С сегодняшнего дня я не хочу иметь близкой связи с Диной. Я ей об этом сказала. Я должна свою клятву исполнить. 29 мая 1925 года, в час. 26 мин. дня.

ЧТО Я ЖЕЛАЮ ЖЕНЕ НАСЕДКИНУ.

В минуту жизни трудную
Не знаю, что сказать?
Но хочется украдкою
Тебя поцеловать.

Пусть вечно жизнь тебя ласкает,
Как мать любимое дитя,
Пусть сердце горести не знает,
Не унывай, живи шутя.

Пусть жизнь твоя течет счастливо,
Усыпана в фиалках, в розовых цветах,
Пусть вечно в сердце живет с тобою
Надежда, Вера и Любовь.

1925 года, 4 июня.

Вот сегодня уже неделя, как я в отпуску с фабрики. Еще одну неде осталось мне пользоваться, и что же я сделала в этот отпуск? Да реши тельно ничего. Только сплю, жру, да —у. Ну, а сейчас иду гулять к Же Наседкину. Если я сегодня с ним помирюсь, то буду посещать свой дневни ежедневно, даю обещание, а если нет, то раз в год, да и то по обещанию

Был у меня знакомый по всей моей дружбе — Коля Ложкин. Работа он на фабрике «Текстильщик», а сегодня ему дали расчет. О, бедный Ко какой ты несчастный.

6 июня.

Сегодня мы с Динкой ходили на фабрику, но получки мне не да потому что я в отпуску. Ну, мы пошли с Динкой в ячейку. Я сказала: «Дин ты на меня не сердись, я больше не могу так быть с тобой, как ты хочеш а пойдем лучше я тебе покажу у нас при ячейке есть какой прекрасн уголок Ильича». Пришли, ей понравился уголок В. И. Ленина. Я говор «Динка, давай в память нашей дружбы мы себе устроим хороший уго Ильича, купим красной материи, и здесь кое-что спупырим». Она засмеял и говорит: «Пупырь». Не долго думая, я сняла с буфета головку Ильича спупырила под вязаную кофту, — и прощай, Макар, ножки озябли.

Вот значит я, Александра Петровна Голубева, спупырила сего Владимира Ильича Ленина, значит все-таки я не воровка, если я не зна что значит «пупырить». Во всем виновата Динка, я спупырила через не научила она меня.

8 июня 1925 года.

Вот только что я пришла из милиции и что же? Что я за девчонк когда у меня все-все пропало ни за что? Ой, правда в тюрьмах сидят мно винoвных, но больше половины невиновных. За что же спрашивается про пала я? За то, что я надела третьего дня к маме Динкино платье, и е колечко, а она по злобе на меня донесла? О, если *мне сегод удастся то, что я задумала* — (курсив дневника), то завтра же пойду к Жене Наседкину. Зачем я повстречалась с Женей, мне только с ни теперь не хочется расстаться. Ну, да ладно. Я теперь противна всему све Заканчиваю писать в половине одиннадцатого.

Александра Петровна Голубева.

* * *

Быстро катятся все дни нашей жизни,
Принося нам страданье и боль,
А в душе моей нет укоризны,
Не подскажет нам многое боль.

Припев.

Пей, Ольга, пей — сила вся в деньгах,
Теперь стыд и позор мы должны позабыть,
Чтобы беззаботно прожить!

Продает меня мать поневоле,
Что ни день, она гостя ведет,
Сердце щемит мучительно больно,
А она, утешая, поет:

Припев.

Полюбила я Женю студента,
Он один лишь хотел меня спасть,
Хотел меня вырвать на волю,
Но он денег совсем не имел.

Припев.

Раз он крикнул мне: пей, проститутка!
Я от ужаса вся замерла,
Сердце сжалось мучительно больно,
А он мне, утешая, запел:

Пей, пей, Ольга, ты проститутка теперь,
Ты проститутка и ею уж будь!
Пей — проститутки все пьют!

Тайна.

12 июня 1925 года.

Вчера, 12 июня, мы ходили в клуб молодых ленинцев на занятия: я, Женя, Люба. 12 июня я приобрела себе????????? Вот сегодня 13 июня. Оно лежит в одном месте. Не знаю, если улежит эта вещь, то, может быть, я наберусь храбрости и без причины? О, как не хочется жить! Мне только 17 лет, жизнь уже опостылела с 15 лет. Я могла бы и сейчас, но сегодня нужно сообщить Жене. Что скажет он относительно всего? Он тоже как-то со мной думал на паях, у нас дело тогда отложилось из-за отсутствия???? Но теперь из-за причин. О, если бы с ним, я бы ни минуты не ждала бы. Как раз там пара!». Сначала бы меня, а потом он сам. Вот бы хорошо! Остаюсь ненамеренная жизни Александра Петровна Голубева, 17 лет.

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль,
Ничего теперь не надо мне,
Никого мне больше не жаль.

На память Толе.

Толя, береги мой дневник и не рви листья. Все когда вопомнишь, что тебя была сестра Шура.

15 июня 1925 года. Прощай, Толя.

18 июня.

Вот сегодня мне известили два больших несчастья. Отец запретил Жене со мной гулять, а в милиции говорят, что я буду судиться. Ну, что же делать. Я уж теперь решила наверное завтра и уйду к Оке, чтобы не было ни похорон, ни славы, ни вообще-то ничего. Шура Голубева, 18 лет (без пяти месяцев).

1925 года, 19 июня. — Вот сегодня...

На последних страницах дневника сделаны записи чужой рукой и нарочно безграмотно и измененным почерком. Все записи без подписи, только под одной, помеченной 9 июня 1925 года, имеются начальные буквы Д. М., — это дает право предположить, что записи принадлежат подруге покойной — Дине Маршевой.

НА ПАМЯТЬ ШУРЕ.

Эх ты, Шура — голова,
До чего нас довела!
Ты забрала у меня все,
А сама осталась без ничего.

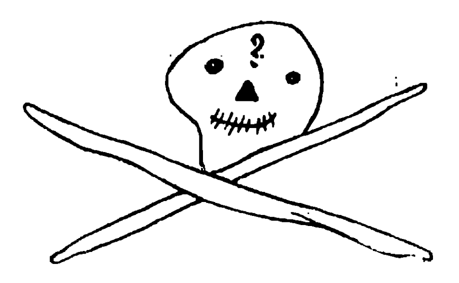
Д. М.

Эх ты, Шура, Шура-дура,
Ты дурна, как пробка.
Зачем ты забрала у меня одежу?
Знаешь ведь, — я не получаю по 10 руб. за вечер,
И мне не за что справить...
А ты получаешь десять рублей за вечер,
И у тебя нет ничего...

* * *

Голубева, ты пишешь, что ты стала всем противная. Правильно ты написала. Но знай с какого время стала ты противная. Мы были друзьями, когда я не знала про тебя, а теперь я знаю. Забудь все!

(Под записью рисунок.)



Ты злодейка всему народу, Голубева. Ты готова была с'есть меня, получилось наоборот. Но, наконец-то, все произошло, теперь нет у нас ашеных губок и мазаных бровей. Голубева пропала без вести. Очень аль!

(Под записью рисунок.)

Залатые буквы

Здеся покойица душа Шуры Голубивой

Показания свидетелей.

Николай Ложкин.

Допрошенный мною в качестве свидетеля 20 сего июня 1925 года Ложкин, Николай Павлович, 18 лет, ученик фабзавуча, грамотный, комсомолец, показал:

— Я, Ложкин, знал Голубеву по клубу молодых ленинцев, познакомил мой товарищ Сергей Синев, который гулял с нею, но находился ли в близких отношениях — сказать не могу. Синев мне однажды сказал: «Вот хорошая девчонка, с которой можно погулять, но только она малосознательная и отец у нее кулацкого происхождения». Я спросил Синева: «А кто же был отец Голубевой?» — на что он ответил: «Говорят, что до революции он держал ларек на базаре». Тогда при встречах с нею в клубе молодых ленинцев я решил быть настороже, однако заинтересовался ею как женщиной и начал у нее бывать. Жила она вместе с Маршевой и Рудяковой в общежитии фабзавуча, в отдельной комнате, бывшей до революции дворницкой. Таким образом я был в гостях у Голубевой четыре раза, всякий раз у нее в это время был кто-нибудь из молодежи, и вдвоем с нею я никогда не оставался. В клубе молодых ленинцев я старался, однако, держаться от нее подальше, потому что однажды она пришла с намазанными бровями и губами, и ей сделали товарищеское замечание, после чего я в клубе ее не видел. Насколько я знаю, науками и политической жизнью она интересовалась мало и была мещанского склада мыслей. Однажды я предложил Голубевой удовлетворить мою физическую потребность, — но она отказалась, и я перестал к ней ходить. С тех пор я старался не поддерживать с ней никакого сообщения, убедившись, что она окончательная мещанка. Мне лично о своем недовольстве жизнью она никогда не высказывалась, но я полагаю, что оно могло быть у нее, как у всякого изменника делу рабочего

класса, хотя бы отколовшегося от масс только в мещанском направлении. В последний раз я встретил Голубеву в день авиации, она шла в черном платьи, которое я видел раньше на Маршевой, и была без повязки, так, что волосы ее растрепались на ветру. Мне показалось, что глаза ее были заплаканы, и я подумал, что это наверное потому, что ее исключили из клуба молодых ленинцев за кражу платья, о которой мне говорила Маршева. Я хотел посоветовать ей подать заявление, но раздумал, так как несознательный элемент надо решительно отсекать, и пошел в фабком. С тех пор я Голубеву не видел и по делу больше показать ничего не могу.

Сергей Синев.

Допрошенный мною в качестве свидетеля 21 сего июня Синев, Сергей Илларионович, 18 лет, ученик фабзавуча, грамотный, комсомолец, показал:

— Я, Синев, познакомился с Голубевой в августе 1924 года, на фабрике, затем я стал с нею гулять, по праздникам мы ходили вместе от базара до кладбища, где всегда гуляет наша молодежь. Я проводил с ней время с августа по декабрь, и в это время ничего особенного за ней не замечал. Она была, как все наши девчата. Мне кажется, что вопросы личной жизни ее интересовали больше, чем общественной. Это особенно заметно было по тому, что она редко посещала собрания ячейки, и мне несколько раз говорила, что ее тяготят бедность и труд ради только куска хлеба. Но она была отзывчивая и добрым человеком, и в минуту безденежья всегда, если у нее бывало самой, давала товарищам, что могла. Она мне нравилась, и с сентября по декабрь я был с ней в близких отношениях. На нашу связь я никогда не смотрел как на брак на всю жизнь, потому что для этого, по моему мнению, нужно иметь одинаковые интересы, а у нас их не было. В декабре прошлого года мне стала нравиться другая девушка, и я перестал бывать у Голубевой. Она была опечалена моим отказом проводить с ней время, но никогда мне этого не высказывала. Предположить, что наш разрыв стал причиной ее смерти, я никак не могу, — мало ли парни гуляют и сходятся с девчатами, и если бы каждая девушка, расходясь, убивала себя, то, вероятно, девчат давно не осталось бы в живых ни одной. Такие пустяки не могут быть причиной самоубийства. Ревновать Голубеву я никогда ни к кому не ревновал, так как в то время, когда она гуляла со мной, — с другими парнями она не гуляла, а после того, как мы разошлись, ее поведение мне стало безразличным, и я не интересовался, с кем она гуляет. Слышал, что она после меня гуляла с Наседкиным, но не ревновал, так как вообще-то считаю чувство ревности недостойным себя. После того как мы расстались — я видел ее всего два раза, один раз она шла в компании двух девчат, и я их проводил. Другой раз она шла одна и, увидев меня, протянула ко мне руки. Мне показалось, что она хочет о чем-то поговорить со мною, но я куда-то торопился и перешел на другую сторону. Обе встречи были в декабре, и с тех пор я Голубеву не видел и больше по делу показать ничего не могу.

Евгений Наседкин.

Допрошенный мною в качестве свидетеля 21 июня 1925 года Наседкин, Евгений Иванович, 17 лет, ученик фабзавуча, грамотный, комсомолец, показал:

— Я, Наседкин, познакомился с Голубевой в ноябре прошлого года и до ее скрытия с нею гулял. Она мне нравилась. В близких отношениях я с нею не был, а гулял, как вся молодежь. Гуляя со мной, она неоднократно говорила, что ей очень надоело жить, так как, по ее словам, правды на свете мало и счастья тоже. Однажды, когда мы проходили по кладбищу, она сказала, что знает уже все и больше ей знать нечего и неинтересно. Я ей ответил, что она забывает великую роль молодежи, но она только засмеялась и говорит: «Молодежь — это и есть я. Что же — мне для себя выворачиваться наизнанку?». По-моему мнению, Шура была девочка порывистая, с неустановившимися взглядами, но определенно хорошая. Она была очень отзывчивым товарищем, и про всякое свое огорчение ей можно было рассказывать. Недели три назад я шел с ней в парке. Она говорит: «Давай, Женя, присядем, — я тебе должна сказать про что-то». Мы сели на лавочке, она вынула из-за кофты револьвер и говорит: «Все-таки одной страшно. Давай вместе, — с тобой я не боюсь». Я стал ее отговаривать, но Шура очень горячо меня упрашивала, и говорила, что там как раз два патрона. Тогда я сказал, что сейчас я ни за что не согласен, пусть она подождет, когда я кончу школу, а тогда будет видно. Потом я ее спросил: — где она достала револьвер? Она ответила, что ей дал знакомый милиционер, и назвала его фамилию, но фамилию я позабыл. Но только я думаю, что она револьвер украла, так как милиционерам, как я слышал, запрещено давать револьвер кому-нибудь. Гулять с Шурой мне запретил мой отец, секретарь фабкома. Когда я ей сказал об этом, она заплакала и говорит: «Если ты со мной гулять не будешь, тогда я уж наверное умру». Мы сидели на кладбище, на могиле ее какого-то родственника, и она очень плакала. Я спросил ее: «О чем же ты плачешь?». Она говорит: «О моей жизни, которую я уже прожила. Это только ты видишь меня живую, а я давно уже мертвая». Шура сказала эти слова так страшно, что я испугался и предложил ей итти домой. Видя, что ей тяжело запрещение моего отца гулять с нею, я продолжал видеться с нею тайно, мы встречались у ворот городского кладбища и оттуда шли к реке. Так я видел Шуру раз пять, во время прогулки она молчала и часто плакала. Когда она взяла надеть платье Маршевой, и все отвернулись от нее, называя ее воровкой, я ее спросил: «Шура, зачем ты взяла Динино платье?». Она говорит: «Разве не все равно Дине, в каком платье я умру: у меня нет хорошего платья, чтобы умереть». Последний раз я видел Шуру за два дня до ее скрытия. Я ждал ее у кладбища, но она не пришла, тогда я пошел к ее дому и постучал в окошко, но она покачала головой в окно и не вышла. Больше показать ничего не могу.

Евдокия Маршева.

Допрошенная мною в качестве свидетельницы 20 июня 1925 года Маршева, Евдокия Павловна, 20 лет, ученица фабзавуча, грамотная, комсомолка, показала:

— Я, Маршева, начала жить с Голубевой с ноября прошлого года; она пришла в общежитие и говорит, что мать у нее старого понятия, и им трудно, да и на фабрику ходить далеко. Я говорю: «Что ж, живи с нами, с нонешними матерями, оно верно, сладу нету». Мы стали жить вместе и я ее очень жалела, — такая она мне показалась хрупенькая и беспомощная, можно сказать, что первое время я прямо заботилась о ней, как о дите. К ней в то время парни не ходили, но о каком-то Серке она часто вспоминала и убивалась. Раз призналась мне, что жила с ним, а я ее успокаивала, что все мужчины одинаковы, хоть партейные, хоть и беспартейные, и девке легко пропасть ни за что. Так жили мы дружно, пока не обнаружилась ее подлая натура во всей красоте. Она очень нахально украла у меня платье и колечко с бирюзой, и пошла в нем гулять на Троицу. Не была она дома цельных два дня, и я думала, что она совсем сбежала, — пошла и заявила на нее в милицию. Когда она пришла домой, я говорю: «Голубева, как тебе не стыдно, ты ходишь гуляешь с Наседкиным, и все говорят, что он тебе дал десять рублей, а ты мое платье носишь и колечко. Я на тебя за твою подлость заявила в милицию. Снимай мое платье!». Она села на стул и говорит, что теперь все равно, и платье она не снимет. Я очень удивлялась ее наглости, и даже хотела поправить ей за то прическу, но сдержалась. По моему мнению, поведения она была плохого, и даже, можно сказать, проститутка. Ее все за это презирали, но я защищала, пока не обнаружилась ее подлость. Такое отношение к ней очень ее угнетало, и она не раз собиралась покончить с собой. Однажды она пошла в лес давиться, но ей помешали. Последний раз я видела Голубеву в день авиации, я прошла около нее, но ей ничего не сказала. Она была в моем черном платьи и очень нахально мне улыбнулась. Я хотела тотчас заявить милиции, но милиционера поблизости не было, и Голубева прошла к Оке одна. Около кустов она остановилась и опять нахально помахала мне рукой, а я, не помня себя от злости, от такой ее подлости, побежала домой. С того дня я ее не видела, и больше по делу показать ничего не могу.

А. Ф. Голубева.

Допрошенная мною в качестве свидетельницы 20 июня 1925 года Голубева, Анна Феоктистовна, 41-го года, уборщица, неграмотная, беспартийная, показала:

— Конечно, я, как беспартейная вдова, много показать не могу. Муж мой был трудящий элемент по крестьянскому хозяйству, а в немецкую войну действительно торговал на базаре колесами и дегтем с возу, но только

это была не торговля, а одно горькое горе. Вскорости он умер от тифа, а я осталась с четырьмя детьми на руках, мал-мала меньше. Сашенька была старшая, и я отдала ее хоть и переростком в школу-семилетку, которую она проходила трудно, но обещалась кончить очень отлично. Но только кончить она сама не пожелала, говорила: «мама, если я ее кончу, я должна буду итти служить, а на фабрику меня тогда не возьмут, а с фабрики дорога шире». Так, — уж не знаю точно, — не доучилась она может всего несколько месяцев и поступила на фабрику и в фабзавуч. Конечно, мы все теперь, которые старые люди, — с прежними понятиями, и я не одобряла, когда она смеялась над иконами, и говорила, что Никола Милостивый — малеваная доска и больше ничего. Я про то завсегда была очень несогласная с ней и раз даже обмолвилась, что если мол у тебе такие самостоятельные взгляды на существо жизни, — ты мол и живи одна, а мне еще трех подымать нужно, и ты мне невинных младенчиков не порти. Вскорости она пришла и деликатно говорит, что будет теперь жить в общежитии с Дуней Маршевой, и к фабрике, говорит, мне будет ближе, а то мне приходится работать рано утром и ночью. Я ее, конечно, отпустила, но только никогда с нею не ссорилась, — все-таки своя кровь и жалко. Из общежития она часто приходила домой, сядет иной раз в углу и молчит, и тут я начала примечать, что девка ни в себе. Конечно, материнское сердце — оно чует. Взяла я про то в толк, а раз ее и вспрашиваю очень хладнокровно: «Что й ты, Сашенька, словно ни в себе? Нету ли, говорю, греха какого на твоей душе?». Но она только рассмеялась на мои слова беспричинно. «Теперь,—говорит,—мамаша, никакого греха нету, был да вышел! Гулять, — говорит, — не нагуляла, только начудесила...». И все, бывало, с братьями и с сестренкой возится, оденет их, гулять поведет. А придет с прогулки, заплачет и скажет: «Нет,—говорит,—все-таки я отрезаный от вас ломоть». Однако ничего такого я за ней не примечала. Думала, — ну, девка трудная, ну, да ничего, дойдет как-нибудь но нынешнему время. Ан, вот и не дошла. «Причащаться,—говорит,—не пойду—заразу подцепишь». А она, зараза-то, с другого боку вышла. Сбилась девка с панталыку: и от старого трудно отстать, и к новому-то одним глазом пристала. Про то и вышло несчастье. Еще больше показать не могу, но только жалко мне Сашеньку очень, и как вспомню я про ее горькую судьбу, так беспричинно плачу.

Развязанные снопы.

Р. Акульшин.

В родовой линии по отцу было много пастухов и лекарей разными снадобьями и заговорами. Может быть, потому так люблю я выискивать и подслушивать навсегда забываемые заклятья и тайные шопоты. Отец, дед и прадед матери славились хорошими голосами и знаньем множества песен. Отец мой тоже никогда не работал без песен, потому и посватали за него Груньку Мошкову (мою мать, теперь Аграфену), первую на селе песельницу. Двенадцать человек породила моя мать, а в живых только половина осталась: две сестры и четыре брата. Я—самый младший брат. Всех старших братьев родители в обучение мастеру отдавали, через два-три года уходили братья от мастера малярами, кровельщиками, холодными кузнецами. По разным селам работали, дома красили, церкви крыли, ведра и тазы мастерили. Заработанное отцу на скопленье отдавали, а вскорости дом построили — переселились из глиняной мазанки. Счастливая полоса моей жизни. Был гармонистом брат Степан. Стукнуло семнадцать старшей сестре. Все село до зари веселилось у нашего дома, в песнях, плясках, в кадрилях кружилось. Мне было шесть лет. Я чудил толпу пляской и прибаутками.

— Раздайся, народ, меня пляска берет!.. — приказывал я курогоду. Толпа раздавалась. А я, скорчившись в три погибели, выбегал на середину, прищуривал глаза и начинал под братову гармонь:

Дуга синяя голубленая
Жена мужа недолюбливала.

«Еще, еще припой!..» А когда я кончал, сотни рук подбрасывали меня выше дома, а мне казалось, что меня не подбрасывают, а сам я взлетаю на крыльях. Как «чудило» я прославился на все село, и скоро стал непременным гостем на всех деревенских свадьбах. Деревенских ребятишек грызли завидки. Один раз они здорово меня поколотили. После этого я боялся мальчишек, и захороводился с девчонками. За каждое гулянье мне деньги платили, от пяти копеек до полтинника. Накопил я денег — купили мне в первый раз тиковые штаны и ситцевую рубаху, а до тех пор самотканное носил. Бордовую рубашку сестра гладью расшила. Свойских портков я уж больше не надевал. Отец задумал в артисты меня отдать, в бродячий по ярмаркам балаган

пристроить. Кто знает: может быть, глотал бы я теперь в цирке горящие факелы, гримировался рыжим клоуном и был известным на всю Россию. Все бы могло случиться, умри дедушка на три года попозже. А он умер как раз в то время, когда моя слава не давала сверстникам спать. Умер дедушка, позвали черниц-монашек псалтырь читать. Кроткие лампадки, одуряющий ладан, за сердце хватающая монотонность псалмов... Оборвалось веселье возле нашего дома. «Мама, скорей дедушку в землю зарывайте!» Услыхала мои просьбы монашка — Маша Долговязая, бросила псалмы читать, за руку меня взяла, промеж колен своих зажала и ну усовещевать, божьей карой пугать. А вечером с другой монашкой повели меня в темную курную баню. Пахло в бане мочей и заплесневелыми вениками. Из-за кадок и сырых половиц прыгали жабы. Монашки усадили меня на полок и сами сели мной. Не выдержали квелые доски тяжести троих, чебурахнулись мы во что-то мягкое и сырое... Потом я узнал — это была земля, смешанная банными вениками. Пола под полком не было, земля никогда не просыхала. Испачкал я заработанные пляской штаны. Слеза меня прошибла, а монашки не растерялись, крушение с полком для моего вразумленья использовали.

— То же будет на том свете с тобою. Положат узенькую дощечку через глубокую пропасть, а в пропасти смолу распалят. Посадят тебя на дощечку, а рядом дьяволов рогатых. Обломится дощечка, полетишь в геенну огненную. Сгореть не сгоришь, только пить захочешь. Захочешь пить — никто не подаст, а приведут тебя на горячу сковороду, в ноги гвоздей набьют, плясать заставят — плясал на земле, в аду попляши...

Тьма и сырость, прыгающие жабы начинали настраивать меня на испуг, черти в темноте замерещились. Раззадорились мои вразумительницы: поймали жабу холодную, сунули мне за пазуху, а сами выскочили в предбанник и завыли по-звериному, залаяли по-собачьему. Вскочил я, заметался — дверь разыскать, да наткнулся на каменку. Упали два кирпича мне на ноги. А потом уж я ничего не помнил. Полумертвого, в обмороке притащили меня монашки в избу, святой водой обрызгали, заговорами в чувство привели. Очнулся я. Только прежнюю веселость мою как половодьем смыло. Стал я тихим, задумчивым, стал молиться на сон грядущий. По два часа на коленях простаивал. Слезами пол смачивал. Плакал и просил: «Господи, прости меня за пляску». Часто так и засыпал за молитвой, а во сне видел себя в раю на золоченой лестнице. Снова хороводы до зари возле нашего крыльца кружились, только я не плясал.

— Родька, отчубучь! — Ноги болят... А сказать, что грех, — стыдился, смешек боялся.

Началось другое увлеченье... шитьем. По целым дням я просиживал за сшиваньем лоскутков, мастерил платья, одеяла, шляпы. Сестра использовала мои таланты и приспособила к шитью приданого. Я вышивал ей полотенца, занавески, стачивал одеяла. Некоторые мои работы до сего времени в сундуке хранятся. Мать радовалась моей перемене и доказывала отцу, что меня нужно отдать в портные модных магазинов в Самару. И когда через несколько [illegible] я держал экзамен в двухклассную школу, мать перечитала все заговоры,

все молитвы, чтобы я провалился. Провались я тогда, быть бы мне теп дамским портным.

Я и теперь нередко останавливаюсь у витрины «Ателье мод» на Петро и сравниваю свои прежние работы с выставленными. Будь я портным, я верняка стал бы законодателем мод. Склонность к модному у меня от д Тимофея, того самого, который так некстати умер.

Через год после банной истории я захворал: отнялись ноги на дру день после того, как сестра нечаянно половой щеткой меня ударила. Поех к фельдшеру—не помогло. Сделал доктор операцию, не заживают ноги. Хо с клюшками, прихрамываю. Напутала тетка Катерина мать и отца. «На жизнь хромышем останется, святой водой полечить надо. Попритчилось ему, черного кто-нибудь помянул в ту пору, как Таныка-т ушибла его... К щенской как рукой снимет».

Согласились родители. Месяц сентябрь кончался, днем доброе солныш теплом не скупилось, по утрам и вечерам девки в шубы зимние кутали В воскресенье перед вечером тетка Катерина вместе с матерью повели ме под сарай. Мать несла три бутылки с водой, мешочек с золой и ведер с углями. Тетка Катерина—березовый веник, блюдо и черепушку, в как для кошек молока наливали. Стали раздевать меня, сначала рубашку сня Думал, штанов не буду снимать (стыдно мне было без штанов),—нет, сня Под куриный насест поставили, ноги раздвинуть велели. На прелую соло промеж ног моих тетка Катерина черепушку поставила, а крещенскую во в блюдо вылила, из мешочка горстку золы четверговой (собирается в четве на страстной неделе) в воду бросила, из ведерка угольков положила. Обр лечения еще не начинался, а я дрожал от холода и страха. Но во Катерина приказала матери: «держи блюдо», а сама взяла в руки бере зовый веник.

«Не кричи, — сказала мне, — будет невтерпеж, тверди «мил сердие двери отверзи ми». Ну, господи, благослови...» Обмакнула тетка ве в блюдо и брызнула на голое тело. Затрясла меня лихорадка, застуч зубы, а лекарка медленно обмакивала веник в воду и обдавала меня хол ными брызгами. Сначала с шершавого тела капали капли, потом побеж мутные струйки, а сурьезная тетка в такт обмакивания и стряхивания ника шептала:

Как заря заряница занималася,
Так во чреве твоя жизнь спочиналася.
Вышло на небо солнышко красное,
Началась твоя разнесчастная.
Не взлюбила тебя родная матушка...

— Мама! — закричал я, — маманюшка... умру я... ты меня не любиш одень меня...

С материнских ресниц капали слезы, но, утешая меня, она говори «люблю, сынок, потерпи немножко, лучше будет... минуточку...»

— Не перебивайте, благодать не сойдет,—сердилась тетка Катер и продолжала:

Не взлюбили сестрица и братушки,
Кости ломили,
Кровь твою пили,
Тело щипали,
Ногами топтали.
Солнышко ясное, звезды высокие,
Небо широкое, моря огромадные,
Луга зеленые, поля хлебородные.
Все вы стоите тихо и смирно.
Смирись твоя матушка,
Сестрицы и братушки.
За лугами зелеными речка течет,
И зимой течет и летом течет...
Сердце братцев, сестриц и матушки
Потеки на тебя невзлюбленного,
Смой всю хворобу в речку студеную!

— Вот и все, одевай его скорее.

Но это было не все. Самое страшное было впереди. В черепушку, что промеж ног стояла, несколько струек святых пролилось. Нужно было отнести их вместе с черепушкой в речку и бросить по течению, чтобы ногам облегченье наступило. А уж смеркалось совсем. За две версты речка от села.

— Туда пойдешь, не оглядывайся, бросишь в воду, домой без оглядки иди. Собак увидишь, скажи святы боже... Вытерпишь, век меня помнить будешь.

Я вытерпел. Позади меня проехали на телеге — я не оглянулся. Казалось мне — бежит за мной кто-то. Но я крепко прижимал черепушку к груди и шел без оглядки к речке, хромая больными ногами, трепыхаясь семилетним сердцем. Лешими чудились мне голые деревья на том берегу. Тени их, протягиваясь через речку, хватали меня за края штанов. Бросил я черепок в воду. Плеск в тишине далеко раздался, будто сом большой хвостом хлобыстнул. Бегу домой, а лешие деревья тянутся, тянутся за мною... Вот-вот схватят...

На задах, на пригорке, мать меня поджидала.

— Сыночек!.. — Схватила она меня на руки, как будто я с неба к ней свалился, как будто не чаяла живым меня видеть.—Сыночек, ох, ведь ты рченный весь...

Ночью я бредил. Горела лампадка. Младенец с иконы сошел ко мне и стал тормошить: «Пойдем плясать, со мной пойдем...». — Маша Долговязая не велела, в ад посадят. — «Если со мной, то не посадят, я — начальник над раем и адом».

Я начинал плясать. Мать обливала слезами мое лицо и упрашивала: «Не дрыгайся, сыночек, лежи смирно...».

Не забыть мне тетки Катерины, не забыть заговора и святой воды. Ранное вразумление и теткино леченье изуродовали все мое детство, ощипали все цветы с завязи моих артистических талантов.

Я рассказываю об этом, чтобы знали читатели первые страницы моей биографии и в них увидели темный лик старой деревни с колдунами, знахарями, заговорами, причетами и молебнами. И посейчас еще крепка старушечья темная Россия, но вместе с ней, рядом с ней, заглушая ее, растет деревенский молодняк, с большим трудом создающий новую жизненную кладку.

По контрасту я всегда вспоминаю о прошлом, когда говорю о настоящем. Следующие страницы будут целиком посвящены нашим деревенским будням (радостью наполнены они, или вздохами, светлой точкой сверкают или крылом летучей мыши вздрагивают — это другой вопрос).

Маяковский за материалом едет в Мексику, Третьяков — в Китай, Пильняк и Шкловский летают на гидроаэропланах по селам и городам СССР. Все путешествуют. Только мои поездки немноговерстны: деревня и своя прежняя жизнь. Пока есть что сказать, буду говорить, а иссякнет материал, тоже поеду куда-нибудь. Только думаю, что деревня — колодезь, который никогда не пересохнет и всю жизнь будет поить меня горечью и медом. Такова русская доля, таковы два начала нашей жизни—горечь и сладость, унынье и разгул, будни и праздники.

Мой зимний очерк «О чем шепчет деревня» милюковские «Последние Новости» использовали как эмигрантский козырь против советской действительности. Милюков раздул подслушанный мной шопот в белый эмигрантский ропот. Поторопились, маститый профессор! Годы деревенского ропота в прошлом (далеком или близком, но в прошлом). Могу послать вам копии деревенских писем, заверенных нотариусом, а не верите советским нотариусам, двумя-тремя подлинниками не поскуплюсь.

Верблюдогорка, Терской области, 12 сентября 1925

«Что-то долго вы к нам не приезжаете. А у нас новостей сколько. Теперь вы нашу Верблюдогорку не узнаете. Комитетом взаимопомощи трактор купили, без канители дело пошло. Помните, при вас были у нас первые октябрины, и вы тогда веселую речь сказали. А за это год одиннадцать младенцев обоктябрили — 8 мальчиков и трех девочек. Девочкам дали имена: Надежда (в честь Н. К. Крупской), Свобода и Марта (в честь Парижской Коммуны). Мальчикам: Карл, три Владимира, два Мая, один Октябрь и один Совхоз. Это имя отец пожелал, потому что в Совхозе служит. Не совсем у нас хорошо с газетами, только думаем, что скоро наладим. Вы нам помогите.

Лида Буддто».

Виловатое, Самарской губ., 5 мая 1925 г.

«Вы просили меня сообщить о беспартийной конференции. Я очень доволен, что на этой конференции крестьяне не молчали, а интересовались разными постановками вопроса. Больше все насчет сельско-хозяйственных машин. Можно ли в кредит получить, чтобы способно было приобрести

Скрыпов Митрий тоже был на конференции. В прошлом году он матюкал центральную и местную власть. А теперь во время перерыва мы с ним говорили. — Что, а ведь в роде как и взыпрок, лицом к нам повертываются...

Кузьма Саблин».

Комментарии к этим письмам излишни. Не скрою, есть и другие письма. Есть, например, письмо о том, как на торжестве первого мая пьяный коммунист начал говорить речь и облевался. Из такого случая «Последние Новости» поторопятся сделать вывод: «Коммунисты в день первого мая напиваются пьяными».

С нашей точки зрения — это темное пятно. Но мы стараемся темное превратить в светлое, а белая эмиграция каждое наше пятнышко размазывает в кляксу грандиозных размеров.

Вот перед моими глазами разгар летней страды. Уже отзвенели косы на нивах. Уже от гумен к полям тарахтят пустые рыдваны, а навстречу им медленно и важно, с поскрипом ползут пахучие воза розвязи. На гумнах шум, стук цепов и гуденье веялки, а в селах, по улицам деревенским - тишина. Такая тишь, такое безмолвие, как будто все вымерло или уснуло сном непробудным. Пройдись из конца в конец — никого не увидишь, ничего не услышишь, кроме редкого кукуреканья кочета, да теканья отставшего от наседки цыпленка. Раздолье коршуну. Вольготно плавает он по голубому морю неба. Захотел цыпленка — вон сколько их. Дремлют домоседки старухи, хоть все тащи, не услышат. Хорошо, что жуликов нет.

Вечером оживляется улица песнями молодежи. Там и тут бренчат балалайки. Много развелось в наших деревнях балалаечников. Гармонистов нет. Дорого стоит гармонь, а балалайки сами мастерят.

Брошу свечку через речку
Тоненьку тонешеньку.
Никогда не позабуду
Дорогого Лешеньку.
Сыграй Ванечка в тальяночку
В зеленные боры
Мы проводим тебя мальчика
До самой до горы.

Проходит молодежь по улице. Пылят босоногие ребятишки. Вчера, сегодня и завтра — одно и то же. Клуб забит вот уже пять месяцев, читальня закрыта. — «Комсомолы к этому делу приставлены, чтоб в клубах культуру разводить, а мы к тому без принципа... валяй Гришка»...

Я куплю себе калоши
На резинковом ходу.
Чтобы наши не слыхали,
Как с собранья я приду.

Грустные-прегрустные сидят три комсомолки на крыльце, смотрят на проходящих «беспартейных» и горько жалуются мне, и так искренна их жалоба, что пусть ее и другие услышат. Тогда, может быть, полегче будет девицам-комсомолкам, сидящим по вечерам на крыльце и слушающим крикливые деревенские песни.

...«У нас ничего нет... А что нам делать, мы ума не приложим. Кажется, вот комсомольцам нельзя в церковь ходить, а мы хорошо не знаем»... — И ходите? — «Ходим от скуки, на попа посмотришь, на старух, ладану понюхаешь... В храмовые праздники мы на клиросе поем — все-таки развлеченье».

— А ведь вас за это могут исключить из комсомола.

— Ну... К нам никто не заглядывает. Из райкома прикомандировали к нам одного для руководства, только он у нас ни разу не был. К пасхе прислали бумагу, чтоб пасху комсомольскую сделать... А как ее делать, из чего делать, не написали. Спросили мы учительницу, говорит: «не знаю»... Спросили попа — тоже не знает... Написали ответ в райком: «Не знаем, как пасху делать, дайте указанье ,чтоб мы знали»... Ну, из райкома через две недели после пасхи прислали посылку, а в конверте на бумажке прописали: «Вот из этого материала можете состряпать, побольше инициативы вложите». Мы думали, думали, чего это такое аньцатива... Верка говорит: «Это наверно ванель, ай лимонное масло... Завсегда благородные в пасху кладут для духу». Только нам это ни к чему, да и пасха прошла, работы в поле начались. Развернули посылку, а там пятнадцать журналов — все плохие, без картинок. Мы поглядели, поглядели и сказали: «Сами ешьте такую стряпню... Вот с тех пор нам ничего не присылают». Комсомолки вздохнули.—«Кто же у вас секретарем?»—Шеин Федька. Он вот какой смекалистый, страсть! Весной, когда забрали допризывников учить, и его тоже взяли. Ну, там стали допрашивать: сказывай, кто комсомолец? Тот говорит: я не комсомолец, другой: я не комсомолец. Дошла череда до Федьки, он и говорит: «я беспартейный». — Как так? Ты самый главный комсомол виловатовский. — «Лопни, говорит, мои глаза, если я комсомол... Вот вам факт, что я не комсомол». Расстегнул ворот рубахи и крест показал. Ну, тогда начальник, какой их обучал, поверил. — «Что ж, и теперь этот Федька в комсомоле?» — А где ж, знамо в комсомоле. Как он с ученья-то приехал, мы ругать его принялись: «Зачем от комсомола отрекаешься?». А он говорит: «Да, скажи им, что я комсомолец, тогда и пошлют на фронт, на передовые позиции...».— Дурак, дурак, войны-то нет нигде, со всеми замиренье... — «А долго ей, войне-то, сделаться? Нынче нет, а завтра пришлют манифест— и собирайся в поход».

Это темное пятно. Знаем. Но пройдет несколько месяцев, пройдет год, приедут из центра хорошие работники-добровольцы, и наших комсомольцев не узнать. Сейчас я не о том. Сейчас мне хочется переделать сказку-прибаутку, рассказанную веселым парнем Микиткой Недобежкиным (это осенью его в Красную армию призвали). В сказку вставлены белые и

красные. Без этого нельзя. Где их не было, в какой деревне не гремели пушки? Деревенские рассказчики не могут не упомянуть гражданской войны даже в такой шуточной сказке, как ниже приводимая.

Как я на охоту ходил.

«Пошел я стрелять. Шел я по забережью. Ну, смотрю, а три козы на одной ноге бегут. Шел, шел я по забережью, пить захотел, а напиться нечем. Чего делать? Взял я тут с себя черепок, с головы снял, напился и закинул в воду. Потом смотрю, а поповы ребята на дубу горох молотят. — «Чудны вы, ребята, на дубу горох молотите...» — Чуден ты, дядюшка, на голове мозг несешь... Я хватил — он мажется, а мне не кажется. Потом я воротился за черепком, а в нем уж утка яиц нанесла. У меня был топор. Я в утку топором. Утку убил, яйца улетели. Тут я взял камыш поджег, вода сгорела, камыш остался, топор сгорел, топорище осталось. Надел я черепок на голову и пошел. Шел, шел, взял да из глины кобылу слепил, сел и поехал. Ехал, ехал, зад у кобылы и отвалился, бегает по лесу, ржет, переда не найдет. Ну, я воротился, слепил его опять, и клин липовый в дырочку сзади забил. Сел и поехал. А сучок от клина начал рость. Я еду, он растет и в небо уперся. Ехать мне дальше никак нельзя. Чего делать? Я айда по дереву на небо — узнать, что там почем. Там мухи с комарями дороги, а коровы с телятами дешевы. Узнал я про это, да скорее вниз. Набрал два куля мух и комарей, ну и залез опять на небо. Дам муху с комаренком — беру корову с теленком. И набрал два гурта. А покуда я мух и комарей на коров выменивал, на земле война затеялась: красные с белыми сцепились. Как я из бедного сословья, то завсегда красным сочувствую. Вот думаю, отдадим им коров и телят, пусть солдат мясом кормят. Мне-то ведь они бесплатно достались, за мух и комарей получил. Подгоняю скотину к отростку, чтобы на землю спустить, а дерево ктой-то подрубил. Чего делать? Я давай резать коров и телят. Кожи режу и на ремни связываю и вниз спускаю. Порезал коров и телят и стал вниз спускаться. Веревка до земли нехватает. Чего делать? Веревка над озером висит, а недалеко мужик овес веет. Я одной рукой мякину хватаю, а другой веревку из мякины вью. А был сильный ветер, меня носит то в Москву, то в Ленинград — больно раскачало. И мякинная веревка оборвалась. Я — бултых прямо в воду, и ушел в тину по бороде. Вылезть никак нельзя. Утка тут и свила гнездо на голове и нанесла яиц. Пришел волк, яйца поел. Утка прилетела: как-как. А яичек нет. Потом еще нанесла. Приходит волк, а я тут уж догадался. Волк яйца поел, только задом оборотился, я его цап за хвост, да тю-лю-ле. Он подхватил меня, да айда. А я все держусь. Надо бы бросить. А он меня между двух осин и затесал. Вылезть никак нельзя. Чего делать? Потом уж сходил я за топором, да вырубился. Иду домой, а тут лес. Я заплутался и не знаю куда итти. Да напал на дерево сухое, высокое — тут в лесу стоит. Вершина у дерева сломана, а дупло пустое. Я хотел встать на вершину, да в дупле и сорвался. Ну и сижу там. Чего делать? Да. Тут

поляна, значит, и слышу приехали к дереву вроде как разбойники. А это не разбойники, а белые отступали от красных. Кричат: давай кашу варить. Двое подошли и давай дерево на дрова рубить, а я немного поднялся, чтобы ногу не отрубили. Потом вижу — большое окно прорубили, да как закричу!.. Они кто куда, лошадей запрягли и ускакали. Думали в дупле засада из красных сидит. Вылез я, а у них тут лошадь осталась — не успели запречь, и куча денег осталась. Ну, я лошадь запрег, деньги посыпал на тележенку, поехал и заснул дорогой-то. У меня волки лошадь и с'ели. Один уж залез в оглобли, шею в хомуте выедает. Я проснулся, как хльюнул, думал лошадь, — он в хомут головой и заскочил и повез. Еду я на волке, а другой сзади бежит, а у меня нахвостник у кнута был с узлом. Я махнул назад, узел промежду зубов волчьих и заскочил. Ну и веду его. Под'ехал я ко двору, а у нас с дедушкой двор был крепкий — светом обогорожен, небом покрыт. Зашумел я дедушке, дедушка выскочил, волков этих мы побили, ободрали, два тулупа сшили, да избу покрыли, да еще много осталось. А на деньги, какие от белых остались, мы с дедушкой карусель построили. Кажный праздник ребятишек, парней, девок катаем. Веселья у нас — хоть отбавляй! Только веселье человеку не во вред, а потому и отбавлять его никаких смыслов нет».

Эту сказку рассказывал Микита, может быть, в сотый раз, но не переставали смеяться парни и ребятишки, а больше всех покатывались Мишка с Еграшкой, из пионерского отряда исключенные. У пионеров наших дисциплина строже комсомольской, а история с исключеньем Мишки с Еграшкой весьма поучительна.

Летом побежали вместе купаться. А тут по дороге сад Маланьин. Яблоки анисовые так и дразнят.

— Мишка, хорошо бы? А?

— Пионерам нельзя... Будь готов.

— А никто не видит.

— Ну, ты лезь, а я покараулю.

Забрался Мишка на вершинку, яблоки наливные за пазуху сует. Но вот ворота в сад заскрипели. Свистнул Еграшка, а Мишка обжаднел и не слышит. А когда увидал Маланью, уж поздно было. Спрыгивая с яблони, прямо в руки ей попался. Начал было упрашивать. — Тетка, возьми все яблоки, только отпусти, пионер ведь я... Позорно мне яблоки воровать... — «Куда торопиться», — ехидничает Маланья, а сама штаны с Мишки снимает и к плетню тащит. А у плетня крапивные заросли. Наломала Маланья завернутой в фартук рукой крапивы и ну Мишку стегать: «Вот тебе, вот тебе, пинер шмыгоносый». — Тетка Маланья хватит, сесть нельзя будет, давай портки.—«Не на такую напал... Прогуляйся иди, а за портками пусть мать придет»... Куда деваться Мишке? Забрел в конопель, сидит, белые волдыри почесывает. Подбежал Еграшка. — Иди... В сенцах сундучок... Там сверху другие портки лежат... Чтоб только мама не видала...

Да видно беда не ходит одна. Услыхали в избе, кто-то возится в сенцах, вышли — чужой.

— А... по чужим сундукам шарить... Ну-ка, прогуляйся иди! Что такое: где прогуляться посылают... Сняли рубашку с товарища. Хорошо хоть не штаны. Что делать? Задами, таючись, к товарищу прибежал. — Принес?

— Принесешь, самого раздели... Нечего делать. До вечера в конопели душистой просидели. Вечером месяц взошел, голых товарищей осветил. Вышли из засады. — Теперь нам зарез, вожатому пожалуется Маланья.— Давай скажем, что мы для него рвали...

Меня упрекнут в склонности к анекдотизму. Деревня многосторонняя. Я жил в деревне двадцать семь лет. Я люблю ее такой, как она есть. Деревенские анекдоты иногда ценнее городских измышлений и ухищрений и как ничто другое способствуют пониманию лика деревни. Исключили ребятишек из пионерского отряда. А хорошие ребятишки. Не надо бы исключать. В другой раз все равно бы не полезли. Да и яблоки уж больно соблазинительны.

О многом надо рассказать, да не всяких размеров статьи принимаются редактором. Но передо мною вторичное письмо известного читателям Кузьмы Анисимыча, где он спрашивает, написал ли я про «Верх и низ».

Верх и низ — история продналоговой несправедливости. Наверху, по правую сторону речки, все лето дожди проливные над полями. Внизу, у нас, два раза еле-еле побрызгали. А страда подошла — на горе сноп на снопе, под горою — на целый загон два скирда. А стали зерно в амбары ссыпать— на горе двести челяков с десятины, под горою полста—красный сбор. Приуныли мужики, несправедливо небо дождь разделило, и диви дальность большая, только всего речка низ отделяет от верха. Но совсем крестьяне запечалились, как узнали о ставках продналога. Уравняли в разряде верх и низ, а через это каждую пятницу в базарный день с павловской колокольни такую картину можно увидеть. По трем дорогам из нижних деревень ведут на базар овец, лошадей, коров, телят. Ведут потому, что зиму не прокормить, а еще потому, что надо же налог выплачивать. Из верхних деревень не ведут скотины, тянутся из верхних деревень подводы с наливным хлебом. В длинных очередях перед элеватором, государственными и частными ссыпными пунктами стоят верхние. И до тех пор, пока они хлеб не сдадут, мнутся на месте унылые продавцы скота. Растаяли очереди у ссыпных пунктов,—редеет скот на базаре. Верхние с деньгами, им есть на что купить, и корму у них для себя и для скота вдоволь.

Грустная картина. Хлопотали наши мужики перед уездом и губернией — ничего не вышло. Хлопотать перед центром сил нехватило. И что из того, что я написал про это? Только сердцу обиженных будет полегче, вот, мол, кто-нибудь посочувствует нам. А время все равно упущено, проданный за бесценок скот не скоро вернешь на опустелые дворы.

— Почему же вик допустил такую ошибку?

— Почему? Вон как волость-то разбухла. Из трех огромадных волостей одну сделали. Вик на горе. А на горе урожай. Ну, думают, наверно по всей волости так. А урожай—он на одном загоне разный бывает. Все

равно неудобны мужику такие большие волости... Уж это факт: нас бы не причислили к первому разряду, кабы по-прежнему у нас волость была.

Товарищ Яковлев в «Красной Нови» писал о недостатках укрупненных виков. Я с ним согласен. Кроме всех перечисленных в статье неудобств для крестьян от укрупненных волостных центров—нерадение, недогляд за во все уголки большой территории, несправедливое решение по отношению к дальним — факт, с которым нужно считаться и устранить как можно скорее.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Диалог о музыке.

Иосиф Эйгес.

Почтенный ученый: Хорошо-с! Я от музыки стою в стороне, некогда мне. А, вот, интересно, правда ли, что в опере «Евг. Онегин» — кажется, Чайковского? — в музыке к письму Татьяны переданы все знаки препинания: точки, запятые, точки с запятой?

Музыкант-мыслитель: ???!!!

Музыкант-артист: Как, как? Не прав ли я, когда называю музыку великой мученицей. Чего только не делают с ней! Когда я слышу или читаю о музыке, я себя чувствую почти всегда совершенно так, как будто на моих глазах бьют до полусмерти живое существо. На самом деле, эти музыкальные писаки, чем более красноречивые, тем более ничтожные и дальше отстоящие от своего предмета — музыки — только и делают, что тузят во-всю, уродуют ее прекрасное тело. Кончив свою жестокую расправу, они торжествующе возглашают, указывая на уродство, лежащее перед ними: вот теперь музыка, это любимейшее искусство, предстает во всей красе, во всем достоинстве и значении. И ничто не смущает их радость. А услышав вопрос о музыке нашего ученого, я вижу, что еще наносят раз'едающие ее тело царапины в виде знаков препинания.

Музыкант-мыслитель: Не так горячо! Давайте обсудим спокойно.

Почтенный ученый: Я догадываюсь, к чему тут гнут. А я вам вот что скажу. Прелюдия в ми минор Шопена № 4 изображает не что иное, как умирание от чахотки. Вы не испытывали этого состояния, а я знаю, что говорю. Я сам был болен туберкулезом, — только, что не умер, как Шопен — и решительно утверждаю, что эта прелюдия совершенно точно и полно передает предсмертное состояние чахоточного.

Музыкант-артист: Вы уверены в этом?!

Музыкант-мыслитель: Постойте. Итак, тут высказывается мнение, что музыка всегда что-нибудь изображает?

Почтенный ученый: Непременно, иначе музыка — нечто бессодержательное, пустое.

Музыкант-мыслитель: А разве музыка не может иметь своего собственного содержания?

Почтенный ученый: Какого же это? Никакого другого содержания не может быть, кроме природы внешней и внутренней, т.-е. так наз. мира природы и человеческих чувств. Если бы музыка ничего не выражала, то она не имела бы никакой цены.

Музыкант-мыслитель: А если бы смысл музыки заключался в изображении чего-нибудь, то не могла бы существовать музыка в чистой своей форме — а таких музыкальных произведений, и среди них гениальных, никто не станет отрицать, — не было бы и соответствующих признаний композиторов, отвергающих толкования их пьес и требующих, чтобы их принимали прямо и непосредственно, т.-е. как специфически-музыкальную данность.

Почтенный ученый: Но как же тогда прикажете понимать музыку?

Музыкант-мыслитель: А вот как. Почему-то думают, что надо выбирать между тем, что музыка есть пустая игра звуков, и тем, что она выражает какие-либо посторонние музыке представления, тогда как и то и другое равно неправильно. Первое положение придется отбросить, так как ясно, что, будь это так, музыка не имела бы того значения и той властно-захватывающей силы, которыми она обладает в действительности: такую оценку музыки могли б разделять только вовсе равнодушные к этому искусству, которых немного — да притом при условии, чтобы они ничего не знали о музыкальном впечатлении других. Остается второе предположение, — допустим его. Тогда музыкальное произведение должно зависеть от того, что оно выражает, и плестись за ним, как тень за предметом. Но так происходит только в одном особом течении музыки, так наз. программном. Вообще же говоря, музыка дорожит своим собственно-музыкальным началом, которое противостоит всему тому, что нарушает самостоятельность музыкального развития и препятствует ему проявиться во всей полноте. Нелепо думать, что музыка изображает предметы, так как звук не может выразить того, что чуждо ему по природе, как и линия, краска — того, что чуждо их природе. Ведь при изображении какого бы то ни было рода, будь зеркальное, водное, теневое, фотографическое, живописное, графическое, каждой точке предмета необходимо соответствует известная точка его изображения. Следовательно, видеть в музыке изображение предметов — значит признавать в каждом звуке, непременно в каждом, входящем, как часть, в данную музыкальную пьесу, вполне определенное соответствие с каждой частью предмета. Вообще, что может значить изображение во временном ряде пространственного, или наоборот?!

Почтенный ученый: Но позвольте, не все же изображения такие детальные и точные, как зеркальные; живопись дает изображение предмета в общем, когда...

Музыкант-мыслитель: В том-то и дело, что то общее, что музыка может схватить в предмете, те общие черты, которые доступны музыке, необходимо окажутся лишь такими, какие согласуются с самой природой звука, как такового, — а именно только такие свойства предмета,

как движение: его характер (спокойный или порывистый и пр.), темп, ритм. Музыка, значит, может изображать не самый данный предмет, а лишь некоторые его черты, именно некоторые общие свойства, не определяющие индивидуального предмета. Собственно говоря, даже не то, чтобы музыка воспроизводила какой-либо род движения предмета, а движение в музыке, одна ее сторона, воспроизводит движение предмета. Музыка — не только движение, которое поддается вычислению, но и то, что движется, самые звуки, создающие мелодико-гармоническое единство. Если это движение в музыке обладает исключительной характерностью, то мы тотчас добавляем к нему и образ, которому принадлежит это движение. В других, более обычных случаях, когда данный род движения может принадлежать целому ряду различных предметов, нам достаточно бывает какого-нибудь намека путем заглавия пьесы или смежности музыки с определенной декорацией или с текстом, чтобы в нашем воображении музыка соединилась именно с таким-то предметом. Без постороннего внушения здесь не возникли бы те общие всем образы и картины, которые сливаются у нас в одно с музыкой так крепко, что кажутся изображенными ею.

Музыкант-артист: Я поясню это на примерах. Итак, определенный вид музыкального движения может вызвать самый разнообразный вид представлений, совершенно равноценных или вернее совершенно равно бесценных перед лицом музыки самой по себе. Одно и то же музыкальное движение может быть сочтено и за бурное море, и за клубящиеся облака, и за клокотание гнева, и за беспокойство страсти и пр., — короче, определенный вид музыкального движения может быть признан за выражение какого бы то ни было волнения: моря, облаков, души и пр. Со всеми такими толкованиями можно согласиться, потому что все они возбуждены не тем свойством музыки, которое образует ее основу, но свойством второстепенным, общим у музыки с другими явлениями. Следовательно, музыка воспроизводит только характер движения, образ же носителя этого движения — всегда произволен. Музыка может иметь плавное движение, а будет оно движение лодки или чего другого, это может нам подсказать заглавие пиесы или сопровождающий музыку текст. Во всяком случае, береговые картины не могут быть переданы музыкой, так что говорить о прибрежных скалах, цветущих садах, восходах и закатах, к чему так охотно прибегают, желая зачем-то «истолковать» музыку, не имеет смысла.

Почтенный ученый: В таком случае, вы ближе к обычному суждению о музыке, чем полагаете. Пусть музыка изображает предметы не прямо и непосредственно, но лишь при посредстве движения, воспроизводимого ею, все же, значит, внимание музыки направлено на мир природы, который она по возможности и стремится выразить. Не так ли?

Музыкант-мыслитель: К сожалению или к счастью — как посмотреть — приходится ответить, что не так. То, что вы предполагаете в музыке, может относиться лишь к чрезвычайно небольшой группе музыкальных произведений, нисколько не характеризующей музыку в целом. Изображение явлений, хотя бы косвенным путем, не составляет музыкаль-

ной заботы. Даже оперы, как и романсы, пишут вовсе не так, как в... хотелось бы. Не музыка, а поэзия является служанкой при их соедине... Сплошь и рядом тексты и весь комплекс представлений подбираются к у... готовой музыке. При этом музыка пред'являет свои требования, кото... всегда законны и перед которыми склоняются. Все недостатки сцена... и текста мы не только прощаем ради хорошей музыки, но часто и во... не замечаем их. Оценивать музыку, вообще, следует только по ее собстве... но-музыкальному значению, а не по ее соответствию тексту или действи... сцены, или просто заглавию. В случаях сочетания музыки с чем-либо му... кальное достоинство состоит в том, чтобы сохранились значительнос... и красота музыки и вне этого сочетания, при отрыве от текста. В истор... музыки также известны многочисленные случаи перемены текстов, прич... самой свободной, напр., светских, даже вульгарных, на церковные; прито... даже у тех композиторов, которые ставили себе задачей верную переда... текста. Совершенно неправомерны такие общеупотребительные выражени... как: перевести или переложить слова на музыку, положить на ноты. Рома... есть музыка на слова или к словам, но никак не слова, положенные на м... зыку. Переложить или перевести можно только слова с одного языка н... другой или музыку с одного инструмента на другой, но переложить сло... на музыку — бессмыслица. Поэт горделиво дает музыканту свое стихотв... рение «для переложения его на музыку», а в действительности композит... озабочен тем, чтобы, вдохновившись содержанием текста, создать хорошу... музыку, имея в виду, что она будет соединена со словами и мелодия пор... чена голосу. При этом, не музыка сопровождает текст, как общеприня... говорить, но, наоборот, текст сопровождает музыку, т.-е. голос с акком... ниментом, как главную часть романса; да, мы называем романс, как опер... по имени композитора, а не автора текста; здесь нет равноправия дв... искусств, — как это охотно представляют себе, — так как ведь, повторяю... мы признаем романс хорошим из-за музыки и независимо от качест... текста, сплошь и рядом весьма слабого в поэтическом отношении; комп... зитор останавливается не на хорошем стихотворении, а на удобном ем... К тому же стихотворение в романсе собственно перестает быть стихотв... рением; музыкальная форма безжалостно ломает его: ритм в музыке пол... чается новый, и по нему нельзя узнать, каков ритм стихотворения; сло... могут сильно растягиваться на несколько тактов, так как некотор... гласные длятся слишком долго сравнительно с другими, неударяемые сло... могут оказаться на сильной, ударной части такта или вообще на долг... ноте; слово повторяется столько раз, сколько это нужно для музыки, ... также повторяются целые фразы стихотворения. Этим, конечно, я не хо... сказать, что определенные ритмы стихов не могут оказаться для данн... музыки более подходящими, чем другие. Но во всяком случае впечатлен... от романса зависит всецело от музыки, текста можно, пожалуй, и вов... не слышать, или отдавать себе отчет лишь в самом общем содержании е... Это может показаться слишком крайним суждением, но что несомненн... так это то, что компетентным судьей романса является не поэт, хотя ...

автор данного стихотворения, интересующийся тем, как «переложено» произведение, а единственно музыкант, оценивающий романс, как чисто музыкальное произведение, и признающий хорошим только тот романс, музыка которого сохранит свою ценность и помимо слов, т.-е. без них, как в переложениях на инструменты без голоса; вокальный исполнитель укажет достоинства романса в отношении пения, т.-е. в смысле удобств для голоса. Вообще же следует сказать, что если кто стремится составить себе правильное суждение о музыке, тот должен брать в основу не такие смешанные явления, как опера, романс, а простое и чистое музыкальное явление — не в смысле его элементарности, а в смысле беспримесного и полного обнаружения существенных свойств музыки.

Почтенный ученый: Хорошо, я хотел бы воспользоваться случаем вернуться к той нити нашего разговора, которая была прервана несколько неожиданной для меня экскурсией в сторону романса. Дело в том, что два вопроса мне еще хотелось выяснить по поводу изображения в музыке предметов. Если представления предметов при музыкальном впечатлении являются подсказанными нам, т.-е., следовательно, навязанными извне представлениями, то не могут ли у нас возникнуть представления, навязанные не извне, а нами самими, т.-е. произвольные. Напр., движение в музыке, которое мы так и зовем бурным, мятежным, вызовет у нас картину бури, мятежа или что-нибудь в этом роде, хотя бы эта музыкальная пьеса, казалось бы, ни на что подобное не претендует и названа просто этюд или соната. На том же основании, вероятно, и композиторы дают своим пьесам то или иное название, т.-е. намекая на свои собственные суб'ективные привнесения в музыку, быть может, драгоценные для них самих, но безразличные и равные всяким другим привнесениям для слушателя или исполнителя.

Музыкант-мыслитель: Совершенно справедливо. Такие свободные зрительные, да и другого рода представления весьма часто у нас возникают при слушании музыки. Я не говорил об этом, потому что здесь мы имеем явление чисто суб'ективное, там же разумелись представления, как бы обязательные для всех, твердо навязанные сознанию и создающие иллюзию чего-то об'ективного. Впрочем, следует добавить, что сплошь и рядом не отдают себе отчета в суб'ективном происхождении этих представлений, как вы выразились, навязанных себе нами самими, и принимают их за об'ективное содержание музыкальной пьесы. Справедливо у вас и о роли названия пьес у самих композиторов, как отражения суб'ективных придатков авторов музыки. А зачастую эти любимые публикой картинные названия даются просто, чтобы как-нибудь отличить по имени одну пьесу от другой, и имеется в виду всего лишь облегчение для публики, а, пожалуй, и для себя. В этом признавался даже Шуман, сам более других инструментальных композиторов богатый воображением поэтического или живописного характера. Замечательнее всего то, что столкновение самых разноречивых толкований музыки никого не смущает, и каждый уверен, что именно его фантазирование раскрывает загадку музыкального произведе-

ния, которую и не думал загадывать композитор. В этом сказывается какое-то прямо патологическое упорство.

Почтенный ученый: Весьма возможно. Но у меня есть в запасе одно предположение, которое я также хотел бы выяснить с вами и которое, может быть, спасет дело изображения в музыке. А это уже почти мой долг, с тех пор, как я поставлен в роли вашего антагониста, хотя, как вы знаете, я в сущности лицо постороннее, так как не имею никаких взглядов на музыку и слишком мало знаком с нею, как это часто среди нас ученых. Итак, если, как вы показываете, недопустимо ни так ни этак мнение, что музыка способна изображать предметы, то, ведь, звуки-то может она изображать, будучи сама звуковым искусством? А глядите-ка, что получается. Вот в музыке передано более или менее точно пение какой-нибудь птички, так что ее всяк тотчас же отгадает. Не значит ли это, что вместе со знакомыми звуками всплыл и вполне определенный образ?

Музыкант-мыслитель: Ваше рассуждение совершенно правильно. Действительно, передачею характерных звуков, — как и характерного движения, — музыка косвенным путем может дать изображение предмета. Я, пожалуй, должен был бы упомянуть об этом явлении; но, с другой стороны, небольшой ущерб, если оставить его вовсе без внимания. Во-первых, оно не дает ничего существенно нового по нашему основному вопросу, а, во-вторых, область звукоподражаний занимает такое незначительное, прямо ничтожное место в мире музыки, это — такой узкий, ограниченный уголок ее, что было бы странно и смешно опираться на звукоподражания в музыке для выяснения ее сущности, как особенного типа художественного сознания. Даже в случаях воспроизведения в музыке каких-либо звуков, напр., колокола, пения птиц и пр., подлинный смысл подобных музыкальных эпизодов остается чисто музыкальным, т.-е. главное будет в том, какое музыкальное значение получают эти воспроизведения звуков, а не в том, представления о каких вещах они вызывают или претендуют вызывать. Можно превосходно исполнять музыкальную пьесу, вовсе не замечая звукоподражаний в ней даже там, где они есть, т.-е. относясь к воспроизводимым в музыке звукам просто как к чисто музыкальному мотиву. Напр., в одном месте знаменитой увертюры «Леонора» Бетховена раздаются военные звуки трубы. Этот эпизод, вероятно, указывает на зависимость от содержания оперы («Фиделио»), но, ведь, вместе с тем он имеет собственно музыкальное оправдание и сливается в одно целое с музыкой увертюры, как известная часть ее или момент ее музыкального бытия. И хорошо делают, что, исполняя увертюры в концертах, не навязывают при этом ничего постороннего музыке при помощи пересказа либретто опер. То, что это непринято, есть, конечно, чистая случайность, недогадливость, — которой можно только порадоваться.

Музыкант-артист: Я бы так обобщил этот вопрос — звукоподражания в музыке, как художественное воспроизведение действительности, это — подлинный музыкальный реализм. Но роль реализма в музыке бесконечно ниже, чем роль фантастики в таких искусствах, как поэзия.

живопись. Музыка — искусство фантастическое по существу, подобно танцам, архитектуре, орнаментике, — так же мало, как и музыка, имеющими отношение к действительности, как своему образцу. Если уже различать в музыке реализм и фантастику, то лучше основывать это на непосредственном музыкальном ощущении. Так, мы невольно противополагаем привычные нам лады, ритмы, гармонии тем, которые являются для нас необычными, странными. В первых мы ориентируемся легко и вполне, как и в реалистических произведениях, вторые же — новые лады (не мажор и не минор), сложные ритмы, неожиданные гармонические сочетания производят на нас впечатление именно фантастического, т.-е. чего-то невозможного с точки зрения установившихся порядков, нарушающего знакомые нам направления, формы и устои музыки. Так Бетховен последних годов, едва ли не весь Лист, Вагнер и Скрябин с определенного периода казались большинству современников дикими, непонятными, фантастическими композиторами. Бетховен и Вагнер теперь уже для общего сознания являются реалистами, — в том смысле, как я только что указал — Скрябин же является еще и в наше время для многих фантастом в музыке, так как для них трудно ориентироваться в его новом и своеобразном гармоническом строе. Таким образом фантастическое в музыке, как вихри поднятой пыли, тяготеет к земле, постепенно оседая на ней, т.-е. приобщаясь к миру устойчивого и привычного. Пожалуй, долее всего сохраняют фантастический отпечаток новые ритмы, поскольку они непохожи на знакомые нам ритмы в музыке и на известные нам ритмы в жизни, представляющиеся неизменными. Так, отчасти у Бетховена, а больше у Шумана, но особенно у Скрябина многое воспринимается, как фантастическое, благодаря необычности ритма, неизменно причудливого для нашего сознания. Фантастическое в музыке есть понятие скорее относительное, неустойчивое. В поэзии же фантастика имеет более постоянный характер благодаря несогласованности ее явлений с незыблемыми законами природы. Впрочем, вместе с завоеваниями познания и более глубоким пониманием законов природы, явления, сходившие за фантастические и сверх'естественные, часто переходят в область явлений реалистических и естественных (гипнотизм и родственные ему явления).

Почтенный ученый: А, право, это уклонение в сторону фантастики не так уже не уместно. На самом деле, если музыка ничего не изображает, и все, что мы представляем себе, слушая музыку, есть только наше собственное измышление, ни для кого другого не обязательное и, значит, вовсе не существенное для самой музыки, а между тем действие музыки чуть не на большинство людей могучее и глубокое, — то и впрямь пришлось бы отнести это на счет какой-то волшебной силы.

Музыкант-мыслитель: Почему это? Формальный подход — спешу предупредить, что я вовсе не сторонник его, — формальный подход в других искусствах стремится наложить свою печать на все виды отношения к художественному произведению, и к этому относятся не только терпеливо, но и с интересом и участием, а в музыке, наоборот, стремятся при рассуждениях о музыке вовсе забыть о ее формальной стороне и общую

оценку музыки обосновывают помимо ее. Явная неправомерность, — тем более, что как раз в музыке формальное учение издавна получило богатое развитие и продолжает развиваться дальше. Этого не было бы, если бы теоретическое знание самым несомненным образом не оказывалось бы необходимым для композиторов; тогда как в поэзии приобретения на пути формального изучения этих искусств далеко не в такой степени обязательно полезны для деятелей этого искусства. Здесь, скорее, это дело чистого исследования, отвлеченно-научного познания элементов искусства; в музыке же — теория и практика связаны нераздельно, самым тесным образом. Несмотря на это, в музыке теоретическому сознанию не дано права отражаться, отпечатлеваться в каком бы то ни было виде в общих суждениях о музыке, и малейшее учитывание элементов музыкальной формы вызывает решительный отпор: «мыслимое ли дело, чтоб так волнующее нас искусство опиралось на какие-то там законы, строго обоснованные, теоретически закрепленные и в значительной доле осознанные композитором». Это клеймится, как сухость, педантство, — то ли дело, говоря о музыке, притягивать картины и чувства, — расписывать поярче, изливаться погорячее.

Почтенный ученый: Я очень рад, что вы бросили последние слова; на них-то я, как это ни странно, и надеюсь укрепить доверенное мне дело. А именно, мы до сих пор как-то пропустили без внимания мир чувств, как подлинное содержание музыки. Ведь отказаться от изобразительного значения музыки не значит, тем самым, отказаться от выразительного ее смысла. В музыке нет изображения, но в ней выражение, т.-е. не образы, картины, а чувства и настроения. Что можно возразить против этого, когда музыка, по всенесомненнейшему опыту чуть не большинства, волнует нас всячески, вызывает разнообразнейшие оттенки ощущений, все настроения от самых нежных, женственных до мужественных, жадно-настойчивых, всю гамму чувств — грусть, тоску, веселье, бодрость?

Музыкант-артист: Эх, куда вас понесло! В поэзию! Вот когда вас тронуло!

Почтенный ученый: Позвольте. Разве не так представляют себе дело все, кто любит музыку, кроме таких чудаков, как вы оба? Формалисты вы — не формалисты, никак не разберешь. А я верю тому, как все, т.-е. громадное большинство, понимает музыку, что̀ видят в ней, как испытывают впечатление от нее, — и не могу сомневаться в том, что это сама правда. Я только могу добавить, — уже от себя, — что это и составляет изображение внутренней природы, о которой я обмолвился в начале беседы, но которая была забыта из-за вопроса об изображении природы внешней. Вот теперь выясните, как вы можете этому противопоставить уже ваши собственные измышления, идущие вразрез с общим сознанием тех, кто соприкасается с музыкой.

Музыкант-мыслитель: Особенность общепринятого отношения к музыке можно выразить так: изучай законы музыкальной структуры, формы музыки, раз это необходимо для композитора, но как только ты

хочешь высказываться вообще о музыке, то должен забыть обо всем этом и вместо мелодико-гармонического начала, как основного в музыке, подставлять образы, чувства, мысли, — все, что угодно, только чтоб не осталось и воспоминания о том, что для тебя, как композитора, действительно имеет значение. — Если от поэтического произведения отнять его форму, — ритм, рифмы, сочетание звуков, составляющих стих, — то в нем останется нечто не менее важное, и без чего стихотворная форма была бы пустой, не имеющей никакой цены. Это оттого, что в слове заключаются для нас не только звуки, непосредственно данные в нем, но и посредственно данные через него образы, чувства, понятия, на которые слово указует, — иначе мы не понимали бы слов. В обыкновенной речи мы проходим почти без всякого внимания через эту ступень звуков прямо к значению слова, у поэта же слово звучит, т.-е. его звуковая сторона по силе воздействия вступает в один ряд с другими сторонами, входящими для нас в слово. Но отнимите-ка от музыкального произведения ее звучащее начало, собственную, специфическую форму музыки, — что будет в остатке? Ничего. Вместе с музыкальными звуками, вместе с каким бы ни было слабым воспоминанием их исчезают и последние следы музыкального произведения. Тогда как с исчезновением из памяти последних следов стихотворной формы у нас может остаться еще многое и не менее существенное, чем элементы собственно-стихотворные. В музыке нельзя отличить содержание, воплощаемое в форме музыки, от самой этой музыкальной формы; воплощающее и воплощаемое, форма и содержание в музыке — одно, притом в гораздо более прямом смысле, чем в других искусствах. Следовательно, музыка должна стоять в центре рассмотрения искусств, и добытые при эстетическом анализе ее результаты распространены на другие искусства. Между тем до сих пор исходили от поэзии и живописи и добытое здесь насильственно навязывали музыке. Это было причиной того, что музыкальное понимание совершенно искажалось и извращалось, а в понимании других искусств долгим и извилистым путем приходили — да и то как-то неустойчиво — к тому, что со всею полнотою и яркостью освещает непосредственное, чуждое предвзятости понимание музыки. В музыке воплощается замысел, который сам по себе уже музыкален и только требует конструктивного оформления в том или ином виде музыкального произведения (более узкий, частный смысл понятия музыкальной формы: соната, рондо, песенная форма) и оформления по роду инструментов (также частное значение слова формы). Но если в музыке нет сюжета, фабулы и никакого подобного содержания, то, следовательно, всякая схема образов или схема настроения будет говорить не о музыке, но только по поводу ее, т.-е. даже не о какой-нибудь стороне музыки, подобно сюжету, фабуле других искусств, но вовсе мимо ее. Содержанием музыкального произведения, т.-е. тем, о чем оно говорит, тем главным, для чего все остальное служит только дополнением, помогающим обнаружиться — таким содержанием являются в музыке основные темы произведения. Им-то все служит в музыкальном произведении, и они-то являются как бы представителями всего произведения, пунктами наиболее

яркими и сосредоточивающими в себе главную силу музыкального произведения — совершенно так, как герои в поэтическом произведении — поэме, романе — или, вообще, как основной образ в поэзии.

Почтенный ученый: Но не сведется ли, в таком случае, музыкальное творчество всего только к построению целого по особым музыкальным законам, найденным и определенно выраженным? Я с этим никак не согласен. Ведь переживает же что-нибудь композитор?

Музыкант-мыслитель: Ну, а я согласен, — простите за шутку — и надеюсь, что вы также согласитесь со мною, когда я договорю свою мысль. Поразительно, что все знают по собственному опыту, как может взволновать музыкальная пьеса и при этом волнением, которое невозможно отделить от вызвавших его звуков. И все-таки сознанию, оказывается, трудно найти выход из тупика, о котором я уже говорил, именно, музыка будто бы непременно — или ненужная игра звуков, или выражение вещей, чувств, мыслей. Да музыка и есть само музыкальное переживание, без этого рода переживания нет музыки; но эти переживания не есть вовсе область посторонняя музыке, которая принадлежит жизни внемузыкальной и может найти будто бы свое проявление как путем музыки, так и иными путями. В музыке, пожалуй, есть и образы, и чувства, и мысли, и воля, но свои, музыкальные. Не спешите проявлять свой испуг, но поймите следующее. Мое утверждение о единстве формы и содержания в музыке, конечно, не следует понимать в том смысле, что нет вовсе надобности в различении этих понятий. Можете быть спокойны, без этих терминов нам не обойтись. Я уже говорил об оформлении музыкального замысла в отношении построительном и в отношении инструментации. Таким образом, если в качестве понятий художественного рода, т.-е. в применении к самой художественной стороне музыки, форма и содержание нераз'единимы в ней, как понятия нехудожественного рода, т.-е. уже в ином значении, форма и содержание могут быть противопоставлены друг другу. Это вполне правомерно, потому что неизбежно в нашей речи, т.-е. именно противоположение формы и содержания. Так, несмотря на гораздо сильнейшую музыкальную значительность Шумана перед Мендельсоном, нельзя не видеть у последнего бо́льшую законченность, выдержанность твердых канонических форм, точность и естественность стиля фортепианного и оркестрового. (Несколько близко к этому у нас соотношение Рахманинова и Аренского.) Аналогичное этому понятие содержания в музыке, т.-е. такого, которое бы не было вместе с тем и всецело самою музыкальной формой, также может быть применено к музыке. Напр., вполне возможно отличать национальное содержание в музыке Глинки, Грига, Шопена. Однако вследствие того, что в музыке нет бытовых сюжетов и пр., национальное содержание музыки у этих композиторов может определяться единственно только сходством с музыкой народной песни русской, норвежской, польской в их мелосе, ритмике. Но такой критерий оценки является уже лежащим вне собственно-художественной области. Этого часто не сознают, и тогда сравнительно слабому произведению с обликом, хотя бы чисто внешним и неискрен-

ним, в национальном роде оказывают предпочтение перед подлинным, крупным произведением, которое не имеет тех особенностей, но проникнуто все же глубокой творческой мощью. Тут можно напомнить ряд несправедливых критических выпадов некоторых писателей, примкнувших к так-наз. «русской школе» композиторов (кружок Балакирева). Естественно также говорить и об индивидуальном содержании в музыке, характеризующем для нас произведения одного композитора в отличие от другого. Но уж это содержание вряд ли удастся свести к такому точному данному, как национальное содержание — к народным напевам: ведь мы не можем иметь точного знания о данной индивидуальности, что они такое во всей конкретности. При попытках определить индивидуальное музыкальное содержание помимо самой музыки, как таковой, можно впасть в двоякого рода заблуждение: или отнести все к формальной структуре произведений, — однако возможно сохранение тех же формальных черт без того же художественного эффекта, — или отнести все к началу вообще психологическому, не специально художественному, т.-е. к чувствам, идеям, привнесенным ли нами самими в музыку, вызванным у нас ею, или просто вычитанным из биографий композиторов. Но если предостеречься и от греха формализма, и от греха психологизма, то остается только констатирование того, что мы безотчетно сознаем индивидуальный творческий отпечаток музыкальных произведений. Думается, что проникнуть в этом вопросе дальше немыслимо постольку, поскольку немыслимо уничтожение искусства как творческой деятельности; а это неминуемо произошло бы, если бы дознаны были пути претворения индивидуальности в художественном произведении. Вот тут и кстати будет вспомнить, что индивидуальное содержание музыки есть заключающиеся в ней чувства, мысли, образы, воля, — но только специфически музыкальные, совершенно подобно тому, как Лев Толстой говорил в письме к Страхову), что основу его романа нельзя выразить иначе, как описанными в нем образами, действиями, положениями. Образ в музыке это то, что предстоит нашему звукосозерцанию, что мы воспринимаем, как звуковое видение; чувство — то, что мы переживаем, слушая музыку, безразлично, можем ли мы хоть с какой-нибудь степенью приблизительности обозначить это, как грусть, радость и пр. или же будем сознавать, что испытываем нечто такое, что никак не укладывается в эти обозначения, не соответствует им и свойственно только музыкальному впечатлению; мысль в музыке — то, что связано с моментом развития, как тема, и что обнаруживает следование определенным законам сочетаний и соотношений; воля — то, что испытывается, как напряжение, как известное устремление к проявлению себя в звуках. Следовательно, как музыкальное чувство не есть выражение наших обычных чувств, и музыкальный образ не есть изображение вещей, так и музыкальная мысль не имеет отношения к понятиям, а музыкальная воля — к действиям и поступкам в жизни. Однако надо помнить, что в музыке все это не отдельные стороны, а совершенно одно и то же: музыкальные образ, мысль, чувство, воля — совпадают; то, что есть в музыке одно из них, есть, вместе с тем, и другое. Все это

можно охватить обозначением музыкальной фантазии, которая есть и способность фантазировать под музыку, но сама способность воображени создавать свой собственный звуковой мир. Обладание такой музыкально фантазией в активной степени создает композиторов, обладание же е только в пассивной степени, как отражение, образует музыкально-одарен ных исполнителей и слушателей. Задачу музыкальной психологии, точне психологии музыкальных переживаний — творчества и восприятия — сост вит, значит, всестороннее исследование собственно-музыкальной фантазии Казалось бы, дело простое и ясное. Но всему помехой — чувства, котор отклоняют музыкальных писателей с серьезного и трудного пути на пут безответственной болтовни, — путь заманчиво-легкий.

Музыкант-артист. Однако и вы не можете сохранить спокой ного тона, как только кинете взор на убожество нашей литературы о му зыке. Признаюсь, мне стоило бы слишком больших усилий попридержат себя на этот счет. И лукавые же мысли являются у меня, когда поразд маюсь о наших книгах о музыке. А когда приходится писать — «диктуе совесть, пером сердитый водит ум». Мне нужно хоть несколько отвес душу, хотя мы пока не все выяснили в вопросе о чувствах — еще мен о фантазии. Но прежде я расскажу случаи откликов наших великих муз кантов на типические проявления литературы о музыке. Когда впер исполнялась знаменитая оркестровая фантазия «Камаринская» Глинк один из известных тогдашних музыкальных писателей на репетиции раз'я нял одно место этого произведения в том смысле, что это пьяный стучит в дверь. Композитор на это отозвался тем, что заявил в своих «Записках что он «руководствовался при сочинении этой пьесы единственно внутре ним музыкальным чувством, не думая ни о том, что происходит на сва бах и пр.». Он назвал ловкую критику «предательским угощением, как не раз потчуют в жизни»; а затем он прибавил еще с горькой ирони что этот критик «по своему глубокому воззрению не нашел ничего лучш и умнее, как только то, что пьяный-де толчется в дверь». Вообще, следу добавить, что эта любезность «приятельского угощения» оказывала Глинке и после посмертного издания его автобиографических «Записок так как до наших дней не редкость встретить сторонника как раз то толкования пьесы, которое вполне определенно было отвергнуто сам композитором. А сам этот критик (Ф. Толстой), о котором говор Глинка, в своих «Воспоминаниях о Глинке» пишет, что в его словах было никакого приятельского угощения, и он вовсе не проявил тут недоб желательства к нему, а только сказал, что «постукивания» валтор и трубы весьма, может быть, означают «постукивания» в дверь избы за лявшего мужичка. Так хорошо понял он, в чем его упрекает Глинка. Друг композитор, Чайковский, с которого, кстати, и началась беседа у нас, н писал знаменитое трио памяти Н. Рубинштейна. И вот один музыкальн критик сообразил и пустил в ход, что в одной части этого трио, имен в вариациях, дана характеристика Ник. Рубинштейна и изображены разн эпизоды его жизни (веселая прогулка артиста за город, пляска крест

перед ним и пр.). Поводом к этому послужило то, что композитор для этих вариаций воспользовался мелодией народной песни, которую слышал вместе с Рубинштейном во время общего пикника. Однако ответом на это были удивленные слова оскорбленного в своем достоинстве Чайковского в одном его письме: как это забавно! Написать музыку без всяких поползновений что-нибудь изобразить, — и вдруг узнать, что она изображает то или другое». И еще так, наподобие Глинки, но только много решительнее: «Дальше глупость не может итти». Но, конечно, догадка находчивого рецензента через много лет находила еще себе защитников, и один музыкальный писатель (В. Вальтер), сам приведший отзыв Чайковского, как бы пытался доказать, что глупость на самом деле может итти далее, чем предполагал композитор. Именно, он упрекает Чайковского в непонимании им задач музыки и процесса творчества и выставляет такие доводы: музыка — сказуемое, к которому надо подыскивать подлежащее и дополнение, т.-е. слушатель должен' отдавать себе отчет, кто говорит музыкой и о чем, иначе будто бы неоткуда взяться единству музыкального произведения; в результате, несмотря на заявление композитора, его трио приписывается критиком такая-то вполне определенная характеристика человека, которому оно посвящено (Ник. Рубинштейну). Вся эта галиматья небезызвестного музыкального писателя, не подозревающего о существовании собственно-музыкального единства, основанного на соотношении одного музыкального материала, напечатана в органе для многих достаточно почтенном — в «Русской Музыкальной Газете».

Почтенный ученый: Вы предполагали дать существенные раз'яснения о чувствах в музыке. Ну, уж подлинно у вас «сердитый ум».

Музыкант-артист: Факты говорят сами за себя. Но будем продолжать. После указания на две крайности в воззрениях на музыку, было сказано, что отвергши одно — бесцельную игру звуков — бросаются в другое, в требование, чтоб музыка что-нибудь обозначала. Оба воззрения оказываются равно ложными. Но при этом второе опять-таки представляет два вида крайностей и, сознав непригодность одного, находят полное утешение в другом. Именно, поняв неправомерность программно-образного подхода к музыке, решительно становятся на сторону понимания музыки, как выражения чувств, как будто — это не та же программность, как будто вместо программы образов не подставляют столь же неправомерно программу чувств. Ведь, даже говорят: изображение чувств. На самом деле, по существу здесь тот же предрассудок в отношении к музыке. Музыка на том же основании не может быть языком чувств, на каком она не может быть языком образов и понятий. Поиски в музыке определенных чувств суживают ее художественно-музыкальное воздействие на нас ничуть не менее, чем это делают отыскивания в музыке определенных образов и понятий. Тот же и вред программы чувств, т.-е. при этом оттесняют на задний план, как что-то второстепенное, как раз те чисто-музыкальные элементы, которые составляют основное содержание музыки. Музыкальное переживание, конечно, извращается, и стремление проникнуться самой му-

зыкой заменяется насильственным навязыванием определенных посторонних музыке чувств и связанных с ними образов. Если, напр., музыкальное исполнение, несмотря на достаточные данные артиста, не производит хорошего впечатления, то часто это, несомненно, от того, что исполнитель не отдается свободно музыкальному переживанию, а подгоняет, приспособляет музыку к какой-нибудь программе — все равно, образов или чувств. Заботясь об этом, он плохо слушает себя и дает нечто неприятное тем, кто его слушает, не зная к чему он ведет, куда норовит и гнет. Если бы знать все это, то странности исполнения могли бы получить оправдание с точки зрения программы. Но тогда артист должен бы рассказать перед исполнением, какой он следует программе, которая иначе никак не может дойти до слушателя. В таком случае, исполнение будет оцениваться уже не в собственно-музыкальном отношении, а в отношении его соответствия известному внемузыкальному заданию. Пока же ничто не заставляет покинуть чисто музыкальную оценку, для слушателя остаются только скверное звучание, дикие акценты, нелепые ускорения и замедления и пр. Играть с чувством значит — играть дурно. Силясь проявить одно, проваливают другое. Но играть хорошо не значит играть бесчувственно, но с подлинно-музыкальным воодушевлением. Последовательно проведенный правильный принцип оказывается на благо дела, но легко убедиться, до чего доводят полностью выполненные попытки построить музыкальное исполнение на принципе выражения чувств. Потуги исполнителей не достигают цели, и слушатели испытывают только такие чувства, о которых те и не думали, именно, жалость к «артистам», так сказать — стыд за них, тягостную неловкость, недоумение. Когда слушаешь цыганские романсы, то недоумеваешь, чего хотят: если дело в музыке, то какова б она ни была, исполнять ее следовало бы совсем иначе, а если дело в определенного рода интонациях, жеманных и томных, то музыка излишня. Сильнейшее влияние, какое имеют взгляды на искусство, как на выражение чувства, об'ясняется, быть может простым недоразумением, возникающим из-за двоякого смысла слова. Именно, смешивают прочувствованное отношение в деле какого-нибудь искусства, как искренность художественного переживания известного рода с прочувствованностью в смысле наличности определенных чувств, принадлежащих к нашей обычной эмоциональной сфере, — горя, радости и пр. Но искренность чувства самого по себе ничего не значит для искусства; искренность, как неподдельность художественного переживания, это — все в искусстве, и только в последнем случае художник будет подлинным. Искренность в музыке, музыкальная прочувствованность, напр., при исполнении пьесы выразится в проникновении — конечно, не рассудочном, а внутреннем в собственно музыкальные данные, а не в обнаружении всевозможных чувств, как это делают часто дилетанты и кокетничающие с публикой артисты. То же и при музыкальном восприятии: дело не в том, чтобы испытывать под музыку всевозможные страсти, а в чисто музыкальном переживании. Вот это-то и есть единственно истинное значение слова чувство, как оно может быть применено к музыке. Музыка есть внутреннее переживание

непосредственно и вполне проявляющееся в звуках определенной категории. Это чисто-музыкальное чувство неотделимо от музыкальных тонов, мелодии, гармонии.

Почтенный ученый: Итак, значит, вопрос об эмоциональном воздействии музыки принимает следующую форму. Если исходить из собственно музыкальных основ, то представится вопрос, обладает ли музыкальное впечатление чисто звуковым характером, или же для него существенна роль чувства. Оказывается, что музыкальное впечатление есть своего рода внутреннее переживание; но оно может возникнуть без всякого участия посторонних чувств, а единственно лишь благодаря захватывающей силе чисто музыкального воздействия. Это специфически-музыкальное чувство не только необходимо сопутствует музыкальным звукам, но оно совершенно неот'емлемо от них.

Музыкант-мыслитель: Именно так. Можно прибавить, что отсутствие этого специально-музыкального чувства говорит о нехудожественности восприятия музыки, т.-е. о немузыкальности впечатления, — как бы сильно при этом ни проявились чувства обычного рода, не входящие в природу самих музыкальных звуков. Ясно также, что звуки, из которых состоит музыка, это — не просто звуки — такими, т.-е. физическими звуками, просто акустическим явлением, бывает музыка только при нехудожественном ее восприятии — но, так сказать, живые звуки, — не звуки — ощущение, а звуки — переживание. Такого рода звуки есть непосредственное, интимное и цельное проявление творящей их индивидуальности. Как выразился Чайковский в одном из своих писем к Н. Мекк, душа композитора «по существенному свойству своему изливается посредством звуков». Вот это-то и есть основное в музыкальном переживании. Смысл музыки — специально-музыкальный, а не изобразительный или выразительный. Ясно, что это вовсе не есть понимание музыки, как чего-то отрешенного от жизни; но пытаться уследить и об'яснить, в какие моменты жизни и почему у музыкально-одаренного человека зарождаются музыкальные темы, да еще именно определенного характера, — это, конечно, совершенно бесплодная, потому что недостижимая задача.

Почтенный ученый: Ну, а для кого закрыт этот музыкальный смысл?

Музыкант-артист: Тому надлежит вовсе проходить мимо музыки, не обращая на нее внимания, а не мутить дело, — во всяком случае, делиться своими домыслами и фантазиями единственно со своими друзьями, обязанными выслушивать всякого рода интимные признания, а не горделиво преподносить их в печатных работах для всеобщего поучения; ведь все это становится вздором, коль скоро выдается за нечто об'ективное.

Почтенный ученый: А все же, отвергая вполне образы, вы менее строги к чувствам и хоть в новом особенном виде, но оставляете их.

Музыкант-мыслитель: Да нет же! Вы забыли, что музыкальное чувство совершенно то же самое, что художественно-музыкальный

образ. Смотря по контексту, вы можете выбрать то или другое обозначение, но сущность дела одна и та же.

Почтенный ученый: Верно, верно. Беру свои слова назад. Видно, пока вполне привыкнешь к вашему углу зрения, будешь не мало путаться и недоумевать. Вот, напр., вы отклоняете внемузыкальные образы, чувства, идеи, как содержание музыки и наиболее целесообразным признаете определение музыки посредством музыкальной фантазии. Мне хотелось бы еще услышать дополнительные замечания о живых звуках музыки, о звуках — переживаниях в ней, характеризующих эту музыкальную фантазию.

Музыкант-мыслитель: Конечно, понятие художественной фантазии вообще сложно. Я попытаюсь уяснить вам дело на различении восприятия и созерцания в музыке. Музыкально-художественное созерцание, само собой, недоступно человеку немузыкальному; но и музыкальный человек не всегда созерцает музыку. Он воспринимает, а не созерцает музыку, когда, напр., слышит ее, не будучи вовсе расположен к тому, или когда условия неблагоприятны для художественно-музыкальных впечатлений, или когда пьеса слишком знакома и успела надоесть, приесться, а исполнение недостаточно индивидуально, чтобы освежить впечатление. На иной лад, но тоже мы воспринимаем, а не созерцаем, когда музыка, напротив, слишком нова для нас и в силу своей сложности, напр., гармонической, оказывается недоступной для художественного усвоения. В первых случаях несозерцания музыки мы можем даже разбираться во всех ее деталях, в последнем случае вместо музыки слышим хаос и шум. Но во всех этих случаях музыка предстает как что-то внешнее. В созерцании же звуки становятся внутренними, звучат как бы в нас самих. Из акустического явления, воспринимаемого, как все вещи, тот же комплекс музыкальных звуков становится созерцаемыми музыкальными образами нашей фантазии. Внешнее звуковое явление художественно преобразуется нами, как это обстоит и во всех других искусствах. Это и есть деятельность фантазии.

Музыкант-артист: Понятие фантазии необходимо в области осознания всякого искусства, именно при противопоставлении ее принципу чувства, ложному не только в одной музыке. Поэтому, чтобы вам не показалось, что музыка находится в изолированном положении, я несколько остановлюсь на фантазии иного рода, не музыкальной. Возьмите словесное искусство, особенно наиболее чистый вид его, — лирику. Казалось бы, она дает уже достаточно оснований для того, чтобы видеть здесь выражение чувства. Однако сами поэты признавались, что поэтические качества стихотворений возрастают по мере того, как в них остается менее следов непосредственного переживания чувств. Для творчества вообще почти необходима и всегда благотворна временная и пространственная отдаленность, дающая освобождение от конкретно-жизненных переживаний. По прекрасному выражению Фета «чувства раз'едают созерцательную силу», образующую художественность. То же у Пушкина: «Прошла любовь, явилась муза». Время от времени раздается и голос проницательного критика, от-

дающего себе отчет в том, что поэтическое достоинство стихотворения не зависит от степени проявления в нем чувства, равно как оно не есть и сумма таких слагаемых, как ум, чувство и техника. Помнится, что В. Брюсов в своих заметках о поэтах в «Русской Мысли» рассматривал стихотворения, именно как подобного рода сумму, и расценивал их с указанных трех точек зрения отдельно. Это, конечно, глубокая ошибка против художественности. Белинский же превосходно понимал это. Так, в своих заметках о поэтах он не раз указывает, что, вот, мол, есть хороший, обработанный стих и много чувств и ум, но, при всем том, нет поэтического таланта, фантазии, творчества. Художественность — не повышенная степень чувства, а особенный род его. Независимость качества художественности от силы напряжения чувства видна уже из того, что многие, бесспорно, художественные произведения, напр., лирические стихотворения, проникнуты каким-то сумеречным настроением, чувством растерянности, недоумения, неясными порываниями слабой воли, так что о яркости и мощи чувства говорить не приходится. Вместе с тем, воспроизведение подобных настроений может быть весьма ярким и сильным в художественном смысле. Вялое и тусклое само по себе может загореться особым огнем красоты и приобресть особые блеск и напряженность художественности. Художественная интенсивность чувства не совпадает просто с интенсивностью чувства, и сила чувства в стихах вовсе не ручается за художественность их. Сильно чувствующий и художественно чувствующий — различные вещи. Оратор, несомненно, могущественнее воздействует в смысле чувства, чем поэт, но именно потому, что оратор и поэт — два противоположные полюса словесного влияния, — художественного и нехудожественного. Лев Толстой, быть может, не совсем ясно понимал это, когда утверждал — то с оговорками, то без них, — что в искусстве нужна прежде всего искренность, которая заражает других. Как бы то ни было, усвоили-то у него самую безоговорочную тенденцию этого рода, которую и выражают, прикрываясь его именем. Но заразить другого искренностью своего переживания не значит стать художником, это достигается помимо художественности. Другое дело — искренность художественного переживания, которого нельзя подделать, без того, чтобы это дало о себе знать, и которая заражает не просто чувствами и настроениями, но, прежде всего, художественным родом их, — внушает нам художественную настроенность, которою могут проникнуться какие бы то ни было воспроизведенные в искусстве образы и чувства. Чувство само по себе нисколько не определяет художественных достоинств произведения и не составляет характерного признака ни в каком искусстве. Нет более ложного положения, чем формула Золя, что художественное, это — «уголок действительности, рассмотренный через темперамент художника». Какая чепуха! Ведь, в конце концов, каждый рассматривает действительность не иначе, как сквозь призму своего темперамента. Но сказать, что все и всегда — художники, значит ровно ничего не сказать на взятую тему, так как задача как раз в том, чтобы понять особенность, качественное своеобразие художественного переживания, вполне опреде-

ленно отграниченного от нехудожественной сферы. Белинский в одной из последних своих статей писал: «Надобно уметь явления действительности провести через фантазию, дать им новую жизнь». Вот это верное понимание дела. Именно, пройдя через фантазию, а не через темперамент, действительность становится художественной. Мне вспомнилось еще стихотворение Бальмонта, дающее ответ как раз теориям художественного творчества, исходящим из чувства. «Мало криков. Нужно стройно...». Вы, может быть, знаете?

Почтенный ученый: Нет, стихов давно не читаю, — тем более Бальмонта.

Музыкант-артист: Так я прочту их:

Мало криков. Нужно стройно,
Гармонически рыдать.
Надо действовать спокойно
И красивый лик создать.

Мало искренних мучений,
Ты же в мире не один.
Если ты разумный гений,
Дай нам чудо звонких льдин.

Силой мерного страданья
Дай нам храмы изо льда,
И тогда твои рыданья
Мы полюбим навсегда.

Если теперь обратиться к основному предмету нашей беседы, то это значит, что для создания музыки «мало криков» души; а если рыдать, то нужно «стройно, гармонически» — и мелодически, прибавим.

Почтенный ученый: Да, создать «чудо звонких льдин» и «храмы изо льда», это, конечно, дело фантазии. Однако, если дело уже доходит до постройки храмов, то, ведь, не обойтись и без разума. И если музыка не выражает никаких внемузыкальных идей и понятий, то создание музыкального произведения вряд ли возможно при помощи одного только музыкального инстинкта или музыкальной интуиции. Деятельность ума необходимо участвует при постройке сложных музыкальных форм, помогая ориентироваться в тех собственно музыкальных элементах, которые трактует теоретическое учение о музыке. Да и ни одно искусство не движется одним наитием и бессознательностью, одною силою фантазии.

Музыкант-мыслитель: Этот вопрос, пожалуй, частного характера, но не мешает коснуться и его, так как разум у нас чрезвычайно обидчив и заносчив и всегда настороже, не пренебрежен ли он, не обойден ли, не забыт ли. Вы правы, — композитор, творя, не вовсе пренебрегает своей рассудочной способностью и пользуется ею в определенном направлении, напр., при употреблении своих познаний из области музыкальной науки, в вопросах голосоведения, гармонических сочетаний и пр. Но...

Музыкант-артист: но все дело в том, что есть, как говорит Достоевский, большой разум и малый разум, главный и неглавный ум. В ху-

дожественном творчестве — не только музыкальном, но и всяком другом — этот неглавный ум, малый разум, отнюдь не бездействуя, все же всецело подчиняется главному уму, большому разуму, — теряя свою независимость и самостоятельность и становясь послушником у него, тогда как обыкновенно, в обычной жизни, состоял, скорее, ослушником ему. Чем менее рассудок заявляет о своих правах, тем менее он противоречит основному духу художественности. Не могу не вспомнить опять Белинского, который чрезвычайно удачно выразил это соотношение ума и фантазии в творчестве. Именно, Белинский пишет, что у чисто художественных натур «ум уходит в талант, в творческую фантазию, и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны», а как люди могут быть ограничены. У других же, по словам Белинского, наоборот, «талант и фантазия ушли в ум»; поэтому, при наличии таланта и фантазии, у них нет «того чистого и самостоятельного таланта, который сам родит все из себя и пользуется умом, как низшим подчиненным ему началом», — у них талант — такой же «пасынок» в отношении к мыслящей и сознательной натуре «как ум в отношении к художественным натурам». Подобные явления бывают и в музыке; тогда мы говорим, что в данном произведении или вообще в произведениях такого-то композитора нехватает непосредственного воодушевления, что здесь все слишком сделано — пусть и мастерски, — а не творчески создано. Вниманием к музыкальной логике в ущерб музыкальной фантазии композиторы часто сушат себя.

Почтенный ученый: Вы, вот, приводили стихотворение Бальмонта. Конечно, у большинства поэтов должно найтись много приятного вам о музыке, что утешает вас и искупает неудовольствия ваши от того, что собственно составляет литературу о музыке; ведь, поэзия и музыка — близкая родня.

Музыкант-мыслитель: Почему же, именно, поэты должны, по-вашему, быть ближе к музыке, чем представители других искусств?

Почтенный ученый: Помилуйте, это ясно само собой. Разве в поэзии нет звуков, разве мы не говорили о музыке стиха? Вот уже не думал, что тут можно придраться ко мне. Вы уже много иллюзий отняли у меня о сродстве музыки и с тем, и с тем; неужели вы серьезно станете уверять меня в иллюзорности и такого самоочевидного положения, как то, что музыка находится в самом тесном соприкосновении с поэзией в ее звуковой сфере?

Музыкант-мыслитель: Этот вопрос может показаться вовсе мелким и лишним, когда речь идет об основном в музыке, но я о нем думаю иначе. Я подозреваю, не в этом ли мнении кроется один из прочных источников путаницы понятий о музыке. Сцепляя сначала музыку с поэзией в ее звуках, затем незаметно вовлекают поэзию полностью с ее образами, чувствами, понятиями, а дальше и совсем бросают поэзию и оставляют все то, что уже разобрано нами, как предрассудок. Конечно, и это ваше самоочевидное положение не более, как предрассудок. Никакого прямого соотношения между звуковыми элементами поэзии и музыкой не суще-

ствует. Вспомните то, что мы говорили по поводу романса. Вообще же говоря, никак не хотят принимать во внимание того, что хотя в поэзии и в музыке на-лицо звуки, но звуки-то эти совершенно различной природы, и до такой степени, что способность и чуткость в отношении к одним может сколько угодно сочетаться с полной невосприимчивостью в отношении других. Разве наши лучшие поэты необходимо все музыкальны? Если и есть среди поэтов, несомненно, музыкальные, то это такое же случайное соединение талантов, как если бы они были в то же время скульпторами, учеными, или чем хотите.

Почтенный ученый: Меня до-нельзя удивляют ваши слова. Что же, по-вашему, Пушкин, Лермонтов, Фет совершенно немузыкальны? Да что же, вы никогда стихов не читали? Я уж на что далек и от поэзии, но уж в музыкальности, напр., Пушкина никогда не усомнюсь.

Музыкант-мыслитель: Но позвольте, я про одно, а вы про другое. И на совершенно подобной же незамечаемой игре словом: музыкальность основано не мало работ, вся внешняя наукообразность которых теряет весь свой вес от простого указания на эту игру слов. Если музыкой называть вообще красоту звуков, то под нее подойдет не только поэзия; а если под музыкой разуметь единственно только область специального искусства музыки, то в поэзии можно видеть музыку только в иносказательном смысле, метафорически; собственно же это будет уже не музыка, а просто красота словесных звуков, художественная значимость речевых данных. Смешивать прямое и переносное значение слова вовсе непростительно. Рибо в своей «Психологии чувств» приводит очень интересное наблюдение Грант-Аллена над одним суб'ектом «весьма чувствительным к рифме в поэзии», но воспринимавшим музыку, как шум, скрежетание и пр. Для него не было ни аккордов, ни диссонансов, ни вообще звуков инструмента. Он едва различал интервалы, и только больших расстояний. Это явление вам не покажется слишком уродливым, если вы вспомните, что такой мастер стиха, как Вольтер, говорил о нашем искусстве: «Шум, называемый музыкой, и притом дорого оплачиваемый». Привычное словоупотребление не должно влиять на образование понятий. Везде и стараются этого избегать, но только не в области музыки; тут деспотически царит хаос понятий, и всякое стремление водворить порядок самый простой, элементарный, необходимый с точки зрения самой скромной в своих требованиях совести познания встречает стойкий и крепко уплотненный отпор. Да, попробуйте-ка заявить и подтвердить ясными, как день, данными, что Пушкин был вовсе чужд музыке. Это покажется не более не менее, как прямым разносом Пушкина: его, видите ли, непременно надо изображать, как великого энтузиаста музыки, или же, замечая, что данных для этого нет никаких, непременно надо так истолковать понятие музыки, чтоб этот термин не был уже в исключительном соответствии с искусством музыки, а охватывал бы все, что захочется. Это, конечно, открывает огромный простор для самого горячего, но пустого разглагольствования, с радушием принимаемого читателем.

Музыкант-артист: Да, что касается уровня литературы о музыке за последние годы, то нельзя сказать, чтоб он заметно поднялся. Литература о музыке все еще ждет младенчески-непосредственного голоса музыкального сознания, который бы, как в известной сказке Андерсена, заставил увидеть музыку, как она есть, в ее звуковой оголенности, вне иллюзорных, несуществующих на ней одеяний. Во всяком случае, если даже нагота музыкального тела не всегда полная, то все же ради этого нельзя забывать одного: главное, что̀ привлекает в музыке, что̀ прежде всего выделяет ее от всех других искусств, что̀ не только все необходимо просвечивает ярко сквозь пеструю одежду внемузыкальных образов, чувств, идей, но на чем все это в сущности наброшено лишь слегка, лежит неуловимой, воздушной тенью суб'ективных прихотливых домыслов, — это главное, существенное в музыке, подлинная ее природа есть звуки определенной категории (музыкальные) в мелодико-гармоническом и конструктивном оформлении.

Почтенный ученый: Да, все это хорошо. Но, пожалуй, о литературе этой, против которой вы так настроены, можно бы поговорить и в отдельной, особо для того назначенной беседе. Теперь же я только заметил бы, что в замену всякого рода излияний, — красноречивых, но мало выясняющих музыкальное дело, а то и вовсе замутняющих его, — должна притти серьезная научная литература о музыке, трактующая ее социальный базис, как наиболее прочный корень всех идеологических произрастаний. Я думаю, что это уже никак не противоречит вашему взгляду на музыку, думаю так потому, что одна истина не может вступать в столкновение с другой истиной, — они могут лишь дополнять друг друга, и кажущееся их противоречие должно быть устранено внимательным и глубоким изучением дела.

Музыкант-мыслитель: Очень хорошо. Несомненно, так обстоит с музыкой, и здравое воззрение на нее рано или поздно восторжествует. Я только заметил бы, что изучение музыки с социальной точки зрения вполне и плодотворно приложимо к определению характерного стиля отдельных, сменяющих друг друга музыкальных эпох, а определение музыкального восприятия, как такового, лежит вполне в пределах индивидуальной психологии и опирающегося на нее понимания искусства. Во всяком случае, быть может, наша беседа помогла вам хоть несколько разобраться в музыкальных вопросах.

Музыкант-артист: А положение этих музыкальных вопросов таково, что совершенно теряешься, что̀ в них — азбучная истина и что̀ на самом деле составляет вопрос, который надлежит тщательно исследовать, — настолько все находится в невероятно сумбурном состоянии. То, что занимало нас нынешний раз, есть, можно полагать, азбука музыкальной эстетики, но без усвоения ее невозможно приниматься за решение более тонких, более глубоких вопросов музыки.

Почтенный ученый: Во всяком случае, я на досуге еще подумаю о предмете нашей беседы.

О том, чего у нас нет.

А. Воронский.

I.

Без особого труда можно отметить ряд художественных произведений выдающегося литературного качества, появившихся почти за истекший сезон: рассказы Бабеля, «Роковые яйца» и «Белая гвардия» Булгакова, «Страна родная» Артема Веселого, «Цемент» Гладкова, повести и рассказы М. Горького, «Казарма» Григорьева, рассказы Всев. Иванова, «Барсуки» Леонова, «Сахарный немец» С. Клычкова, «Заволочье» Бор. Пильняка, очерки М. Пришвина, рассказы Пант. Романова, «Виринея» Сейфуллиной, «Голубые города» Толстого, «Города и годы» Федина, «Одеты камнем» Ольги Форш, поэмы Сергея Есенина, Казина, Маяковского, Светлова, Тихонова. Прибавилось несколько свежих имен: Акульшин, Губер, Леонид Завадовский, Евдокимов, Анна Караваева, Коробов, Никифоров, Решетов, Тверяк, Ширяев, Фадеев, Уткин и т. д. Внешним показателем нашего художественного роста является необычайное обилие журналов, альманахов, сборников, страстность литературных споров, а успех «дешевых библиотек» свидетельствует, что современным писателем начинают интересоваться широкие читательские круги.

Тем не менее мы далеки еще от литературного благополучия.

Четче всего это сказывается в поэзии.

В стихах и в поэмах, которые печатаются за последнее время, нет ни большого эмоционального напряжения, ни глубокой подкупающей лирики. Есть стихи лучше, есть хуже, есть совсем плохие, таких больше, но общий их тон не волнует, не трогает. Они не остаются в памяти, не привязываются, их не хочется запоминать, повторять. Наши издательства об'явили бойкот стихам; их не печатают: книжки не идут на рынке. Винят в этом нередко читателя, который де некультурен, лишен поэтической настроенности и охотнее отдает предпочтение бульварным и приключенческим романам. Но в равнодушии читателя следует винить прежде всего писателя, а затем нашу критику. Темы мелки, часто исключительно индивидуалистичны, однообразны. Перепевают себя, перепевают других. Читатель с недоумением думает: все это я читал раньше и было написано не хуже. Другие звонко барабанят, а то и просто халтурят, иных заедает техницизм и словопоклон-

ничество. Поэты переживают сумерки. Осекся Маяковский, он еще попрежнему «промыхает», конечно, талантливо, но в его «оре» не чувствуется уверенности: как будто поэт ищет новые пути и не находит их. Серая бытовщина принижает его настроения. Заметно сузилось творчество Сергея Есенина. Стихи хорошие, но мы их уже читали у Есенина раньше. Стали чаще попадаться небрежные, недоделанные строки. Он пишет только о себе, а и здесь вращается в кругу очень однообразных чувств и мыслей. Метель, сани, кони, гармошка, черемуха, погребальная тоска и грусть. Словно пустыня образовалась вокруг поэта: нет ни людей, ни сложной общественной жизни и даже любимая лапотная есенинская Русь сейчас не в поле его зрения. Даровитый и крепкий Тихонов с трудом и слишком медленно преодолевает свое увлечение техницизмом, Пастернаком и Асеевым. Последний пишет под знаком наших будней: его «Лирическое отступление» проникнуто горечью и тоской по былым революционным годам и отвращением к настоящему «рыжему» времени. Плохо пишет Безыменский, небрежно, крикливо, фальшиво и неубедительно. Хороша поэма Казина «Лисья шуба и любовь», но и в ней больше высокого мастерства, словесной отточенности, выдержки и осторожности, чем непосредственной простоты чувств: эта поэма не для широких читательских кругов. Конструктивисты во главе с Сильвинским в начале нынешнего литературного сезона пытались сделать поэтическую погоду — это им не удалось и не могло удаться: формальные изощрения и ухищрения помешали разглядеть то, что было серьезного в их попытках: снижение поэзии — после Маяковского! — до уровня художественной прозы в пределах стихотворного ритма и стремление установить более строгое соответствие слова, образа, сюжета основной тематической установке. Разбрелись и теряют свое групповое лицо, некогда очень определенное, поэты «Кузницы». Большинство «перевальцев» находится еще в процессе самоопределения. Из молодежи отрадно выдвинулся Иосиф Уткин, но и здесь урожай не столь богат, как можно было бы ожидать, если судить по первоначальному напору молодых сил.

Наша проза богаче и содержательней: недаром русская литературная эмиграция уделяет ей столько внимания, но и в прозе не все благополучно и не все на месте.

За истекшие 1½ — 2 года больше других печатались и подвергались критическим обсуждениям Бабель, Леонид Леонов и Пантелеймон Романов. Несомненно, они внесли в нашу молодую литературу свое и неповторимое. Торжественная эпичность, изыскания словесная отягченность, краткость и мудрость Бабеля, его язычество, его Афоньки и Курдюковы в поисках отвлеченной справедливости, — отражение боли нашего исторического пролома у Леонова, работа над упорядочением сюжета, умение живо писать не живых людей, а живые типы, — «окаянный», крепкий, мелкий, нераспорядительный, «плохой» народ, ясный и простой диалог у Пант. Романова — все это хорошо по-настоящему.

Но, думается, не случайно у Бабеля, у Леонова и у Пант. Романова при всем различии в характере их творчества и в словесной инструмен-

товке есть одна общая черта: чересчур большое спокойствие и бесстрастие. Они слишком тщательно прячут в себе человека с надеждами, с сомнениями, со своими оценками. Художник поглощает в них этого человека. Даже в высокой наиболее суб'ективной лиричности Бабеля, там, где прозаик уступает место поэту, всегда чувствуется наблюдатель с прищуренным умным и подсмеивающимся взглядом. Превосходен роман Леонова «Барсуки», но общественное лицо автора во многом и существенном остается скрытым. П. Романова совсем напрасно, главным образом развязные ленинградские критики, упрекают в пустой анекдотичности. Этого у него нет. Романов серьезен, он заставляет смеяться других, но сам не смеется, больше, на литературном лице его — маска бесстрастности, и в этом, пожалуй, его главный недостаток. Может быть, поэтому его рассказы воспринимаются некоторыми как анекдот: им нехватает той основной просвечивающей сквозь ткань произведения определяющей эмоциональной доминанты, которая окрашивает повесть , рассказ, роман в яркие запоминающиеся цвета. В этом преобладании художника-наблюдателя над общественным человеком — знамение нашего времени.

Если взять главные художественные вещи 22 — 23 годов: «Голый год» Пильняка, «Дите», «Цветные ветра», «Бронепоезд» Всев. Иванова, «Падение Даира» Малышкина, «Неделю» Юрия Либединского, «Перегной» Сейфуллиной, поэмы Тихонова и сравнить их по настроениям, вложенным в них с тем, что печаталось и печатается за последнее время, различие станет очень заметным: убыль революционной романтики, энтузиазма, перевес холодноватой изобразительности над под'емом, искание новых путей—на-лицо. Любопытно литературное бытие таких писателей как Бор. Пильняк. «Голый год» его взошел на довольно сумбурной, но красочной и искренней бунтарски-стихийной романтике, в которой он пытался увести октябрь в допетровскую мужицкую эпоху. Было все это неорганизовано, не продумано, но свежо и напряженно. С тех пор Пильняк стал более организованным художником. Он многому научился, талант его стал более зрелым, осмотрительным и спокойным, но не случайно он отошел от мужиков и провинциальных обывателей и пишет английские, морские, авиационные, турецкие рассказы и очерки. Романтика «Голого года» ушла, а проповедь своеобразного культурничества на основе обычной пильняковской «волчьей» физиологии, потребовала вновь присмотреться к миру. Поэтому Пильняк плавает и путешествует в своих рассказах. Он оценил преимущество машин перед волками, он все время стремится учительствовать, но наблюдатель, собиратель материала в нем сейчас говорит, может быть, еще сильней, чем прежде. Такие вещи как «Заволочье» показывают, что плавание и путешествия идут художнику впрок, но «Голый год» остается все же лучшим его произведением по своей эмоциональной, хотя и взбаломученной, незрелой, но полной насыщенности. И стиль Пильняка стал суше. Ему нужна новая зарядка, ибо ум у него склонился к машинам, а сердце до сих пор еще с волками и метелью, и волки выходят у него лучше машин.

Всеволод Иванов достиг в некоторых своих рассказах той простоты, которая дается очень не просто. Свою основную художественную тему —

примат непосредственно данной жизни над всей сложной и пестрой бытовой, культурной, политической обстановкой — ему удается иногда облечь в необычайно ясную и выразительную форму. Он стал более скупым, сдержанным, уравновешенным и экономным и распоряжается как рачительный хозяин с цветистым, азиатским, изобразительным своим богатством. Он чует и пафос новых строителей, но и этот полновесный, радующийся простому факту жизни писатель как будто жалеет порой о днях, когда писались «Цветные ветра», «Бронепоезд» и «Партизаны». Легкая ирония в «Хабу», в «Фокине» и в других вещах по существу прикрывает некоторую растерянность, испытанное уже бездорожье и нащупывание новых выходов.

Сейфуллину «развенчивают» в текущем литературном сезоне, при чем нападки на нее по времени принимают непристойный и недостойный характер. В том, что делается вокруг ее писательского имени, есть много от зависти, много от уязвленных самолюбий, от того нездорового, что есть в современной художественной среде. Показательно не то, что ее разносят и поносят, а то, как это делается. Делается же не по-товарищески, не по-дружески, не аналитически спокойно, а с какой-то злобой, с непонятной радостью и подхихикиванием, словно только и ждали подходящего момента. Достается и ее последней повести «Встреча». Повесть хуже «Перегноя» и «Виринеи», но не хуже «Четырех глав» и «Путников». Отразились в ней и наши будни: от деревенской глубоко жизненной свежести, от сочного, пропитанного избяным и хлебным запахом житья-бытья Сейфуллину потянуло к психологической осложненности Гребнева и к «проклятым вопросам». Не вышло это у нее. Вместо психологии получился разговор. Есть указующий для писательницы перст в том, что лучшие страницы «Встречи» те, в которых изображен деревенский Балакарь и его сын Виктошка. Не надо Сейфуллиной отходить от этой среды и быта, хорошо ей ведомой, тепло, человечно и любовно ею ощущаемой, за что собственно ее больше всего и принимал хорошо читатель.

Неплохо начали в нынешнем году Родион Акульшин, Леонид Завадовский, Губер и ряд других литературно молодых писателей, но как раз именно их вещи при значительных достоинствах имеют один в большинстве случаев общий недостаток. В их вещах, особенно у Завадовского, отсутствует ясная целевая установка. Хорошо-то хорошо, но мы твердо не знаем, во что собственно «веруют», чего домогаются писатели. Этим же грешны и более богатые опытом такие писатели, как Никандров, Яковлев.

От упрощенного бытовизма никак не может уйти ряд пролетарских писателей, печатавшихся в «Октябре», в «Рабочем Журнале», во многочисленных альманахах. Не плохи вещи Никифорова, Федузкова, Евдокимова, но преобладающий характер печатавшихся произведений все же ея бытовой. Возможно, что здесь помехой служит не столько бескрылая будничность настроений, сколько наивный взгляд на существо и на задачи реалистического искусства, неумение экспериментировать, построить сюжет, небрежное отношение к формальным сторонам творчества, погоня за злободнев-

ным и сегодняшним. Господствует материал и над Либединским в его «Комиссарах», хотя язык у него стал, несмотря на провалы строже.

Других заедает штамп и шаблон. У нас нет недостатка в плакатных, в громких, звучных славословиях революции, Коминтерну, коммунистической партии, комсомолу. Но как часто это звучит неубедительно и лишено внутренней содержательности! Такие победоносные вещи напоминают иногда отчеты не в меру ревнивых и бодрых секретарей, исполнительных председателей и заведующих по ведомству: связь налажена, рабочие настроены активно, крестьянство втянуто, проведено 22 собрания, организовано 10 комиссий и т. д. и т. д. Подозрительно у таких авторов полное отсутствие раздумий, как будто все давно решено раз навсегда, подозрительна легкость, с коей дается 100% «идеологическая выдержанность» в таком нелегком деле, как искусство новой советской культуры, безапелляционность и дешевенький оптимизм.

Отсюда — один шаг до халтуры. Когда нет истинного под'ема, а редакции, издательства и не в меру ретивые критики требуют революционности и бодрости безоблачной и чистой, тогда на помощь приходит халтура, зверушка ползающий и пресмыкающийся. У нас немало наивных людей, поющих, вопиющих, взывающих и глаголющих об опасностях со стороны попутчиков и разных «уклонистов». Настоящая же мелко-буржуазная опасность угрожает нам в литературе сейчас со стороны этого припадающего к земле зверушки. Халтура — опаснейшее явление в современном художестве. В литературных кругах всем и каждому хорошо известно, какой широкой, мутной и липкой лужей расползлась она повсюду. Показное приспособление к коммунизму, показное творчество — этого у нас за-глаза довольно. При этом под флагом коммунизма по сути дела протаскивается доподлинный бульвар, мещанство и обывательщина. Присмотритесь к этим журнальчикам в 10 — 16 страниц, где на первой странице есть что-то о заветах Ильича, а дальше всесветные красавицы пленяют вас шиком и модами (эх, какая белуга развалилась!), наши убогие сатириконы, культивирующие бесцельное и мелкое зубоскальство! Прыткие и юркие, дельцы и карьеристы легко обгоняют честных и добросовестных. Они не заблуждаются, не ошибаются, ибо им все дается легко и без усилий. Разлад между показным творчеством и своим настоящим нутром раз'едает писателя, если он мало-мальски честен с собой, читатель же перестает верить ему. Вот откуда пьяные скандалы, дебоши, исповеди горячего сердца вверх пятами, трактирные излияния и признания, биение в перси, обличения и самооплевание, сплетня и зависть, конкуренция и расталкивание локтями. Или нет всего этого у нас? И разве склоки не коснулись тянущегося к литературе рабоче-крестьянского молодняка? Продолжаются или нет отлучения, комчванство, потасовка недавних друзей и соратников, кружковое злопыхательство?

Блажен, кто этого не видит.

Нам грозит в литературе халтурная пошлятина. На нее мало обращают внимания, с ней почти не ведут никакой борьбы.

В этом беда.

II.

Что же нам нужно?

Мелководье чувств и мыслей, безропотная угнетенность буднями, бескрылость и размагниченность духа, беспомощное барахтанье в мелком быту, ивное описательство без внутреннего напряжения и хотения, сероватенькая ошлятина внешнего приспособленчества — вот наши враги сейчас в литературе. Я не хочу сказать, что эти качества господствуют в художестве нынешнего дня. Отнюдь нет, но они есть, они недостаточно учитываются, этого довольно, чтобы об'явить борьбу им даже с некоторым перегибом.

Живуча на наших российских равнинах серая, докучная чеховская, ездная бытовщина. Вместе с отходом бурных, взлохмаченных лет, с оживлением и с утверждением «нормальных» условий жизни на Западе, с переходом у нас к повседневной, «мелкой», культурнической работе в наш быт еслышно, незаметно вползает бесформенная недотыкомка серая. Она ползет з темных, деревенских углов, из покривившихся хатенок, от всего сирого, богого деревенского обихода, от наших слободок, где широкой рекой льется одка и во дни получек улица шатается направо и налево, как картина в плохоньком кинематографе, — от этого скученного семейного надсада с неизбежным ором, с опохмеливанием, с хриплой и визгливой перебранкой, от мелкого нтеллигентского благополучия, мелкотравчатых радостей и горя, — она ползет от наших канцелярий с новым чинодральством и с новой бюрократией, от тих партийных и непартийных, прытких и преуспевающих, умно и тактично риспособляющихся людей, и от усталых, утомленных революцией и нашей бщественностью, возжаждавших уюта и мирного жития, и от тех, кто бродит не у дел в растерянности и недоумениях,—эта недотыкомка ползет от ашей уездной Руси с поломанными заборами, с ленью и косностью, со всеми случаями» из жизни и анекдотами, малюсенькими событьицами и происшествиями, — наконец, от расправляющего плечи и руки нового деревенского городского чумазого, прозаического, скучного, трезвого и деловитого с ног о головы, пока робко, но уже слышно повторяющего свой заветный пароль лозунг: распивочно и на вынос. У Алексея Толстого есть недавняя повесть Голубые города», наверное, лучшее из всего написанного им за последнее оды. В ней выполнение художественного замысла доведено до прозрачности, слово — до предельной легкости. Сквозь советскую оболочку он показал нам растеряевский и чеховский провинциальный уклад, успевший уже как-то незаметно возродиться, вырасти и окрепнуть за эти годы настолько, что юв. Буженинов, герой повести, мечтатель и фантаст, оказался во вражьем окружении и нашел в себе силы только для бессильного и безумного протеста: он поджег городишко. Таких растерявшихся Бужениновых у нас немало. В ином плане о них рассказывает в своей повести «Берега» Анна Караваева. О крушении коммунистической утопии в силу некультурности зло повествует в «Роковых яйцах» Булгаков, художник чрезвычайно талантливый с европейской, уэллсовской складкой, но стоящий пока спиной к нашему советскому быту. Другие, как Сергей Клычков, тщетно ищут выхода в старо-

заветной, в полусказочной деревенщине. «Сахарный немец» и «Сорочье ц ство», написанные отменным русским языком, направлены против городск машинного века; тут — целиком огляд назад, тяга к патриархальному зве ному деревенскому укладу, правда без помещиков и попов и одновреме ощущение, что уклад этот опустошен, уничтожен, смят войной и вс последующим.

В сущности о крушении примитивно понятого коммунизма повеств и Сейфуллина в своей «Встрече».

Революция быта, новый складывающийся по кирпичикам уклад... Р умеется, все это есть и противоборствует серой бытовой недотыкомке. тенденции нашего общественного бытия разнообразны и противоречивы, далеко не все видят и чувствуют молодое и новое.

Так что же нам нужно?

Нам нужно побольше героического в литературе. Пусть оживут велик призраки прошлого, пусть будет сделан «ночной смотр» мученикам, подвижн кам, сильным и смелым, радостным и непоколебимым друзьям трудового чел чества, пусть в вещем предвосхищении художника встанет и засверкает, к вершина снежных гор, будущее, пусть не пропадет, не сгинет и любовно буд подмечено, вскрыто и показано все, что есть достойного, есть непреходяще есть отважного в нашей повседневной, в нашей будничной, иногда непр метной работе и жизни. Художник должен поднимать нас над действите ностью, не упуская ее ни на миг. Только тогда раздвигается линия горизон и становится видным многое, что скрыто для глаза.

Прошлое оставило нам подполье, стойкую школу профессиональн революционеров, оставило героическую борьбу крепко спаянных небольши групп, организацию, сумевшую сочетать массовую работу с конспиративн квартирой. Никакого хоть сколько-нибудь монументального отражения в х дожестве нашего своеобразного большевистского подполья нет. Такие вещ как «К новой жизни» Решетова и «Седые дни» Никифорова, пока остают исключениями. Совсем сырой является повесть П. Иванова «От ста к баррикаде».

Затем: полоса гражданской тяжбы, Антанта, нашествие «двунадеся языков», мобилизации рабочих и партии, победы и поражения. Здесь де обстоит несколько лучше. Был короткий момент 22-го и первой полови 23 годов по преимуществу, когда казалось, что первоначальные доволь удачные попытки художественного изображения лет гражданской войны ос вят прочный и долгий след в литературе. «Бронепоезд», «Цветные ветр Всев. Иванова, «Падение Даира» Малышкина, «Перегной» Сейфуллиной, Н деля» Либединского, поэмы Тихонова обнадеживали. Но полоса оказа к слишком кратковременной. Поговорили, почитали, а потом как-то чре чайно уж быстро перебросились к новым темам. Исключительный по сво богатству и крайне благодарный материал оказался почти совершенно использованным. Правда, и поныне писатели, особенно молодые, то-и-д возвращаются к темам 18—21 годов, но серьезного влияния на литератур годняшнего дня это не оказывает. Притом большинство произведений по

о рода охватывает внешность событий: преобладают батальонные карны, описания героических атак, случаев, много крови, много молодечества очень мало художественного перевоплощения. Рассказы до подробностей ожи друг с другом, с первых же страниц известно, какой будет конец, как вернется сюжет. Исключением являются миниатюры Бабеля. Интересны апаев» и «Мятеж» Фурманова, но это больше мемуарные записки.

В республике советов наметился положительный сдвиг в хозяйственном и культурном строительстве. Растет кулак в деревне, но растет и крепнет наша национализированная промышленность. Вырастает новое поколение ртийных и беспартийных работников, охваченных пафосом нового строительства, соединяющих преданность социалистическому идеалу с деловым, ергичным американизмом. Отклики в литературе на это у нас есть: Цемент» Гладкова и «Хабу» Всев. Иванова. Роман Гладкова не свободен от лишней взвинченности, диалог местами искусственен, есть сюжетная невершенность, есть просто лишние страницы, но все это покрывается революционной волей и хотением и такими нам близкими и родными типами, как малов и Даша. Восстановление молчащего, мертвого завода, когда, казалось ы, нет никаких серьезных надежд, когда приходится работу защищать оружием в руках, преодолевать мертвечину канцелярщины и формального дхода к делу — прекраснейшая тема. «Цемент» — произведение романтичеое, несмотря на свой кажущийся прозаизм, но крепкий, здоровый романизм, и является самой ценной чертой романа. Это хорошо, что в наших днях писатель нашел романтику. Так ведь оно и есть: не одно только нас отстаивание смет, щелканье на счетах, крохоборчество и делячество, о и мечтательный порыв в будущее, героизм в мелкой суматохе и воля обеждать.

В «Хабу» Всев. Иванов показал, что он следит за нашей жизнью. Его ейзеров, прокладывающий «пролетную дорогу» наперекор всему в глухой айге, нам всем знаком. Мы видели и видим его сотни и тысячи раз. Он ныряет среди нас, по учреждениям, по парт. организациям с портфелишком, о впалой, чахоточной грудью, в'едливый, беспокойный, не знающий сомнений наивный в то же время. Он немного смешон, этот Лейзеров, автору. Что же, то его дело, но он не отказывает ему в признании и в большом уважении: ударом тунгузы приносят на далекую и уж, конечно, забытую могилу Лейзерова шкурку сказочно-редкостного зверька «хабу», как лучший, дружеский и самый ценный дар.

Но и «Цемент» и «Хабу» следует выделить как раз именно потому, что от нашего хозяйственного и культурного строительства наши художники стоят в стороне. В подавляющем большинстве случаев художники очень мало знают и интересуются хозяйственной советской горячкой. Эта сторона жизни проходит где-то мимо них, они ее не изучают. Повидимому, полагается, что открытие новых фабрик, восстановление завода, постройка электростанции, борьба на хозяйственном и культурном фронтах не являются темами, интересными для писателя. Понятно, что это неверно, ибо для художника нет ни низких, ни высоких тем, как нет ни характеров, ни типов, из которых

заветной, в полусказочной деревенщине. «Сахарный немец» и «Сорочье ц ство», написанные отменным русским языком, направлены против городск машинного века; тут — целиком огляд назад, тяга к патриархальному зве ному деревенскому укладу, правда без помещиков и попов и одновремен ощущение, что уклад этот опустошен, уничтожен, смят войной и вс последующим.

В сущности о крушении примитивно понятого коммунизма повеству и Сейфуллина в своей «Встрече».

Революция быта, новый складывающийся по кирпичикам уклад... Ра умеется, все это есть и противоборствует серой бытовой недотыкомке. тенденции нашего общественного бытия разнообразны и противоречивы, далеко не все видят и чувствуют молодое и новое.

Так что же нам нужно?

Нам нужно побольше героического в литературе. Пусть оживут вели призраки прошлого, пусть будет сделан «ночной смотр» мученикам, подвиж кам, сильным и смелым, радостным и непоколебимым друзьям трудового чело чества, пусть в вещем предвосхищении художника встанет и засверкает, к вершина снежных гор, будущее, пусть не пропадет, не сгинет и любовно бу подмечено, вскрыто и показано все, что есть достойного, есть непреходяще есть отважного в нашей повседневной, в нашей будничной, иногда непр метной работе и жизни. Художник должен поднимать нас над действите ностью, не упуская ее ни на миг. Только тогда раздвигается линия горизон и становится видным многое, что скрыто для глаза.

Прошлое оставило нам подполье, стойкую школу профессиональн революционеров, оставило героическую борьбу крепко спаянных небольш групп, организацию, сумевшую сочетать массовую работу с конспиратив квартирой. Никакого хоть сколько-нибудь монументального отражения в дожестве нашего своеобразного большевистского подполья нет. Такие ве как «К новой жизни» Решетова и «Седые дни» Никифорова, пока остаю исключениями. Совсем сырой является повесть П. Иванова «От ста к баррикаде».

Затем: полоса гражданской тяжбы, Антанта, нашествие «двунадес языков», мобилизации рабочих и партии, победы и поражения. Здесь д обстоит несколько лучше. Был короткий момент 22-го и первой полов 23 годов по преимуществу, когда казалось, что первоначальные дово и удачные попытки художественного изображения лет гражданской войны ос вят прочный и долгий след в литературе. «Бронепоезд», «Цветные вет Всев. Иванова, «Падение Даира» Малышкина, «Перегной» Сейфуллиной, « деля» Либединского, поэмы Тихонова обнадеживали. Но полоса оказа слишком кратковременной. Поговорили, почитали, а потом как-то чре чайно уж быстро перебросились к новым темам. Исключительный по сво богатству и крайне благодарный материал оказался почти совершенно использованным. Правда, и поныне писатели, особенно молодые, то-и-д возвращаются к темам 18—21 годов, но серьезного влияния на литератур годняшнего дня это не оказывает. Притом большинство произведений по

рода охватывает внешность событий: преобладают батальонные кар-
ны, описания героических атак, случаев, много крови, много молодечества
очень мало художественного перевоплощения. Рассказы до подробностей
ожи друг с другом, с первых же страниц известно, какой будет конец, как
вернется сюжет. Исключением являются миниатюры Бабеля. Интересны
апаев» и «Мятеж» Фурманова, но это больше мемуарные записки.

В республике советов наметился положительный сдвиг в хозяйственном культурном строительстве. Растет кулак в деревне, но растет и крепнет наша национализированная промышленность. Вырастает новое поколение ртийных и беспартийных работников, охваченных пафосом нового строительства, соединяющих преданность социалистическому идеалу с деловым, ергичным американизмом. Отклики в литературе на это у нас есть: емент» Гладкова и «Хабу» Всев. Иванова. Роман Гладкова не свободен от лишней взвинченности, диалог местами искусственен, есть сюжетная незавершенность, есть просто лишние страницы, но все это покрывается революционной волей и хотением и такими нам близкими и родными типами, как малов и Даша. Восстановление молчащего, мертвого завода, когда, казалось нет никаких серьезных надежд, когда приходится работу защищать оружием в руках, преодолевать мертвечину канцелярщины и формального дхода к делу — прекраснейшая тема. «Цемент» — произведение романтичее, несмотря на свой кажущийся прозаизм, но крепкий, здоровый романзм, и является самой ценной чертой романа. Это хорошо, что в наших днях писатель нашел романтику. Так ведь оно и есть: не одно только нас отстаивание смет, щелканье на счетах, крохоборчество и делячество, и мечтательный порыв в будущее, героизм в мелкой суматохе и воля беждать.

В «Хабу» Всев. Иванов показал, что он следит за нашей жизнью. Его йзеров, прокладывающий «пролетную дорогу» наперекор всему в глухой йге, нам всем знаком. Мы видели и видим его сотни и тысячи раз. Он ныряет среди нас, по учреждениям, по парт. организациям с портфелишком, впалой, чахоточной грудью, в'едливый, беспокойный, не знающий сомнений наивный в то же время. Он немного смешон, этот Лейзеров, автору. Что же, то его дело, но он не отказывает ему в признании и в большом уважении: даром тунгузы приносят на далекую и уж, конечно, забытую могилу Лейзерова шкурку сказочно-редкостного зверька «хабу», как лучший, дружеский и самый ценный дар.

Но и «Цемент» и «Хабу» следует выделить как раз именно потому, что от нашего хозяйственного и культурного строительства наши художники стоят в стороне. В подавляющем большинстве случаев художники очень мало знают и интересуются хозяйственной советской горячкой. Эта сторона жизни проходит где-то мимо них, они ее не изучают. Повидимому, полагается, что открытие новых фабрик, восстановление завода, постройка электростанции, борьба на хозяйственном и культурном фронтах не являются темами, интересными для писателя. Понятно, что это неверно, ибо для художника нет ни низких, ни высоких тем, как нет ни характеров, ни типов, из которых

одни достойны стать в центре его художественного внимания, а другие это прав не имеют. В пренебрежении к «низким» темам, скажем хозяйственного порядка, есть отрыжка голого и отвлеченного эстетизма. Куда лег писать о том, как «он» вошел, «она» сидела, «он» пошел, «она» сказа ему вдогонку, они встретились у знакомых, «он» был в отчаянии, «он оставила ему письмо и т. д. Дорожка проторенная. Сколько раз по н водили читателя. Когда-то Гоголь очень неудачно пытался дать ново делового человека на Руси в лице Костанжогло, неудача постигла и Гончаро со Штольцом. Винить их за это не приходится: тогда приходилось нов деловых людей внимательно искать, а в господствующей дворянской сре их было совсем мало, да и трудно было их идеализировать: слишком огр ничены и умеренны были эти новые буржуа Костанжоглы и Штольц Теперь на перепаханной плугом революции советской земле русские ам риканцы входят в быт, в жизнь. Их не надо подсахаривать и подкрашиват их много. Они сменили и Рудиных, и провинциальных Гамлетов, и чеховск дядей Ваней, и трех сестер, и народолюбивых кающихся интеллигентов. В это под рукой, среди нас, кругом. Не надо только сидеть в литературн раковине и не след перебиваться перелицовкой старья.

Евгений Замятин однажды сетовал, что в нашей литературе преобл дает не современность, а сегодняшний день. Упрек справедливый. У н преобладает наивный, детский реализм и погоня за злободневным и газетны Искусство своим об'ектом имеет действительность, — но природа чувства мысли людей, их поступки только тогда становятся предметом искусст когда они возводятся в факт эстетического достоинства, в не создания по прекрасному выражению Гоголя. Действительность, чувс и мысли людей, их поведения должны быть пропущены чрез эту эстетическ призму, взятые сами по себе, вне этого они еще не являются об'екто художника. Вот почему понятие прекрасного является решающим в искусст Этого у нас сплошь и рядом не понимают. Во времена Пушкина и Гог поэта и художника-прозаика называли кажется не писателем, а сочи телем. Такое название более соответствовало природе художествен творчества. Сочинитель-художник тем и отличается от писателя и о сателя, что он действительность возводит на ступень эстетической высо В наши дни преобладает писатель, а не сочинитель. Очень показате в этом отношении Бор. Пильняк и Артем Веселый. Один — видней «попутчик» — ужасное слово, — другой не менее видный пролетарс молодой писатель. И у того и у другого талант уходит в наблюдательнс и в язык. В этих областях их сила бесспорна, но художественной выду фантазии, сочинительства, способности наблюдаемое сделать эстетичес звучащим — у них нет. Может быть поэтому их вещи многими воспри маются туго, с протестами, как грубые куски, не отшлифованные и не о ланные. Сочинителями больше других являются Бабель, Леонов и Булга но за всем тем в наших журналах, в альманахах и сборниках решите все-таки преобладает самое немудрое бытописательство. Наивный быто нас прямо-таки заедает. Было время, когда такое собирание матер

в 1921 — 1923 годах было целесообразно и полезно. Бытовизм был реакцией на отвлеченный космизм и голую агитацию. Теперь пора продвинуться вперед уже по одному тому, что читатель пред'являет к писателю более сложные требования. Переводы иностранных писателей заполнили витрины не только оттого, что у нас не существует международного авторского права и можно издавать, не уплачивая авторского гонорара; у большинства иностранных писателей, книги которых переводят разом в двух, в трех изданиях, есть умело разработанный сюжет, есть выдумка и художественное сочинительство.

Нашим писателям необходимо стать сочинителями. И когда мы предлагаем им обратить внимание на наше революционное подполье, на годы гражданской тяжбы, на наше экономическое и культурное строительство, отнюдь мы не имеем в виду, чтобы художник погрузился в мелкую злободневность, в бескрылое отобразительство, в описание и в сухой, голый, немощный натурализм. Как раз наоборот: и подполье, и годы войн, и новое строительство дают первосортный материал для истинного художественного творчества. Здесь почти готовые, самые сложные сюжеты, столкновение самых разнообразных характеров и типов, динамика, и здесь легче всего воодушевиться революционным полнокровным идеализмом, конечно, тем из писателей, в ком бродит крепкий настой чувств и мыслей борца и воителя.

Нам нужно также больше культурности в литературе. Волшебные, знания должны возбудить фантазию поэта и прозаика, раскрыть пред ним, исключительные, прямо «сюжетные» открытия в разных отраслях научного а чрез него и пред читателем необычайные картины будущего, перестроить обычное «нормальное» мировоззрение, научить по-новому воспринимать и чувствовать мир. Писатель должен быть на уровне научных идей своего века. Меж тем подавляющее большинство наших молодых художников отличается поразительным невежеством и некультурностью, считая, что головокружительное развитие научных дисциплин к их творчеству никакого отношения не имеет. Умственный багаж нашего писателя нисколько не больше среднеобывательского и мещанского. Ужасающим захолустьем веет от него при первых его попытках показать товар лицом. Хуже всего то, что таковая азиатчина и дикость возводится чуть ли не в принцип. Что читают наши поэты и прозаики? На столе, в книжных шкафах вы почти никогда не найдете книжек по химии, по физике, по биологии, по психологии, по социологии. Чему же может учить такой художник, когда он сам не вышел еще из эпохи средневековья? Со значительным научным багажом у нас — Замятин, да еще у Булгакова чувствуется, что естественные науки для него не являются темными и непроходимыми дебрями. Самая мысль, что в теперешней литературной среде художник может соединять в себе ученого, кажется нелепой, невозможной и смешной, хотя история культуры знает сколько угодно таких сочетаний.

Нам нужно больше общественного идеализма в литературе. Писателю нужно затосковать по большим всечеловеческим идеалам нашего века. Скажут иные: у нас этого и так в преизбытке; пресса монополизирована

коммунистической партией, коммунисты допускают к печати только то, что согласуется с их идеологией. Речь идет о художественной литературе. У нас есть произведения, проникнутые истинным пафосом лучших идей и чувств нашего века, но еще больше показного, внешнего, неискреннего и ненастоящего. Нетрудно заметить две крайности: одни агитируют и пропагандируют, при чем делается это по шаблону и по трафарету, другие наблюдают, плавая без руля и без ветрил. Идеалы братства, единения и торжества трудящихся в их борьбе не питают художника органически из недр самих масс, их не ловят, не черпают из теплой и живой трудовой гущи, их схватывают больше на лету, на ходу из речей, из газет, или «заражаются» ими в редакциях. Человека не видно в современном художестве. Он пропадает, запирается среди этой крикливой и шумливо, не доходящей до сердца агитации одних и холодных, спокойных наблюдений и зарисовок других. Но художник должен уметь любить, ненавидеть, смеяться, горевать, гореть любовью и ненавистью, негодованием и смехом, радостью и горем живых, конкретных людей. Говорят, что нынешний писатель утратил способность старых мастеров слова освещать типическое силою художественной детали. Это — правда. Отчего это происходит? Новому писателю нехватает чувственного восприятия конкретного человека. Характерная деталь, уши Каренина, тулупчик Миронова и т. д. дается и удается художнику при одном непременном условии, если он чувствует героя, если он способен перевоплотиться, если он умеет вживаться, переселяться в него. Мы оперируем даже в художестве схемами, отвлеченными категориями и обобщениями. Во всяком случае схематического, отвлеченного восприятия идеалов рабочего класса у нас достаточно, и нам решительно нехватает конкретно данного в живой обстановке. Немудрено, что наша литература совсем потеряла середняка-рабочего, главного героя революции, его совсем ведь, совсем не видно у нас в художестве. По силе сказанного писателю надобно воодушевляться не чрез посредство школ, группок и направлений, а проникать к живым родникам трудовой жизни. В рядовом-рабочем, в крестьянине трепещет и бьется жажда еще не воплощенных его многих и многих вековых надежд, так как наша революция только расчистила почву, открыла возможности, но не могла, конечно, еще утвердить их в жизни. Задача писателя подслушать, раскрыть и показать все это. Тут потребуется и вдохновенное перо мечтателя и энтузиаста, и зоркий глаз наблюдателя, и упорная убедительность оратора, и находчивость агитатора, но и свистящий бич сатиры и изобличения. Тогда мы не будем барахтаться в буднях, сгинет недотыкомка серая, потеряют свою силу докучные угнетающие мелочи быта, вскроются темные подвалы нашей жизни, освещаемые могучим и благостным светом нового солнца — правды, солнца — справедливости, солнца — счастья и радости.

Наконец, нам нужно больше психологической вдумчивости и разработки.

Много толкуют о социальном заказе. Да, новый класс, утверждающий свои права и власть, задает художнику свой социальный заказ. Но художник

должен чувствовать, что он свободно, по своему выбору, по своей вольной воле выполняет этот заказ. Вернее, он не должен чувствовать заказа. Неизбежны трудности, срывы, ошибки, сомнения, поиски, но это одно, и совсем другое, когда художник, открыто приспособляясь к заказу, насилует себя. Проку в этом не будет. Нет нужды винить во внешнем приспособленчестве и в халтуре одних писателей. Больше их повинны трактующие «социальный заказ» пролетариата по-купецки. Забывают, что заказ дан в п р о ц е с с е, что он требует упорной работы поколений, а не выполняется по воле нетерпеливых критиков и расторопных редакторов. Расторопность же и нетерпение упираются отчасти в вульгарное толкование теории заказа, происходящее от общей нашей некультурности, отчасти и в бо́льшей степени в бюрократические стороны нашей общественной жизни: бюрократ всегда любит благополучие, хотя бы протокольное, даже больше протокольное и показное, чем действительное. Но это тема особая, выходящая за пределы литературной статьи.

Могут возразить, что в данных заметках литературные настроения заключены в одну общую скобку, что не проведены грани между разными направлениями, отражающими разные социальные напластовани. Такие грани есть, хотя их в нашем литературном споре иногда и не в меру заостряют. Но нужно было наметить некоторые о б щ и е недостатки, от которых страдает художественная литература наших дней и которые свойственны более или менее разным направлениям и группировкам. Само собой подразумевается, что всякие общие характеристики всегда огульны и не улавливают всей сложной пестроты действительности.

Наивным бытовизмом страдают и попутчики и пролетарские писатели. Слабость сюжетного построения нетрудно заметить и у тех, и у других. Пролетарские писатели часто впадают в агитацию и тенденциозность отвлеченного свойства, попутчики, — в бесстрастную наблюдательность, но и у тех, и у других сплошь и рядом не чувствуешь живого человека. Халтура есть повсюду.

Социологический эквивалент этих явлений в литературе? Ответ прост: стихийное приспособление к рынку с обывательскими вкусами, умеренные и аккуратные, чересчур трезвые стороны нэпа со своим бытом, бюрократизм, наша общая некультурность в новой оболочке и т. п.

Еще об одном. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Легче пред'являть требования, чем их выполнять — старая истина. Живой процесс развития всегда наталкивается на препятствия, переживает болезнь роста. Недостатки недостатками, а наше художество в итоге крепнет. В прозе это видно отчетливо. Удельный вес литературы возрос. Кадры писателей увеличились. Подрастает молодое литературное поколение. Мастерство улучшается. Язык стал богаче и гибче. Темы есть. Жалкое отравленное самоковыряние и ловля своего хвоста чуждо нашей литературе. Она — реалистична и прикована к земле. Остальное приложится.

Вересаев.

(К сорокалетию литературной деятельности).

Ив. Розанов.

Определить писателя — это значит указать диапазон его литературной деятельности, его литературное родство и своеобразие, а затем уже читатели сами могут решать, кому из них с ним по дороге, а кому нет.

Легче всего определяется диапазон.

Конечно, значение литератора, и причины него успехов не только в этом: еще важнее сила и тембр его голоса, уменье владеть своими голосовыми средствами, самый текст песен, наконец, соответствие настроению слушателей. Но все же! Пушкин был и стихотворец, и беллетрист, и драматург, и литературный рецензент, и страстный полемист и публицист, и редактор журнала, а многие из его плеяды — Языков, разные Подолинские и Туманские — во всю жизнь не выходили за пределы стихотворчества.

В. В. Вересаев прежде всего писатель значительного диапазона. Автор нашумевших повестей и романов является в других своих книгах то публицистом, то поэтом-переводчиком, то исследователем литературы. Еще явственнее станет для нас широта этого диапазона, если принять во внимание характер каждой из этих сторон Вересаева. Чуткий и зоркий наблюдатель текущих моментов, улавливатель «общественных настроений», «поворотов» и «поветрий» и он же — казалось бы, что ему Гекуба — переводчик поэта Архилоха с древне-греческого размером подлинника. Ни Тургенев, ни Боборыкин, с которыми обычно сравнивают Вересаева-беллетриста, никогда бы до Архилоха не дошли. Автор нервной и выстраданной книги о врачебной практике и врачебной этике берется за вдумчивый и спокойный анализ художественного творчества величайших наших старых мастеров слова: Пушкина, Толстого, Достоевского!

Вересаев — современный беллетрист, Вересаев — врач-публицист, Вересаев — поэт-переводчик с древне-греческого, Вересаев — историк литературы — на первый взгляд может показаться, что это четыре разные лица. Перед исследователем его литературной деятельности стоят задачи: во-первых, определить значение каждой грани, во-вторых, найти, что связывает воедино эти, казалось бы противоположные, устремления: ветви могут далеко разбежаться, но ствол должен быть один.

Почти каждая повесть и каждый роман Вересаева заставляли о себе много говорить. Одного этого было бы достаточно, чтобы обеспечить за ним заметное место в русской литературе. Кто-то применил к нему то, что у Чехова говорили о писателе Григорине: «Мило, талантливо, но... Тургенев писал лучше». Такая пренебрежительная похвала вряд ли здесь уместна. Известно: «лучше — враг хорошего», и мы не настолько богаты лучшим, чтобы не ценить просто хорошего. И все же мы должны признать, что Вересаев и без этих произведений оставил бы прочное имя в истории русской литературы и общественности: для этого достаточно было бы одних «Записок врача».

Книга эта — явление своеобразное, небывалое и неповторимое. Действительно, с чем стали бы мы сравнивать эту жгучую исповедь? С исповедью Руссо или Толстого? Но ведь это совсем о другом, и какой бессмыслицей было бы сказать — «мило, талантливо, но... Руссо писал лучше»! Раз о другом, то каково же сравнение! Те общественные настроения, которые описывались в повестях Вересаева, служили темами и некоторых других его современников, напр. Боборыкина, Чирикова. Рассказать же всенародно о переживаниях врача, о врачебных тайнах и т. д. — это никому еще до Вересаева в голову не приходило. Понятно, почему эта книга выдержала наибольшее число изданий из всех его книг и, — так как «кривые толки, шум и брань» — необходимая принадлежность истинной славы, — вызвала бурю негодований. По поводу этого Вересаев писал: «негодование это представляется мне очень знаменательным; мы так боимся во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький ее уголок и люди начинают чувствовать себя неловко».

Тем же желанием показать неприкрашенную правду руководился наш писатель и в своих записках об японской войне. Книга «На войне», недаром подвергавшаяся запрещению, также одна из лучших у Вересаева. К сожалению, она несколько запоздала. Появись такая вещь до декабря 1905 г., вес ее в глазах читателей был бы несравненно значительнее.

Меньше всего разговоров вызвали переводы Вересаева из древне-греческих поэтов и «Живая жизнь», книга о Достоевском и Льве Толстом (часть I) и о Ницше (часть II). Другое название второй части — «Аполлон и Дионис» Читатель, привыкший находить у Вересаева трепет современности, несколько недоумевает перед этим экскурсом в область минувшего или даже в далекую классическую древность (боги! да еще греческие, — нет, это на любителя!) и невольно откладывает эти книги в сторону. Действительно, тем из нас, которым интереснее отражение современности в произведениях писателя, чем его личность и миросозерцание, здесь как будто делать нечего. Но если кто захочет нащупать основной нерв писателя, то всего больше могут дать те его работы, где он всего интимнее. Ключ к пониманию всей многообразной деятельности Вересаева находится, думается нам, именно здесь. Недаром заглавие «Живая жизнь» является излюбленным у автора; оно встречается и в «Записках врача» и в его беллетристике.

Первая часть «Живой жизни» о Достоевском и Льве Толстом появилась в печати в 1910 году; вторая — «Аполлон и Дионис» (о Ницше) в 1915 г. За плечами Вересаева уже громкая известность, крупные литературные заслуги. Повидимому, книга эта — плод долгих размышлений, подведение итогов. И тут прежде всего бросается в глаза, что наш писатель берется за старую и уже другими не без успеха использованную тему — сопоставлению Льва Толстого с Достоевским по контрасту посвящена одна из обширнейших (целых 2 об'емистые тома) и известнейших работ Мережковского. С другой стороны, противопоставление Аполлона Дионису, принадлежащее Ницше, — одна из основных мыслей всей литературной деятельности другого писателя — Вячеслава Иванова. Всю жизнь работает он над исследованием культа Диониса, над «эллинской религией страдающего бога». Чтобы решиться взяться за те же темы, Вересаеву нужна была уверенность, что ему не придется повторять своих предшественников: как дальнейшее развитие, или подтверждение чужих взглядов, книга была бы не нужна. Ясно, что она могла быть написана только в опровержение высказанного другими, хотя бы имена Мережковского и Вячеслава Иванова в ней и не встречались. Все трое— люди одного поколения. (Из них Вяч. Иванов на год, Мережковский на два старше Вересаева.) Расхождение их в данном пункте не случайно: оно знаменует два разных течения. Представителем одного является Мережковский, представителем другого — Вересаев. Интересно сопоставить их в тот момент, когда складывались их писательские физиономии.

Вересаев и Мережковский одновременно были студентами-филологами Петербургского университета. Последний был одним курсом старше. Они слушали тех же профессоров, и Вересаев для характеристики одного из них прямо ссылается на отрывок из поэмы Мережковского «Вера». «Университетскою наукой занимался я без любви, — пишет Вересаев,—на экзамены шел, часто не зная экзаменаторов в лицо». «Университет дал мне немного больше, чем гимназия», — признается и Мережковский. Но оба усиленно вращались в студенческих и литературных кружках, жили напряженной умственной жизнью и уже выступали в печати. Были и общие кумиры: Глеб Успенский и Михайловский.

«Любимыми моими писателями-художниками в это время, — пишет Вересаев,—были Глеб Успенский и Гаршин (а рядом с ними,—вот подите же,— Гете). Из публицистов особенно дорог и любим был Михайловской, — не за пути, которые он указывал, — чувствовалось, что их у него нет, — а за страстные призывы не забывать «великих задач», за борьбу его с общественным равнодушием».

«Михайловский и Успенский, — пишет Мережковский, — были два первых моих учителя. Я ездил в Чудово к Глебу Ивановичу и проговорил с ним всю ночь напролет о том, что тогда занимало меня больше всего — о религиозном смысле жизни».

И вот уже обозначилось различие: в противоположность Мережковскому, Вересаев не верит в народничество и не ищет смысла жизни в религии. Он был еще в шестом классе, когда у него начался религиозный перелом и

ряд конфликтов с набожными родителями вследствие отказа юноши ходить в церковь.

Когда Вересаев и Мережковский кончили историко-филологический факультет, различие между ними сказалось еще больше. Мережковский, собиравшийся раньше «уйти в народ», сделаться сельским учителем, этого, конечно, не сделал. Начинается увлечение Достоевским, Бодлэром, Эдгаром По, затем символизмом и еще больше, чем раньше, вопросами религиозными. В первом сборнике своих критических статей «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе» (1893) он пытался об'яснить учение символизма не столько со стороны эстетической, сколько религиозной.

Совершенно по другой дороге пошел Вересаев. По окончании курса на историко-филологическом, он в том же году поступает в Дерпт на медицинский. «Почему на медицинский? — об'ясняет Вересаев. — Главная причина: уже в то время моею мечтою было стать писателем, а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии... В тихом Дерпте я пробыл шесть лет и усердно занимался наукою... В 1894 г. кончил курс врачом».

Общего между нашими писателями было то, что оба они не чистые художники, а скорее мыслители, прибегающие к художественной форме. Но нигде не бывает столько разногласий, как в области мысли. Наши писатели оказались в двух враждебных станах. Внимание Вересаева привлекло рабочее движение 90-х годов и развитие марксизма, Мережковский же занялся открытием «тайн» в русской литературе («Тайна Некрасова», «Тайна Тютчева») и богоискательством. В книгах о Толстом и Достоевском обнаружилось разногласие не только двух авторов: Мережковского и Вересаева, но и антагонизм двух непримиримых литературных лагерей. К этим книгам мы еще вернемся, а теперь всецело займемся Вересаевым.

Кто литературные предки Вересаева? Это прежде всего Лев Толстой с его устремленностью к неприкрашенной правде, заявивший в «Севастопольских рассказах», что правда всегда есть и будет его единственным героем. Это — Тургенев, как певец и печальник передовой интеллигенции, с его тоской по цельным и крепким натурам, людям не слов, а дела, с его девушками-героинями, пристыжающими слабовольных мужчин. Это из старших; а из более поздних — указанные им самим Всеволод Гаршин и особенно Глеб Успенский, эти два страстотерпца русской литературы, люди поистине с «обнаженными нервами» и «ранеными сердцами». Генеалогия почетная! От Толстого и Тургенева основные устремления, иногда влияния тем, иногда стиля.

В композиционном отношении Вересаев, однако, очень мало учился у этих двух великих писателей. Может быть потому, что не хотел. Здесь ему гораздо ближе Глеб Успенский. Про последнего кто-то сказал, что его творчество — «оскорбление беллетристики действием», т.-е. традиционной беллетристики: недоконченные рассказы, ряд наблюдений, которые можно в любом месте начать и в любом кончить, еле очерченные лица, отсутствие

«выдумки», которой требовал Тургенев, и сколько-нибудь стройной фабулы. У поколения Глеба Успенского это пренебрежение художественной отделкой, всяким округлением, завершением выходило само собой из их аскетического взгляда на искусство. Некогда им было заниматься этим. Как сказал один из поэтов тех же 80-х годов, когда Вересаев начинал свое писательство: «некогда мне эти беглые строки в радугу красок рядить: мать умирает, дитя позабыто, в рваных лохмотьях оно». Не подобные ли явления притягивают внимание Вересаева? Больные с наивной верой во всемогущество медицины и врачи, чувствующие свою беспомощность; дети, наказываемые родителями лишением сна и отдыха за то, что их неокрепший еще мозг не в силах более зазубривать никому не нужной школьной премудрости (один из ранних забытых рассказов — «Мерзкий мальчишка»); девушки, не могущие при всем желании итти «честным путем» и вынужденные отдаваться мастерам и хозяевам, чтобы только получить в мастерских сколько-нибудь сносную работу и оплату и т. д. и т. д.

Или вот хотя бы такая сценка:

Муж — мастеровой, вернувшись пьяным, смертным боем бьет свою жену. Возмущенная соседка пытается это остановить. Она побежала в дворницкую. «У дверей стоял, щелкая подсолнухи, молодой дворник. Узнав, в чем дело, он усмехнулся под нос и моментально исчез где-то за дровами. Сегодня, по случаю праздника, в доме все были пьяны, и чуть не из каждой квартиры неслись крики истязуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда».

Как в форму «изящной» словесности вместить жизнь, которая совсем не изящна! — и Вересаев, иронически относясь к читателям, которые хотят от литературы «чудных звуков» и эстетического наслаждения, вполне последователен, когда чисто беллетрическую форму меняет на полупублицистическую — записок, рассказывая свои наблюдения над жизнью шахтеров («В подземном царстве»), из врачебной практики («Записки врача»), записывает разговоры и зарисовывает сценки из быта военных в японскую войну (записки «На войне»). Нам хочется подчеркнуть, что это и есть самые ценные его произведения. Знаменательно, что эту форму записок или дневника сохраняет Вересаев и в некоторых наиболее значительных своих повестях («Без дороги», «К жизни»).

И хорошо, что так. Надо отметить, что беллетристическая форма часто пользуется у нас совершенно незаслуженным вниманием. Правда, отсутствие художественной отделки в беллетристике в конечном итоге всегда минус, а не плюс, всегда будет восприниматься, как некоторый недочет. Ссылка на характер темы — не оправдание. Умел же Гоголь, говоря о грязи и несовершенствах нашей жизни, тщательно и мучительно (посмотрите его черновики) вынашивать каждую строчку, каждое слово. Но беда, когда беллетрист, набивший руку в литературной технике, старается облечь в художественную форму ничтожное содержание! В начале XX века много было таких. Какой-нибудь Осип Дымов в искусстве писать рассказы сто очков вперед даст и Глебу Успенскому и Вересаеву, но вот «Записки врача» останутся в литературе и будут читаться всегда, а от Дымова и следа не осталось.

Современные беллетристы часто грешат в другом отношении: они стараются втиснуть непременно в беллетристическую форму то, что по своей значительности пока с трудом сюда укладывается. Я говорю о наших революциях. Записки, мемуары здесь более уместны. Недаром так слаба художественная беллетристика, посвященная 1905 году, и так ярки и живы воспоминания участников первой нашей революции, часто рядовых рабочих, нисколько не мнящих себя беллетристами. Возьму еще пример: «Записки революционера» Кропоткина — одна из увлекательнейших книг, какие только есть в русской литературе, а если бы тот же материал дан бы в форме беллетристики — современные беллетристы легко поддались бы этому соблазну — вышло бы гораздо хуже. В этом смысле есть чему поучиться у Вересаева нашей пишущей братии.

Главные герои основной магистрали его повестей: «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «В тупике» — интеллигенты-общественники или только сочувствующие революции, или бывшие политические деятели; иные, как Токарев, остывающие с возрастом, другие, отброшенные от революции ходом истории, как Сартанов («В тупике»). В трех случаях из пяти — это врачи. Вокруг них другие такие же интеллигенты. Любовная интрига почти совершенно отсутствует. Так было у Глеба Успенского. Герои Вересаева наедине сами с собой интересно размышляют, их самоанализ отличается часто и остротой и тонкостью. Еще интереснее они спорят друг с другом, оставаясь каждый при своем. Вернее, не спорят, а размышляют вслух. Каждый из них говорит по-своему убедительно. Так и кажется, что все они — об'ективизация противоречивых мыслей самого автора, как Фауст и Мефистофель — две стороны самого Гете. На втором плане или эпизодически выводятся настоящие революционеры-интеллигенты, вроде большевистского вождя доктора Розанова, или рабочие, вроде Дяди-Белого или Турмана. Это люди дела, но в повестях Вересаева они не столько действуют, сколько высказывают свои мнения. Говорят все эти центральные и эпизодические лица и о смысле жизни, и о текущей злобе дня, напр. о роли промышленного пролетариата, или о взволновавшей всех книге Бернштейна, о последних политических событиях и, наконец, друг о друге. В конце концов читатель выносит больше впечатления от интересных, образно выраженных мыслей и увлекательных разговоров, чем от увиденных образов. Все эти повести, как и многие другие, более мелкие, — замаскированная автобиография.

Если же Вересаев берется за повесть из жизни менее ему близкой, напр. из жизни ремесленников («Два конца»), где в основе лежат не суб'ективные переживания и размышления, а наблюдения, — чувствуется, что и автор и читатель выиграли бы, если бы эти наблюдения вылились в обычную в таких случаях для Вересаева форму записок о виденном и слышанном. Самый язык ремесленников в его повести лишен настоящей колоритности. Невозможно и сравнивать с тем, как говорят ремесленники у Глеба Успенского. Зато здесь яснее, чем в автобиографических повестях Вересаева, обозначается фабула.

Если в повестях Вересаева отразилась история русской интеллигенции — или, вернее, известной части ее — почти за тридцатилетний период, то самые заглавия повестей знаменательны по своей безнадежности. Началось с «бездорожья», а кончилось «тупиком». Только в одном заглавии есть намек на возможность выхода — куда? — «к жизни». В конце повести Чердынцев находит, наконец, этот выход, погружаясь в окружающую природу

«Повсюду широкими волнами необозримо колебалась огромная, бессознательная жизнь... Темнел вдали огромный дуб, серел на тропинке пыльный подорожник, высоко в небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал, сколько искал — и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыслями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так неожиданно понятно».

Стоило Чердынцеву только подумать о смысле жизни, и все вокруг как будто обвевалось смрадом и сам себе он начинал казаться жалким и ничтожным, но как только он отдавался ощущениям бытия, и вокруг и на душе становилось радостно.

Вересаев, как и его многие персонажи, любит грозу (и в буквальном и в переносном смысле), видит в ней радостный выход из томительного бездействия. Он смеется над теми, кто читает стихи про бурю, когда идет настоящая живая буря. Развращающее влияние искусства он видит в том, что оно дает возможность читателю переживать бури и страсти не в действительности, а в ослабленном и приукрашенном отражении («На эстраде»). Так, конечно, удобнее, безопаснее, но и гибельнее для души. А что такое душа?

Вересаев — врач. Этого не надо забывать. И это чувствуется в его произведениях несравненно больше, чем, напр., у Чехова. Знание анатомии и физиологии лежит в основе его подхода к человеческой личности. Когда он был студентом-медиком, только что постигшем анатомическую премудрость, знание это мешало ему даже некоторое время воспринимать иначе близких ему и дорогих людей. Видит он девушку, такую славную и оригинальную, от присутствия которой на душе становится хорошо, а сам думает «на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее также насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов».

С летами это прошло. Но каждый раз, когда писателю-Вересаеву, или его автобиографическим персонажам приходится от наблюдений над проявлениями душевной жизни окружающих переходить к об'яснению их, на сцену неизменно является анатомия и физиология.

«Если десятилетний мальчик, — говорит Токарев («На повороте»), — станет проповедывать взрослому человеку идеи «Крейцеровой сонаты», мне будет только смешно, хотя я могу вполне сочувствовать его проповеди. Как может он упрекать людей, если физиологически неспособен понять, что такое страсть!»

«Я могу, — говорит Чердынцев, — возмущаться, противиться, проклинать, — все равно: мои мысли, мои искания были бы совсем другие, если бы только мне было сейчас не 24 года, а 50. Все было бы другим, если бы я был рабочим, если бы я был китайцем... Даже если бы солнце у нас светило ярче и дольше, я бы, может быть, искал и нашел другое! Покорно плетусь я, куда ведет меня мой темный хозяин-раб, и высшее, до чего может подняться мой ум, — это сознать зависимость себя, свободного и бессильного».

И Вересаев, или его герой, полны недоверия к тому «маленькому сознанию», которое думает словами, мыслями, тем более к мозгу, обросшему книжными мыслями. Все решается там, за порогом сознания, где изменчивый и прихотливый хаос, хозяин и владыка сознания и раб неведомых сил, чудовище с длинными щупальцами. Все самостоятельные мысли маленького сознания и тощи и безжизненны, все рождаемые слова сухи и ограничены; только когда из темной глубины протянутся эти странные щупальцы, сознание оживает и углубляется. Мысли становятся яркими, творчески сильными, слова светятся волнующим смыслом. Но если даже они не доходят до сознания, как хорошо, — Толстой это прекрасно понимал, — думать без мыслей и понимать человеку человека без слов. И опять Толстой, как наставник и образец!

Но наставники и образцы не мешают глубокому своеобразию нашего писателя. Несмотря на разнообразие литературных форм, откликов и устремлений, несмотря на все бездорожья, повороты и тупики, куда заглядывает он, писатель-интеллигент, — за сорок лет литературной деятельности он, в сущности, занят был упорно одним: бесстрашным размежеванием здорового от больного, плодотворных сил от «пышного пустоцвета».

23 ноября 1885 года в журнале «Модный Свет» было первое выступление в печати — стихотворение «Раздумье», где автор, при виде девушки-полуребенка, задает себе вопрос, что в будущем сулит ее «роскошный расцвета» — «Сокровища ль живые силы плодотворной, иль только пышный пустоцвет?». В последнем известном нам выступлении Вересаева в печати, гомеровском гимне «К Аполлону Пифийскому» («Свиток» № 4) Аполлон своим жрецам, т.-е. в переводе на наш язык писателям и художникам, дает такое предостережение:

Если же слово пустое за вами замечу иль дело,
Люди другие тогда властелинами станут над вами...

За сорок лет Вересаев никогда не говорил пустых, праздных, неискренних или лукавых, рабских слов.

Мы уже видели, какие русские писатели имели влияние на Вересаева. Необходимо еще остановиться на его отношении к немецкому художнику-мыслителю Фридриху Ницше. Его книга «О происхождении трагедии» (1872) с некоторым запозданием, в 90-х годах, произвела неизгладимое впечатление на многих из русских читателей Вересаевского поколения, преимущественно на символистов: Мережковского, Вячеслава Иванова и др. Наоборот,

люди позитивного мышления и материалисты отнеслись к этой книге скептически. В повести Вересаева «К жизни» видный большевик доктор Розанов, увидав у Чердынцева на столе эту книгу, «поднял брови и с скрытой усмешкой протянул:

— Вот вы чем начинаете интересоваться!»

Но опасения доктора на этот раз оказались напрасны: Чердынцева книга Ницше не соблазнила увлечься «красотой трагического» и не помешала повернуть к живой жизни.

То же произошло и с самим Вересаевым, как это мы видим во второй части его «Живой жизни», озаглавленной «Аполлон или Дионис», или «О Ницше».

> «В книге своей «О рождении трагедии», — говорит Вересаев, — молодой Ницше воскресил из греческой старины колоссальные образы двух главных эллинских божеств — Аполлона и Диониса. Образы эти удивительно ярко и полно воплощают два полярно-противоположных жизнеощущения, которыми живет человечество и которые непрестанно борются друг с другом на протяжении всей его истории. Вот почему книга, написанная, казалось бы, на такую узкую, только для специалистов интересную тему — «О рождении трагедии из духа музыки» — стала книгою, которую должен знать всякий образованный человек».

Усвоив себе это противоположение двух начал — Аполлона и Диониса, русские писатели стараются «преодолеть Ницше». По мнению Ницше оправдать мир и бытие можно только эстетически. Вопреки ему, Мережковский ищет не эстетического, а религиозного оправдания. Вячеслав Иванов в своей ученой диссертации о культе Диониса (вышла в Баку в 1923 г.) говорит, что в основе древне-греческого миросозерцания лежит не эстетика, а мистика. Филолог, символист и богоискатель Мережковский ищет синтез Аполлона и Диониса, но из этих двух начал сам более тяготеет ко второму. То же следует сказать и о Вячеславе Иванове. Оба они поклонники Достоевского, у которого находят тоже дионистическое начало.

Автор «Записок врача», наоборот, всецело на стороне Аполлона. Эстетизм Ницше он старается преодолеть не религией, не мистикой, а естественно-научным знанием. Дионис для него прежде всего нездоровое, болезненное начало. Говоря о дионисийском экстазе, он дает такое необычайно простое, но яркое и образное сопоставление Диониса и Аполлона: «Медленно и меланхолически бродит теленок, пощипывая траву; в крови его вялость бесконечной цепи предков, превращенных из вольных животных в доильные машины. И вдруг, задрав хвост, он начинает неуклюже прыгать, бросаться и вскачь несется по лугу, охваченный безумным «телячьим восторгом»: желание вольных и сильных движений должно было дойти до «избытка», чтобы преодолеть косность тела и взрывом вырваться наружу. Но чужд этот избыток вольной серне. Стройно и прямо, как стрела Аполлона, переносится она через пропасть и в недоумении смотрит на самозабвенное безумие теленка».

Вяч. Иванов в дионисийском безумном экстазе видит харктернейшую и почетнейшую особенность человека. По его мнению, человек прежде всего животное, способное к экстазу. «Когда животное сошло с ума, оно стало человеком». Вересаев иронизирует над этим: «Навряд ли это так. Животное способно сходить с ума, впадать в несомненно дионистическое безумие», напр., бык в период полового возбуждения, когда он яростно бросается на все встречное, хотя бы это была простая деревянная колода (кстати, бык у эллинов был символом Диониса). «Но животное от этого еще не становится человеком». Из людей всего более подвержены дионисийскому экстазу кликуши и истеричные женщины.*

Но Вересаев не только врач, но и филолог. И как филолог, он тоже полемизирует с Ницше. По Ницше — Аполлон — бог обманчивого реального мира. Околдованный чарами солнечного бога, человек видит в жизни радость, гармонию, красоту, не чувствует окружающих бездн и ужасов. Дионис же — бог страдающий, вечно растерзываемый и вечно воскресающий — символизирует «истинную сущность» жизни. Путем изучения Гомера и «великого» Архилоха, Вересаев доказывает, что Ницше не прав. Аполлон вовсе не бог обманчивой иллюзии, он вовсе не скрывает страданий жизни и бездн, но древние гомеровские эллины обладали той силой жизни, при которой органически не думается о смерти и ужасах. Есть люди, обладающие удивительною способностью из всего извлекать для себя страдания. Это люди гаршинского склада. Они идут навстречу гибели. Гаршин, ненавидевший войну, пошел на нее добровольцем, потому что не мог же он сидеть в безопасности, когда других убивают. Студент такого типа есть в повести Вересаева «К жизни». Черносотенцы избивают демонстрантов. Чердынцев с Катрой укрылись в какой-то подвал. Затащили туда и раненого студента, начали делать ему перевязку. Но за дверью раздался стон избиваемого. Студент заволновался: — «Боже мой, а я здесь сижу! Пустите меня!». Его не пускают: «Вы с ума сошли? Какой в этом смысл? Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!». — «Мы должны с ними умереть», — студент сорвал повязку и выскочил наружу. «Да здравствует...», — закричал он, и тотчас его сбили с ног, начали бить и топтать.

Здесь, конечно, есть «трагическая красота», но в основе этого подвига лежит не только «раненая совесть», но и слабость инстинкта жизни. Основное в этих натурах то, что их «сердце жаждет гибели», а как, это уже второстепенный вопрос: может быть мгновенный подвиг, может быть медленное самоизнурение добровольным, непосильным, самоотверженным трудом. Но недаром Лев Толстой самоотверженную Соню назвал пустоцветом. Есть люди, которые опьяняют себя красотой, чтобы хоть на миг забыть тоску своей мутной и унылой души. О таких людях Вересаев говорит:

> «Ходит и тоскует мутная душа, как пластырями облепляет себя красотами жизни. Но серым пеплом осыпано все вокруг. И только судорожными вспышками мгновений освещается мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокруг утонченнейшие красоты мира, — это будет только вареньем к чаю для человека, осужденного на казнь».

Все такие люди склонны к самоубийству. Наскучив своим тусклым существованием, сама себя заражает сапом самоотверженная фельдшерица Варенька в повести «На повороте». Близок к самоубийству и юноша Сергей в той же повести. Он болезненно напряженно жаждет подвига, смелой, свободной и красивой жизни, а сам неспособен к ежедневному труду, и нервы у него отражают малейшие колебания барометра.

В повести «К жизни» доктор-большевик узнает про попытку самоубийства Алексея, бледного и молчаливого юноши, и хотя юноша на этот раз и остался жив, ставит печальный диагноз:

«Важно тут не то, что он сейчас хандрит. А вообще на всей их семье печать вырождения: старший брат — пропойца; сестра с нелепо-неистовым стремлением распинать себя, другой брат (автор нашумевшей книги «Мир в аспекте трагической красоты») отравился... Вот эта-то гниль в крови и опасна».

И сам Вересаев, не веря «трагической красоте» и «радости страдания», разоблачает тех, кто воспринимает жизнь искалеченным от рождения духом и на этом строит свое отношение к жизни, ее оценку.

«Гнилокровны» герои Достоевского, но таков же и их прославленный автор, но таковы же часто и его поклонники и целая полоса в русской литературе с идеализацией трагического и призывами к мистике и богоборчеству. Вересаев нигде, кажется, не употребляет слова «символисты», но всегда — «упадочники», «декаденты». Как можно верить уверениям Достоевского, что «человек проклят», когда стоит весеннему солнцу коснуться крови, в коре мозговых полушарий стоит расшириться артериям, прихлынуть кислороду,— и вот все безысходные вопросы стали «смешно-легкими и нестрашными» и жизнь становится хороша и люди милы и дороги.

Отсюда прямая дорога к прославлению Льва Толстого — художника с его лозунгом «Да здравствует весь мир!», к гимнам Аполлону — это с одной стороны, а с другой — к освобождению себя и других от гипноза Достоевского, заявившего, что «человек проклят», и к развенчанию Диониса, столь любезного тем из вересаевских современников, которые пошли не по пути естественно-научной мысли, а вступили на путь декадентства, символизма и богоискательства.

Сразу определилось, кто враг, кто друг. Сначала о врагах. Вересаев относится к ним резко и определенно. Чердынцев застал у Катры юношу, читающего странные стихи, и возмутился.

«Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

Брат мой, солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром, старший брат!..

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные, влажные пальцы. На что, кроме пакости, может «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить

и бросить с ребенком горничную, — другого никак я не мог себе представить.

— Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзания и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним».

Некоторые из наших писателей начала века охотно брали своими темами половые извращения (напр., Мих. Кузьмин в повести «Крылья»), у Вересаева, как и у Льва Толстого, это возбуждает только гадливость. Лесбийскую любовь, напр., он называет «мерзостной» (Сафо. Стихотворения и фрагменты в переводе В. Вересаева. 1915, стр. 5).

Нездоровый эстетизм видит он и у Ницше и у нашего Сологуба.

«Ни в чем так ясно не сказывается кабинетная и декадентская душа Ницше, как в преклонении перед эстетическим оправданием жизни. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду», — говорит русский декадент. Неспособный чувствовать силы и красоты подлинной жизни, изживший себя человек в своем уединении творит из жизни «мечту», «сладостную легенду» и ею оправдывает для себя жизнь. Для упадочного философа или поэта это естественно».

Сдергивание занавесей и привычных иллюзий во имя реальности и здравого смысла характерно как для Льва Толстого, так и для его пламенного поклонника. Припомним у автора «Войны и мира» Наполеона, не героя, а коротенького человечка с пухлым брюшком, маханье руками и бессмысленное протягивание самых обыденных слов в операх («Что такое искусство»), описание церковного богослужения, как чего-то дикого и ненужного и т. д. Лев Толстой не боялся высказывать мнения наперекор всем. Автор «Записок врача» тоже любит сдергивать занавеси, разрушать иллюзии и итти против общего мнения. Таково, напр., его мнение о древне-греческой трагедии, идущее наперекор мнению Ницше и большинства. «Самое высшее проявление человеческого здоровья и силы, — говорит Вересаев, — Ницше видел в эллинской трагедии... Скажем прямо: во всей литературе мира мы не знаем ничего столь антигероического, столь нездорового и упадочного, как эллинская трагедия». Вопреки Ницше, Вересаев не видит в этой трагедии соединения Аполлонова начала с дионистическим, а только последнее. Воплощением этого враждебного Вересаеву начала в русской литературе кажется ему Достоевский. Подробно проанализировав его творчество, Вересаев бесстрашно подводит читателя к выводу, что Достоевский, с его любовью к страданию, вредный писатель.

И Вересаев, в противовес Достоевскому, указывает на Толстого. Но если Толстой, как бесстрашный исповедник правды и разрушитель иллюзий, должен считаться в числе предшественников Вересаева, Толстой-художник мало оказал влияние на его художественные приемы. Он прибегает к нему

скорее как к другу-утешителю. Такими же друзьями, надежными спутниками и опорой являются для него Пушкин, Гете, Гомер, Архилох. Последний, впервые в переводах нашего писателя ставший доступным русскому читателю, в каком-то смысле, кажется, нужнее и ближе современному сознанию, чем те из наших современников, которые умеют улавливать только случайное и внешнее, гонятся за ярлыками, не постигая сущности.

В знаменитом рассказе Глеба Успенского «Выпрямила» измученная и усталая душа современного ему человека обновляется от созерцания классической красоты «Венеры Милосской». Нечто подобное произошло с Вересаевым: от неврастеников-интеллигентов его потянуло к классической древности с ее душевным здоровьем и красотой. Пользуясь своей филологической подготовкой, он исправляет русских переводчиков, неверно переводивших некоторые важные термины. Одно греческое слово переводили «терпение». Вересаев доказывает, что лучше перевести «стойкость», «мужество». Именно это, а не рабское, жалкое терпение давало древним грекам справляться с бедами жизни и не омрачаться духом. Спокойная и стойкая выдержка дороже мгновенных и ненадежных вспышек героизма. Этому учат Гомер и Архилох. Вот отрывок из последнего:

Сердце, сердце! Грозным строем стали беды пред тобой:
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады, — твердо стой, не трепещи;
Победишь, — своей победы напоказ не выставляй,
Победят, — не огорчайся, запершись в дому, не плачь
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй:
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.

Врач и филолог — такого сочетания русская литература еще не знала! Вересаев ценен прежде всего как писатель-интеллигент, всю жизнь боровшийся со всякой душевной дряблостью, двойственностью, раздробленностью; как писатель искренний, смелый и мужественный до конца. Он может ошибаться, но не лукавить.

Новой Советской России нужны не Чекановы, не верящие в дело, которому служат, не Токаревы, быстро изнашивающие, теряющие пыл и «осевшие», не Сартановы, преданные отжившим лозунгам — все они уже достояние истории — мир праху их! — нужны люди сознательные, чувствующие, как говорит Архилох, «ритм жизни», мужественные и стойкие, и нужно все то, что этому способствует, вплоть до Архилоха.

Литературный некрополь.

Moriturus.

ЕВГ ЗАМЯТИН.

А это писатель без пятен,
Евгений Замятин.
С лица был он чист и приятен,
Фигурою статен,
В сношеньях с людьми аккуратен,
Отменно опрятен.
Язык его свеж, ароматен,
Не чужд отсебятин,
Сюжет неизменно занятен,
С полслова понятен.
Недаром известен и знатен
Евгений Замятин.

БОР. ПИЛЬНЯК.

Лежу, Пильняк. Сквозь гробовую щель:
Россия —
— революция —
— метель:
Печатных, в месяц, добрых три листа,
А то и пять.
Но — сомкнуты уста.

АННА АХМАТОВА.

Стынут уста в немой улыбке.
Сон или явь? Христос, помоги!
На ногу правую, по ошибке,
Надели туфель с левой ноги!

Милый ушел, усмехнувшись криво,
С поднятым воротом пиджака.
Крикнула: «Стой! Я еще красива!».
А он: «Нельзя. Тороплюсь. Пока!».

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ.

Удалой покойник этот
Затрудняться не привык:
Как-то влез на броневик
И, задумавшись на миг,
Изобрел формальный метод.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ.

Вам, когда сдохнете,
гнить, вонять,
В землю
зарыться
носом бы.
А Маяковский, он вызнал
способы,
как производство поднять:
Мясо и кости—
в склад Жиркости,
Волос — в машины
Госщетины,
Куртку и брюки —
Главнауке,
Пару ботинок
ну — хоть в рынок,
Чтобы не нужен был гроб!
Польза от смерти чтоб!

Б. ПАСТЕРНАК.

В осколки рта, звенит об зьмзу, споря
Со смертью дождик, крещет гроб вода.
Что, не совсем понятно? Вам — полгоря,
А каково корректору? Беда!

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.

Здесь положен Алексей Толстой,
Бывший граф, но человек простой,
Доказавший эту простоту
Тем, что брал сюжеты на лету.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Войтоловский. По следам войны. Походные записки. 1914—1917. Предисловие Демьяна Бедного. Гос. Изд. Ленинград 1925. 200 стр. Тираж 3.000 экз.

Автору этой книги, должно быть, уже наскучил все один и тот же неизбежный вопрос, каким встречают читатели его походные записки: «Это, вероятно, в духе Федорченко? «Народ на войне»?». Чтобы пресечь навязчивые ассоциации, начнем с утверждения, что «это» совсем не «в духе Федорченко». Сопоставление с «Народом на войне» законно лишь в той мере, в какой его делает Демьян Бедный: «Такой книги, — говорит он в предисловии к запискам Л. Войтоловского, — такой книги, кроме разве книги С. З. Федорченко «Народ на войне», об империалистической войне у нас еще не было. Ни историку, ни психологу, ни тем более художнику, желающему понять, истолковать, изобразить настроение народной многомиллионной массы, брошенной в пекло империалистической бойни, нельзя будет миновать записки т. Войтоловского». — Сходство между двумя книгами — в объекте наблюдений и в установке на документальность. Однако, — как это всегда, впрочем, бывает, — документальные записи двух наблюдателей, при одном и том же объекте, оказываются до крайности несхожи.

Разнообразие записанных С. Федорченко солдатских суждений и разговоров как будто бы говорит о разнохарактерности солдатской массы, но общий, единый стиль языка покрывает это разнообразие и создает впечатление единства. В результате, несмотря на добрые намерения автора, перед нами какой-то сплошной, несколько по-каратаевски стилизованный образ народа.

Каратаевщины нет в зарисованных Л. Войтоловским фигурах: «Нигде с такой отчетливостью не выступает профессионально-классовое нутро человека, как на войне», — формулирует он свой угол зрения. Этот угол зрения не всегда можно восстановить на основании каждой летучей зарисовки, но в общем — многосложная, многообразная солдатская жизнь показана с убедительной наглядностью. И хорошо еще, что на этом «профессионально-классовом фоне» вычерчиваются живые, нештампованные фигуры: солидный рязанец Шатулин, речистый москвич Блинов — оба любители картежной игры и поговорок, живые сборники метких словечек; елейно-лживый, жестокий к солдатам штабной фельдфебель из жандармов — Гридин; щеголь и гитарист, гроза прифронтовых красавиц — Шкира; льговский садовод, недоверчивый к людям, влюбленный в деревья, мрачный и упорный Ханов; начетчик и сектант Асеев, отказавшийся от новогодних подарков: «нехорошее мы дело делаем: людей убиваем, грабим, малых детей, как кутят, на мороз выбрасуем, а нам за это жертвенные вещи шлют. Разве ж можно?»

Л. Войтоловскому удалось запечатлеть всю динамику этой многосложной солдатской массы. В оглавлении его записок указан памятный маршрут русской армии: «От Холма до Ниско; По тыловым дорогам; В завоеванной Галиции, Под Тарновом»... Но на страницах его книги вычерчен другой — еще более памятный — повелительный маршрут от царя к революции.

Если в изображении солдат чувствуется, прежде всего, внимательность художника, то в подборе фактов, характеризующих бессмыслицу империалистической войны, беспомощность неумного и неумелого командного состава, — дает себя знать темперамент старого журналиста. И надо признать, подобранные факты достаточно крас-

норечивы. Здесь и артиллерия, высмотревшая с наблюдательного пункта движущихся колоннами австрийцев и лишь после десятиминутного истребительного огня обнаружившая, что стреляли по пленным. Здесь и августовское отступление от Избицы, зловеще-внезапное и непреодолимое, как снежный буран: «Опять смешались люди, лошади, зарядные ящики, двуколки и фурманки перепуганных жителей. Дисциплины как не бывало. Ни армии, ни командиров. Это был сброд усталых и голодных людей». А рядом с бессмыслицей боевых операций— бессмыслица военных будней: грязные хлебопекарни, запекающие в солдатский хлеб нечистоты и заразу; разоренные деревни, деревенские измученные женщины, глядящие исподлобья на чужих, неизвестно зачем пришедших сюда людей, видящих в них не спасителей отечества, а голодранцев, готовых отнять последнее добро; картежная игра среди солдат, среди офицеров; до наивности лживые боевые приказы, которые читаются офицерами на сон грядущий, под бурный хохот собрания; бюрократическая волокита, непростительно бессмысленная перед лицом боевой опасности.

Достается и тылу. В нападках на тыл Войтоловскому-литератору многое подсказывает Войтоловский-фронтовик, приносящий с собой в тыловой город воспоминание о фронте, о сырости долгих ночей, пропитавшей до мозга костей усталое тело, об оставшихся на фронте товарищах. От этого еще острей и ядовитей негодующий тон его нападок.

Патетика войны существует лишь в воображении: Л. Войтоловский зарисовывает не геройские подвиги, не сражения, а серые военные будни. Война переодела всех в солдатскую форму, но Л. Войтоловский не доверяет боевым шинелям; он прислушивается не к официальным реляциям, а к случайным обрывкам фраз, умеет услышать в созданных солдатской казармой поговорках отголоски старой барщины, голос «крещеной собственности»:

— Нужда учит, а солдатчина мучит.

— Солдатскими мозолями офицеры сыто живут.

— У солдата душа божья, голова царская, а спина офицерская.

Отрезвляющая ирония Л. Войтоловского не щадит даже общепризнанных героев, отмеченных боевыми орденами, — среди них он разыскивает корпусного интенданта, которому пожаловали Анну с мечами за переправу скота через Вислу; другого интенданта, награжденного Владимиром с мечами и бантом за своевременную доставку икры для штабных гастрономов.

Автора не обманывают трубы и барабаны войны, и, приучив свое ухо не слышать бравурных звуков, он прислушивается к глухим, еще невнятным, но все нарастающим голосам. В разрушении, которое несет с собой война, есть скрытая творческая сила, есть жизненная потенция, есть своя правда: «Война отнимает у мира все тайны. Она разрушает стены, дома; она добирается до самых потайных уголков и выволакивает на вольный воздух все, что замуровано в железо и камень. Мне ясно, что война не только разрушительница, что под ударами пушек из пепла сожженных городов рождается новый мир».

Этот вывод о творческой потенции войны, о ее революционной динамике не только обоснован логически, но, что важнее всего, выверен на ряде фактов, наблюдений, разговоров. Здесь особую цену приобретает тщательная документальность записок. Странствуя мимо грязных еврейских местечек, по песчаным косогорам, по размытым дорогам, ночуя в полуразрушенных сараях, автор внимательно, настороженно следит за тем, как вместе с усталостью растет злость и раздражение в солдатах, как закрадываются в их головы новые, непривычные мысли, как приобретаются навыки, могущие пригодиться не только на войне: «Привык мужик, — читаем мы в одном из записанных разговоров, — молчать и сгибаться в три погибели и на каждый сердитый окрик отвечать смирнехонько: «слушаю-с». А тут вдруг слышит он из уст своих старых командиров, совершенно новые правила внушаются ему: «не давай спуску, — жужжат ему в уши со всех сторон. — Это ничего, что на немце погоны генеральские, — гни его, стервеца, в бараний рог! бей его, сукина сына, сапогом в холеную морду! Волоки с него генеральский мундир!» А придет мужичок в барское имение, — его опять поучают: «бери, чего там смотреть! Тащи овес, лоша-

дей, коров, поросят, птицу, хватай вес, что под руку попадется». Так вот и начинает его мужицкая душа перестраиваться».

Вся книга — как бы развернутая антитеза: с одной стороны — грандиозная нелепица войны, с другой — немного сложная, но убедительная логика денщика Коновалова — «Ваше высокородие, втикаймо, бо нас убьють!». Полемический опыт журналиста помог автору подобрать факты, заострил его взгляд и его перо.

Но это же стремление аргументировать фактами несколько укоротило амплитуду размаха, сузило его наблюдения. Непонятно, на чем же, все-таки, держалась эта старая, разрушенная, но громадная машина военщины, как могла она просуществовать так долго. Если блестяще показано отсутствие в войне какой-либо логики, то от художника мы вправе были бы ожидать, что он вскроет ту рефлексологию войны, которая заставляла же усталых согнанных на фронт людей воевать в течение нескольких лет. Л. Войтоловский этого не дает, в постановке основной темы он остается лишь журналистом.

Язык этой книги — простой и трезвый, но вместе с тем выразительный. На протяжении двухсот страниц попадается лишь две досадных обмолвки:

«Чтобы армия могла воевать, — говорят французские полководцы, — у каждого солдата должно быть в желудке по фунту мяса. — К этому следует добавить: и по восьми часов крепкого сна перед боем».

«Повсюду, где проходили накануне обозы, множество конских трупов. Иные еще дышали.

(Писательской репутации Л. Войтоловского эти обмолвки не испортят, но ведь он к тому же еще и врач.)

В общем же, свою работу журналиста автор отточил и отделал как художник.

Валентин Дынник.

Михаил Пришвин. Башмаки (исследование журналиста). Госиздат. М.—Л. 1925 г. 88 стр.

Авиаторы знают, что труднее летать низко над землею, чем забраться в облака. Флобер, обучая писательскому ремеслу юного Мопассана, рекомендовал ему описывать с максимальной точностью все будничное, что мелькает перед глазами, говоря, что труднейший вид искусства — быть верным действительности. Этой же точки зрения придерживался Репин на уроках живописи с молодым Серовым.

Говорить о самых прозаических вещах языком художника — этим даром Пришвин владеет в полной мере.

Тема книги — типично журналистская, газетная: исследование, по поручению Организационного Бюро центрально-промышленной области при Госплане, кустарных промыслов в Кимрах-Ленинске. И речь, следовательно, идет о кимрских сапожниках, о том, как они жили и работали (до революции). Мы узнаем о непосильном труде кустаря, рабочий день которого длился с раннего утра до поздней ночи, о детях, с девятилетнего возраста впрягаемых в ярмо труда, о безжалостной эксплоатации кустаря «хозяйчиком», скупающим башмачные изделия и т. д. — Фактический материал, конечно, заслуживает внимания и дает повод ко всякого рода практическим выводам.

Но не в этом ценность книги (о кимрских сапожниках можно написать значительно больше и полнее), — главное заключается в том, что книгу написал художник, и практическое исследование превратилось под пером Пришвина в целый ряд прекрасных миниатюр и новелл, из которых не случайно начинается одна, под заглавием «Мастерство журналиста», словами Анатоля Франса:

«Мой юный друг... мы живем в эпоху пневматической почты и телеграфа. Где только можно, сокращайте фразу. А сократить ее можно всегда. Самая красивая фраза — самая короткая».

(Рядом с беседами о кимрских кустарях заветы великого стилиста — это соседство пусть запомнит начинающий писатель!) Перечислять более удачные вещи — это значило б почти целиком списать «содержание». Но все же хочется выделить «Анатомию женской ноги» и «Музейный башмак», светящиеся, особо, простым, лукавым и мудрым (в одно и то же время) «многомыслием» этого жанра.

О превосходном — образном и четком — языке «Башмаков» говорить не приходится, он давно знаком читателю Пришвина.

Федор Жиц.

Бор. Пильняк. Машина и волки. Книга о коломенских землях, о волчьей сыти и машинах, о черном хлебе, о рязани-яблоке, о России, Расее, Руси, Москве и революции, о людях, коммунистах и знахарях, о статистике Иване Александровиче Непомнящем, о многом прочем, — написанная 1923 и 24-м годами. Лнгр. ГИЗ. 1925. 186 стр.

У Пильняка с первого его появления в русской после-октябрьской литературе самым заметным было то, что он стал писать вне принятых до того норм построения рассказа, повести, романа. Пильняк игнорировал сложившийся веками канон композиции повествования, разрушил его, и этому, несомненно, были свои причины. Пильняк писал о революции и писал так, как он ее воспринял. А воспринял он ее, прежде всего, как разрушение установившихся норм жизни. И было естественно говорить о разрушении норм жизни растрепанными кусками образов, лирических и всяких иных отступлений и проч., подчиняясь разве только элементарному и неизбежному психическому закону ассоциации представлений «по смежности, по сходству, по контрасту»; было позволительно не думать и об эстетических нормах. Так выглядят его первые вещи — «Голый год», «Третья столица».

Но революция не только разрушала, она как никак и строила. Несомненно, что туча нового материала, принесенного революцией, не могла уложиться в старые нормы композиции повествования, и их естественно было разрушить. Но вместе с тем новый материал революции требовал и новых форм. Разрушивши старую композицию повествования, Пильняк не сумел найти новую. Но с течением времени Пильняк начал усматривать в революции кроме разрушения еще и некоторые мотивы созидания. В последнее время он все чаще и чаще поднимает разговор о машине и о пролетариате. Очевидно, в какой-то связи с этим он усомнился, надо полагать, в непогрешимости своего прежнего пути разорванного повествования. Он не решается назвать романом свои «материалы к роману», потому что новых форм композиции, необходимость которых уже почувствована, все-таки еще нет как нет. А материал, требующий этих новых форм, в портфеле Пильняка уже собран, уже распирает портфель, уже просится наружу. И Пильняк выпускает его, но оставляет за собой право еще подумать над формой. Об этом свидетельствует рецензируемая книга «Машина и волки». Пильняк уклоняется от определения того жанра, к которому она так или иначе относится. Он называет ее просто «книга».

И в самом деле, это прежде всего книга. Бывает роман, бывает сборник, бывает трактат, исследование, а бывает еще просто книга par excellence. Такую книгу пишет, например, молодой автор — книгу выстраданную и долженствующую удивить или образумить мир. У Пильняка, конечно, не то, потому что он не так уж «молодой автор». Но по существу, как у молодого автора, так и у Пильняка — «Машина и волки» — книга о том, как автор воспринимает и оценивает если не весь мир, то тот его кусок, о котором пишет.

«Книга о коломенских землях...» и т. д. — книга о России в результате революции. Это не беллетристика, несмотря на то, что в ней использованы написанные ранее рассказы и «Материалы к роману». То, что дано из беллетристики, — человеческие фигуры и жизненные случаи — выступают здесь в порядке как бы примера, иллюстрации к тем прямым высказываниям о России и революции, ради которых она написана, чтобы в сумме дать авторское восприятие послереволюционной России.

Пильняк пишет про Россию, как про Индию. Вот непонятная и почти экзотическая страна — Россия. В ней живут крестьяне, которые называются — мужики. «Вот примерная биография каждого» такого мужика:

«Родился или под тулупом в деревне («одевал» в обиходе у мужиков не пола-

алось), или под тряпкой из ситцевых лоскутьев (одевало), или в родильном отделении земской больницы, где в коридорах дренькал на балалайке дворник. Мать встала после родов на третий день и кормила грудью (да жеваной баранкой в праздник) два года, чтоб не заботиться о пище и чтоб самой не забеременеть вторым, избави бог (примета есть: коль кормишь грудью, не засеешься). Недели через три после рождения он получил первый подзатыльник, а потом, к годам семи, познал все виды порока и истязаний, и кнутом и ухватом и поленом, и ночи в морозе, и без хлеба сутки, и носом в собственный помет (за битого двух небитых дают)» и т. д.

Так невероятен этот русский мужик, составляющий большинство населения России.

Россия для Пильняка прежде всего непонятная и экзотическая страна, и это самое первое, что ее характеризует, как для Ромен-Роллана и большинства европейцев не-англичан, писавших об Индии, самое ценное в Индии — ее непонятность и экзотичность. Пильняк пишет о России, и хочет взять в толк эту непонятную страну, не разрушая экзотики непонятности. И говорит:

«Национальная русская душа — страшная над Россией метель».

Как экзотическую Индию, Пильняк воспринимает не только эту разрушающую, волчью Россию, но и Россию созидающую, и машинную Россию, ставшую темой его теперешней книги. Потому что не только Россию, но и все, буквально все в мире Пильняк воспринимает как экзотическую Индию. Это — его, Пильняка, особенность — не даром он так подвержен гиперболе. Не даром так несдержан в повторах: это он смакует экзотику.

На что уж машина — даже машина для него — знойный тропический сон:

« — Как рассказать всегдашний, единственный сон, где снится, что солнце выплавлено в домне — не даром около домен пахнет серою, как в первый день творения...»

Рабочий, тот, кто созидает в революции, у Пильняка также экзотичен. Он — «кукушка». «Кукушка» Казауров, полуграмотный, при помощи своей «семьсометрии-секрет» только один был в состоянии пустить в ход заупрямившегося дизеля, когда образованные инженеры не смогли этого сделать — с торжеством рассказывает Пильняк.

Но так ли все это? Так ли экзотична Россия? Ведь и об Индии начинают появляться книги далеко не ушибленные экзотикой. Так ли экваториальна машина? Не дает ли она нам всего только ситец на рубаху, и не руками ли человеческими и головой она сделана, как бог сделан испуганным человеческим воображением? Рабочий ли «кукушка»? Не кустарь ли он, задержавшийся архаизмом на Колом-заводе?

Впрочем, кукушка-Казауров поможет нам разгадать теперешнего Пильняка с его сегодняшней книгой. Казауров говорит Андрею Егоровичу Росчиславскому, двойнику Пильняка:

«—У вас, Андрей Егорович, болезнь, называемая — страх. Страх, значит. Перед душою машины. Вот, как собаченку вешать страшно, язык высунет, — так и страх ваш, болезнь, надо из вас вытравить: иначе вы не жилец на заводе, — бегите от него, как от чумового. Я вот при начальстве скажу, — придет малец на завод и — зуб на зуб ему не попадает, страх, лешаи да черти ему чудятся, машинный черт, называемый машинник, его пугает. Как увижу такого, знаю, погибнет, если не научить, душа его машинную душу не приемлет, страх. Я тогда его беру и прямо, на ночь, либо на праздник — либо к котлам, либо в кузню, либо к динамам — смотря по тому, какого черта боится — посажу и караулю. Если перебоится, почует, — почует, слышь! — тогда, значит, — будет мастеровой! А если нет — бери монатки, иди вон. Вас, Андрей Егорович, надо под пол, под маховик на ночь посадить. Вот тоесть. Душу машинную вы не приемлете!»

Пильняк уже пришел из волков на завод. Книга «Машина и волки» написана ночью под маховиком. Утро еще не настало. — Будем ждать утра.

Н. Юргин.

Иосиф Каллиников. Мощи. Роман. Том I. Изд. «Круг». 1926. Стр. 303.

Роман «Мощи» я прочитал с вниманием, удовольствием и неослабевающим интересом от первой страницы до последней. С приближением последних страниц я жалел, что скоро расстанусь с героями романа. И не потому я жалел, что эти герои — прекрасные люди. Наоборот, почти все десять (я нарочно их сосчитал) крупных персонажей романа — типы отрицательные. Но автор так их показывает, так ведет повествование, что от книги не оторвешься.

Фамилия автора ничего не говорит читателю. Он появляется в печати впервые. Новичка берешь в руки всегда с бо́льшим интересом, нежели маститого, с большим именем.

Большое имя часто прикрывает слабые вещи. У «большого» выработанные штампы, все его приемы известны читателю. Он не радует свежестью, он часто живет на проценты с прошлого.

Вернемся к нашему автору.

Рецензируемая книга — только первый том романа.

От сведущих лиц я знаю, что в ближайшее время должны выйти еще два таких тома. Буду ждать их с нетерпением, а пока поговорю о первой книге. Она распадается на три повести: 1 — Житие бренное; 2 — Мирскоест ранствие; 3 — Звезда вифлеемская.

Каждая последующая повесть продолжает предыдущую. Одни герои сходят со сцены в первой повести, другие — во второй, несколько, самых главных, участвуют во всех трех повестях. Уже самое название романа в целом и отдельных повестей заставляет ожидать духовных особ. Так и оказывается.

На первой странице — описание монастыря. Главный герой — Афонька Калябин — вначале послушник. Это потом он проходит стадии трактирного сидельца, питерского рабочего-правдоискателя и шпика охранки.

Не буду рассказывать содержание романа, чтобы не ослаблять интереса для тех, кто соберется этот роман прочитать. Нерассказанная заранее кинематографическая картина всегда смотрится с бо́льшим интересом, нежели знакомая по либретто.

В деревне о неинтересных «кавалерах» девки говорят: «Ну, уж и кавалер... Пирог ни с чем». Как часто эту деревенскую поговорку можно применить ко многим выходящим в свет книгам, в некотором роде, — пирогам без начинки.

К счастью, о книге «Мощи» этого сказать нельзя. Она — именно с начинкой, с изюминкой, пусть язык ее без деланных вычур и прикрас. Читатель видит и слышит героев, они живые, не книжные люди: все эти молодые послушники, богомолки-купчихи, утоляющие свою плоть; гимназистка Феничка, поступившая на курсы, чтобы «интересно пожить, а не мечтать о революции», хищник трактирный хозяин Касьян Парменыч и другой хищник — фабрикант Кирилл Кириллыч Дракин. Книга интересна для широкого круга читателей. Она была бы хороша и для подростков, если б только поменьше откровенности о ненасытной похоти купчихи Марьи Карповны. Действие развивается в 1904 и 1905 годах. Об Японской войне в книге три слова, о «9 января» — одна страница. Упоминание мимоходом о больших событиях — недостаток книги. Роман кончается ликованием народа по поводу царского манифеста о свободах.

Что будет в последующих двух томах — гадать трудно. Надеемся, что они будут так же интересны, как и первый.

. Акульшин.

Михаил Волков. Задиристые рассказы. Издательство «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград, 1925 г. Стр. 154.

Есть в деревнях бойкие, веселые, насмешливые задиры. Ухо их прислушивается ко всему, что облегчает жизнь и делает ее более осмысленной. Глаз их улавливает смешное, нелепое, грузное, дикое, что отягощает и тянет жизнь вспять. Обо всем они говорят с заражающим смешком, насмешечками, прибаутками, побасенками, байками. Смешки их и насмешечки не оскорбительны и не обидны, хотя в них подчас много язвительности. Насмешки их не забываются и легко забираются в самые заскорузлые и неповоротливые умы.

Задиры эти всегда пользуются успехом на свадьбах, гулянках, на сходах, на со-

рациях. В редких случаях, когда протестантские шутки их и шуточки заходят слишком далеко, им наминают бока, но и тут их выручает находчивое словцо, уменье заинтриговать, а порой ошарашить. Они всегда на стороне нового и остаются насмешливыми протестантами в зрелом возрасте и на склоне лет.

От имени такого деятельного насмешливого протестанта Михаил Волков ведет свои «Задиристые рассказы». Не всегда ему удается метко пустить пулю насмешки в мишень социальных и религиозных предрассудков деревни и их носителей.

Есть некоторая степень меткости в рассказе о том, как бабы обратились с предложением в Комбед выдавать паек для домовых, похищавших корм скота. В результате оказалось, что домовой этот—безработный поп, которого деревня великодушно наградила работой, чтобы избавиться от его воровских проделок («Нечисть»).

Не менее занимательна байка о том, как старухи выбили блажь из своих мужиков, которые стали менять их на молодух. Они добились такого постановления от «бедового» комитета: «... раз старики занялись молодым делом, потому и обязать стариков помолодиться — сбрить бороду... За неисполнение накладывается контрибуция — 300 рублей керенками».

Эти побасенки возможно несколько устарели для сегодняшнего деревенского читателя. Но такие рассказы, как «Революция Васильевна», где разыгрывается полутрагическая история в семье на почве того, что отец дал имя дочери Революция, а бабке подсунул кота для крещения; или «Деревяшки», где религиозная жена пыталась уйти от любимого мужа из-за непочтения его к иконам, но не выдерживает и возвращается к нему под условием, что сосед Антроп поставит их у себя, — такие рассказы сохраняют занимательность и задиристость на сегодня.

Следует, однако, отметить, что и названные и не названные в этой рецензии рассказы не выходят за пределы опытов, что Михаил Волков недостаточно энергично обращается со своей оригинальной формой рассказа, что очень часто смешные завязки не получают смешного разрешения, что он иногда пугается смешной действительности и прибегает к дидактическим схемам. А как известно, дидактика, невытекающая из сути самого рассказа, очень плохой спутник смеха. Получается ходульность, на которой деревенского читателя не проведешь.

С. Пакентрейгер.

———

Владимир Заводчиков. Горький мед. 94 стр. Изд-во «Молодая Гвардия». 1925 г.

Одно из самых тревожных явлений, к сожалению, особенно широко распространенное среди молодняка — это нетерпение и поспешность его творческой работы. Впоследствии многим из этого молодняка приходится горько сожалеть о своей поспешности, ибо последняя становится чуть ли не решающим фактором в литературной смерти целого ряда молодых талантов. Стремление разменять качество на количество ярко иллюстрирует рецензируемая нами книга Вл. Заводчикова.

Автор решил, что единственным критерием художественной оценки книги послужит ее внешний объем, ее «солидность»; но, как и следовало ожидать, это не только не спасло книгу от солидных недостатков, а наоборот: погубило ее довольно заурядные достоинства. Из сорока стихов, представленных в книге, большинство имеют следующие основные недостатки: беспомощность композиции, затхлость и бессилие эпитетов, мертвенная риторика в замысле. Общая начальная метафора меняется иногда в одном стихотворении по несколько раз, нарушает единство обобщенного и не дает цельного представления о том, что хочет сказать автор.

Эпитеты сплошь и рядом переходят в шаблон и трафарет, они громкоговорящи, но бессильны, ибо давно уже утеряли в себе свежесть эмоционального заражения.

Мои пылающие раны
От глаз людских не утаить.

Но не видел звонкого огня
Вместо песни пылкого огня
.
На мою пылающую жизнь.
.
Навечно полыхающем костре.

За пламенным закатом.
Кровавый зверь войны.

В целом ряде стихов автор старается провести идеи современного философского значения, но это не дается ему не только благодаря самой трудности переведения философских понятий на язык поэзии, а еще потому, что идеи эти им не продуманы, не выношены, не вошли в плоть и кровь его.

Идеи такого характера, — а тем более преподнесенные в формах поэзии, — неясны и неубедительны.

Сил больше нет итти дорогой торной
И тряпкой виснут мускулы порой,
Но кто-то в сердце, властный и упорный,
Из огоньков душ и вздувает горны.
И понял я, что это «я — второй».
Вот первый воет жалобно собакой,
Скулит всю ночь до утренней зари,
Всю ночь слезами огненными плакать
С ним будут на бульварах фонари.
Второй идет и светлою улыбкой
Оттаивает льдистый груз вериг, —

Во мне два «Я» — непримиримых зверя

Два «Я» вступили в дикий грозный бунт.

Как смешно выглядит в тексте большое «Я» Вл. Заводчикова! Что значит два «Я» вступили в дикий грозный бунт (?). Такого рода логические «построения» могут вызвать улыбку даже у среднего читателя нашей молодежи. Ограниченный размер рецензии не позволяет нам увеличить число примеров, но за ними дело, конечно, не стало бы. Заканчивая, все же приходится отметить, что Вл. Заводчиков не лишен поэтической одаренности. Стихи: «Вечером и ночью», «Смерть босяка», «Кузница», «Пир земли», «Брату» — говорят за это. Его книга не случайна среди десятков ей подобных, но и не случайны ее недостатки. Ориентация на объем, на солидность, на количество, а не на качество — общая болезнь многих «уже зрелых» поэтов и писателей. Если простительна эта болезнь на общих основаниях В. Заводчикову, то непростительна она Издательству «Молодая Гвардия». Надо было не спешить с изданием книги Владимира Заводчикова.

Мих. Голодный.

П. Н. Сакулин. Социологический метод в литературоведении. Кооп. Изд-во «Мир». М. 1925 г. Стр. 183 с прилож. и примеч. — 240.

Рецензируемая книга является предпоследней частью большого труда: «Наука о литературе, ее итоги и перспективы», задуманного и анонсированного автором в 15 выпусках, и выходит ранее других, видимо, по злободневности своей темы. Поэтому ее следует понимать, как попытку дать итоги и наметить перспективы в работе с социологическим, марксистским, как уточняет сам автор, методом. В такой книге хотелось бы найти итоги конкретной исследовательской работы с этим методом, нужную ее критику и ряд указаний на будущее. На самом деле в ней обсуждаются лишь общие положения метода, ревизуется теория марксизма, и, сверх того, итоги и перспективы, вытекающие из этой ревизии, выявляют недоверие автора к силе метода, а часто даже стремление его ограничить, указать ему место. И это тогда, когда метод в этой области еще только встает на ноги, и никаких данных об его ограниченности пока нет.

Уже в I главе, обозревая «положение вопроса», автор предостерегает от мертвого доктринерства и догматизма в области методологии. Далее идет глава «Методологические задачи», ранее уже напечатанная и получившая отзывы (см. «Печать и Рев-ия» 1925, I и V—VI), которая является, повидимому, итогом XIII выпуска. В ней особенно ясно и обнаженно даны основные убеждения автора: в литературе есть субстрат, который имеет свои органические законы и силы развития; на него каузально действуют внешние ему социальные факторы, но получают при этом сопротивление, ведут борьбу, и многое существенное остается для них недосягаемым. В III главе после лишних доказательств, что литература — социальное явление, и замечания, что «односторонняя система воззрений» не есть еще «монизм», автор из социологических школ предпочитает исто-

рический материализм и говорит, что отсюда он берет «общие принципы» для социологического метода, «...марксизм направляет свое внимание на общие принципы и лишь от времени до времени делает «оговорки» в пользу той или другой частной области. Такие «оговорки» для нас как раз наиболее существенны...», Все дальнейшие главы книги и состоят в том, что автор, обильно цитируя «о г о в о р к и в п о л ь з у» из разных теоретиков марксизма, искусно сопоставляя их, пытается провести через них свои вышеизложенные убеждения, совместить с суровыми схемами марксизма, общие принципы которого говорят, должно быть, не в пользу литературы. Когда это плохо удается, автор цитирует рядом и столь же обильно и немарксистов, или просто дополняет и подправляет эти принципы от себя. В результате оказывается сыта односторонняя система воззрений и цел саморазвивающийся субстрат литературы. «Монизм не страдает».

В главе «Социальная структура» автор по цитатам рисует классовую структуру общества, а в конце, на основании одной «оговорки», получается, что существует «междуклассовая атмосфера... где создается особая к у л ь т у р н а я с р е д а, нивелирующая представителей разных слоев». В главе «Интеллигенция» говорится, что и «свободная» интеллигенция служит определенным классам, что она является лишь профессией, но далее оказывается, что интеллигенция имеет «собственные интересы» и «выступает как в роли классовых, так и в роли свободных идеологов». Особенно это относится к творцам «высших идеологий». «Законный детерминизм» здесь находит себе «законное ограничение». В главе «Функции и факторы» обильными цитатами доказывается, что на литературу прямое влияние оказывают лишь «не экономические факторы», своего рода «идеи-силы», и потому «мы можем свободно двигаться в сфере идеологий, не стараясь на каждом шагу подчеркивать их социально-экономическую обусловленность» (sic!). В главе «Проблема сознания» автор сочувственно цитирует Плеханова, что свобода есть осознанная необходимость; но необходимость ограничивается влиянием со стороны и традиций, а главное, идеологи высшего порядка сознают себя свободными, — следовательно: «в жизни сознания... разом проявляются два начала: н е о б х о д и м о с т ь и с в о б о д а». В главе «Индивидуальность писателя» доказывается по Плеханову, что личность есть выразитель потребностей класса и времени, а затем, через сопоставление «оговорок в пользу», личность оказывается особым литературным фактором, который «ведет борьбу за существование» против других факторов; кроме того, личность бунтует против класса за «эмансипацию своей личности» (!). В главе «Литературная среда» автор говорит о традициях, влияниях и взаимодействиях, образующих «литературную среду». Она нуждается в социологическом анализе, но является и «самостоятельным фактором литературной жизни» (!). Сочувственно цитируется Плеханов в вопросе о влияниях, а через страницу: «И писатель свободно принимает «литературные влияния», не обращая внимания на классы, эпохи, страны». Далее: «Большие стили... явственно выдают свою социальную обусловленность. Малые стили, п о в и д и м о м у, рождаются в результате внутренней эволюции литературы». И т. п., и т. п.

Таковы печальные итоги и перспективы марксистского метода. Очень многое и важное, по мнению автора, нельзя «социологически оправдать»; все это остается на долю развития «по природе», и получается, что «произведение является продуктом двух сил (!): и м м а н е н т н ы х и к а у з а л ь н ы х». Но не рано ли так отчаиваться в методе? Из каких работ вытекает это «повидимому»? Не покажут ли внимательные исследования, что и это все каузально обусловлено? Нет. В том-то и состоит основной смысл книги, что автор не вынужден констатировать слабость метода, но старается его ограничить, силится доказать его слабость. Литература «с д а в л е н а несколькими кольцами влияний», она не может «сбросить с себя и г о социальных факторов», но «ведет б о р ь б у за независимое существование». И автор всецело на ее стороне, помогает ей в этой борьбе. Для него «особенно дороги те черты творчества, в которых видно мощное преодоление классовых, вообще социальных границ», он говорит, что «имманентное изучение» — самая ценная часть

работы, что не надо «подчеркивать на каждом шагу... социально-экономическую обусловленность идеологий, и т. п. Ценно именно то, что каузально не обусловлено, и поэтому, чем больше этих фактов и сторон в литературе, тем лучше. Книгу лучше было бы назвать не «социологический метод», а «Борьба с социологическим методом в литературоведении». Эта борьба ведется не извне, но изнутри, под прикрытием «оговорок». Интересно знать, на что же хочет опереться автор, когда призывает к изучению особенно дорогих ему фактов «эволюции по природе». Только на имманентное описание? Из объятий «догматизма» и «монопольной истины» не переходит ли он в объятия фетишизма, еще более вредные для науки?

Книга блещет эрудицией, которая, однако, иногда излишня, а подчас даже тягостна, снабжена приложениями, обильными примечаниями и библиографией. В разных местах даны ссылки, связывающие ее с предшествующими выпусками, которые должны еще появиться и с последним «Синтетическое построение истории литературы», который должен завершать собой весь обширный труд. Труд этот очень ценен и интересен, как своеобразное подведение итогов, как попытка построить, повидимому, своеобразную систему. Поэтому с нетерпением будем ждать следующих выпусков.

Генн. Поспелов.

УКАЗАТЕЛЬ

литературного материала, помещенного в журнале и альманахах „Красная Новь“ в 1925 году.

(Цифра в скобках — № журнала или альманаха.)

Беллетристика.

Гл. Алексеев. Горькое яблоко—рассказ (альман. № 2).

И. Бабель. Эскадронный Трунов — расск. (2); Из дневника (3); История моей голубятни — расск. (4); Первая любовь — расск. (альман. № 1).

А. Бибик. Жесткая учеба — рассказ (альм. № 1).

С. Быстров. Из Египта — расск. (8).

Арт. Веселый. Из ром. „Страна родная“ (3).

Федор Гладков. Цемент — роман (1, 2, 3, 4, 5, 6).

М. Гамов. Пилип да не Пилипов — рассказ (2).

Ал. Демидов. Июльские дни (альм. № 2).

Леонид Завадовский. Корень — расск. (4); На Белом озере — расск. (9); Вражда — рассказ (альман. № 1).

Ел. Зарт. Лешева сторонушка — рассказ (2); Девона — рассказ (6).

Всев. Иванов. Хабу — повесть (2).

А. Караваева. Медвежатное — повесть (3); Берега — пов. (альм. № 1).

С. Клычков. Серый барин — расск. (7).

Яков Коробов. Петушиное слово — пов. (альм. № 2).

Вл. Лидин. Инга — рассказ (3); Волчок — расск. (8).

М. Марич. Аракчеевщина — из ром. „Северное Сияние“ (10).

Г. Никифоров. Иван Брында — пов. (1).

Ал. Окулов. Заметки Иванова — пов. (1).

Н. Огнев. Видения — рассказ (10).

С. Орлов. История одного уклона — расск. (5).

Б. Пильняк. Гибель „Свердрупа“ — расск. (3).

М. Пришвин. Родники Берендея — рассказ (8).

Вен. Пузанов. Рассказы (8).

Пантелеймон Романов. 3 кита, Рябая корова; Святая женщина; 8 пудов; Глас народа — рассказы (1); Комната; Терпеливый народ; Слабое сердце Поросенок; Бессознательное стадо; Гостеприимный народ; Инструкция — рассказы (2); Зеленая армия; Вредная роса; Вредная штука — рассказы (4);

Стихи.

Отдел политико-экономический и мемуарный.

Научно-популярный отдел.

За рубежом.

От земли и городов.

Литературные края.

Критика и библиография.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский. **Издатель: Государственное Издательство.**

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 5-63-12.

Долгов, Н. А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 1823—1923. Стр. 272. Ц. 40 к.

Достоевская, А. Г. Воспоминания. Стр. 310. Ц. 3 р. 75 к.

Ермаков, И. Д. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. (Опыт органического понимания „Домика в Коломне", „Пророка" и маленьких трагедий.) Стр. 192. Ц. 1 р. 25 к.

Келли, Д. Испанская литература. Перевод с предисл. С. Кулаковского. Стр. 342. Ц. 2 р. 50 к.

Коган, П. С. Белинский. Стр. 52. Ц. 25 к.

Коган, П. С. Очерки по истории древних литератур. Том I. Греческая литература. Стр. 252. Ц. 80 к.

Коган, П. Очерки по истории западно-европейской литературы. Том III. Часть 1-я. Стр. 222. Ц. 1 р. 60 к.

Коган, П. Пролог. Мысли о литературе и жизни. Изд. 2-е. Стр. 78. Ц. 15 к.

Кубиков, И. В. Белинский. Жизнь и литературная деятельность. Под ред. П. И. Лебедева-Полянского. Стр. 128. Ц. 60 к.

Луначарский, А. В. История западно-европейской литературы в ее важнейших моментах. Часть II. Стр. 235. Ц. 1 р. 10 к.

Луначарский, А. В. Литературные силуэты. Стр. 200. Ц. 1 р.

Луначарский, А. В. Этюды. Сборник статей. Стр. 342. Ц. 1 р.

Львов-Рогачевский, В. Революционные мотивы в русской поэзии. Стр. 230. Ц. 20 к.

Люксембург, Роза. Душа русской литературы. Перев с немецк. Под ред. А. Г Горнфельда. Стр. 34. Ц. 15 к.

Мандельштам, Р. С. Художественная литература в оценке русской марксистской критики. Редакция и предисл. Н. К. Пиксанова. Изд. 3-е, перераб. Стр. 166. Ц. 1 р. 25 к.

Меринг, Ф. Мировая литература и пролетариат. Сборник статей. Перевод с немецк. С. А. Гурвич. Под ред. А. С. Мартынова. Предислов. Э. Цобеля. Стр. 360. Ц. 1 р. 90 к.

Новые Пропилеи. Под ред. М. О. Гершензона. Том I. Стр. 101. Ц. 1 р. 25 к.

Оветт, А. Итальянская литература. Перев. проф. С. И. Соболевского. Стр. 350. Ц. 1 р. 20 к.

Овсянико-Куликовский, Д. Н. Собрание сочинений. Том I. Н. В. Гоголь. Стр. 159. Ц. 60 к. Том II. И. С. Тургенев. Стр. 215. Ц. 75 к. Том. III. Л. Н. Толстой. Стр. 245. Ц. 75 к. Том IV. А. С. Пушкин. Стр. 175. Ц. 1 р. Том V. Герцен, Белинский, Добролюбов, Михайловский, Короленко, Чехов, Горький, Андреев. Стр. 471. Ц. 1 р. 40 к. Том VII. История русской интеллигенции. Часть первая. Стр. 269. Ц. 2 р. 25 к. Том VIII. История русской интеллигенции. Часть 2-я. От 50-х до 80-х годов. Стр. 225. Ц. 2 р. 25 к. Том IX. История русской интеллигенции. Часть 3-я. 80-е годы и начало 90-х. Стр. 174. Ц. 1 р. 50 к.

Овсянико-Куликовский, Д. Н. Статьи о Базарове и его времени. Стр. 131. Ц. 50 к.

Овсянико-Куликовский, Д. Н. Теория и поэзия прозы. Стр. 95. Ц. 1 р.

Островский, А. Н. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Под ред. М. Д. Беляева. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук. Стр. 458. Ц. 5 р.

Пиксанов, Н. К. Грибоедов и Мольер. Стр. 80. Ц. 30 к.

Пиксанов, Н. К. Два века русской литературы (XVIII—XIX в. в.). Пособие для высшей школы и самообразования. Изд. 2-е. Стр. 279. Ц. 2 р.

Пиксанов, Н. К. Старорусская повесть. Приложение: текст трех повестей. Пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования. Стр. 92. Ц. 60 к.

Писарев, Д. Н. Базаров. Посмотрим. Стр. 170. Ц. 25 к.

Писарев, Д. Н. Промахи незрелой мысли. Старое барство. Стр. 118. Ц. 25 к.

Писарев, Д. Н. Пушкин и Белинский. Стр. 231. Ц. 65 к.

Писарев, Д. Н. Реалисты. Стр. 209. Ц. 30 к.

Полянский, В. (Лебедев, П. И.). Н. А. Некрасов. Критико-биографический очерк. Изд. 2-е, дополн., с портретом. Стр. 110. Ц. 60 к.

Полянский, В. (Лебедев, П. И.). А. Н. Островский. К столетию со дня рождения. С портретом. Стр. 87. Ц. 12 к.

Пушкин. Сборник первый. Редакция Н. К. Пиксанова. Стр. 344+31. Ц. 4 р.

Розанов, М. Н. Поэты 20-х годов XIX века. Стр. 151. Ц. 1 р.

Русские критики об Островском. С предисл. Н. Мещерякова. Стр. 298. Ц. 1 р.

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов.

Литературные края.

Критика и библиография.